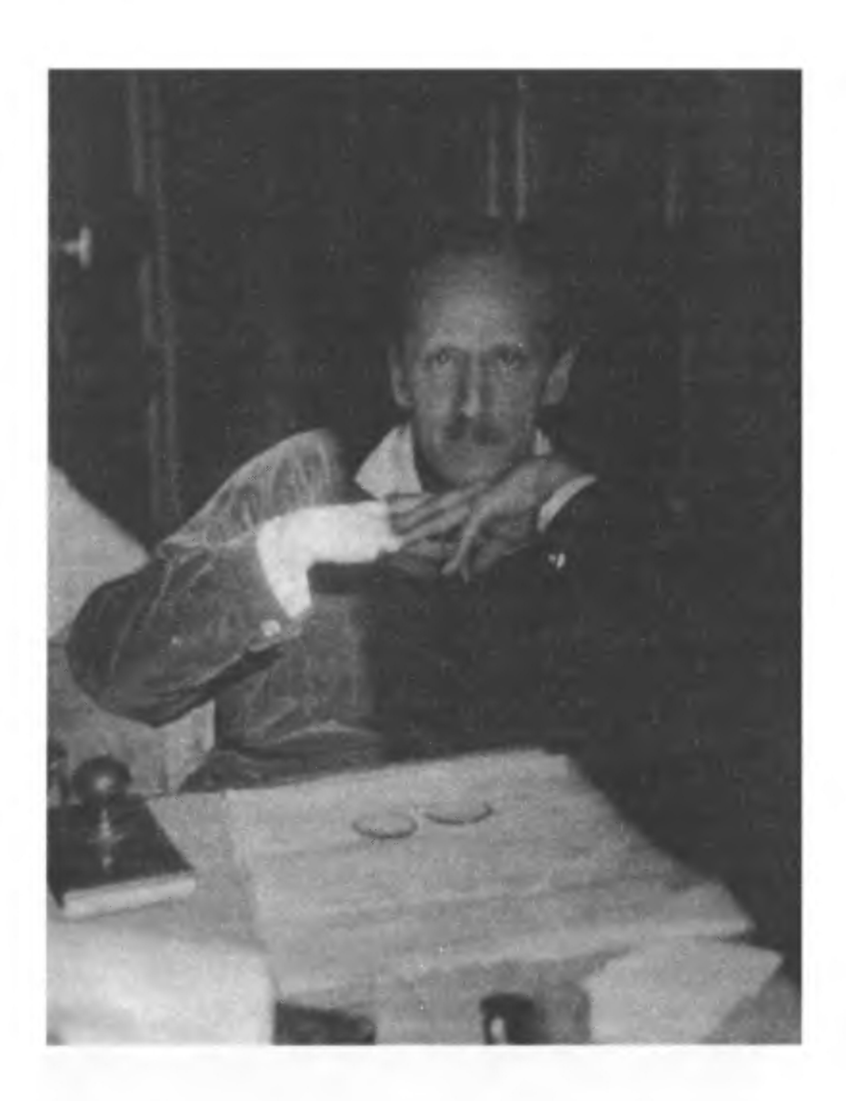
Михаил
Осоргин







Времена
Происшествия зеленого мира

Москва
НПК «Интелвак»
2005

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6
О-75

Федеральная целевая программа «Культура России»
(подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания России»)

Составление, примечания, статья *О.Ю. Авдеевой*

Художник *В.М. Мельников*

Научный руководитель проекта *В.Н. Кеменов*
Зам. руководителя проекта *И.И. Изюмов*

ISBN 5-93264-030-8


Времена



Детство

При иных закатах солнце, опускаясь, красит прощальным светом облака на западе, и этот свет бежит до крайних границ востока, а там на одну минуту распускается роза. Это наше воспоминание о детских годах, и нужно им дорожить, оно мимолетно. Оно дается в утешение уже не имеющим будущего.

Далекое прошлое — всегда сказочная страна. Может быть, я родился в жалком городишке, о котором нечего рассказать; но я беру не палитру и кисти, а набор цветных детских карандашей и приступаю к работе. Я рисую приземистый дом в шесть окон с чердаком и с двух сторон протягиваю в линию заборы, за которыми непременно должны быть деревья, может быть, липы и тополя, но во всяком случае, черемуха, дерево самого раннего цветения. Мне ее не изобразить черточками, потому что тут все дело в горьком аромате, — только недавно стаял снег, дворник сметал его с крыши, а ледяные сосульки откололись и упали сами, вкусные конфеты, от которых зябнут и румянятся пальцы в варежках, а на губах остается шерстяной вкус. Для начала — для весенних дней — никаких ни ярких, ни мешаных красок не нужно, и на севере мы начинаем с белого и черного: черное пробивается сквозь белое талыми островками, а золото солнца не нарисуемо и неописуемо, его сам представь и предположи. Этим начав, мы потом сразу переходим на музыку, слушаем капели и ручейки, и как вздыхают и кряхтят снега и льдинки, и как везде и нигде гомонят птицы, обычные наши вороны, галки и воро-

бьи, и прилетные голоклювые любимцы Герасима Грачевника, и красноперые голосистые щеглята, и скворцы, для которых на каждом дворе ставились домики на высоких шестах. Этот гомон слышно даже сквозь двойные оконные рамы, и вообще весна не дожидается, чтобы вышли на нее посмотреть, а врывается сама и в щелочку, где отпала замазка, и в печную трубу, и на чердак, и бегом по лестнице в намокших валенках. Ей ждать некогда, потому что уж очень много предстоящих дел. Мать говорит: поди погуляй, да надень калоши, валенки промокнут, и по лужам не бегай, и я, конечно, по лужам не бегаю, а топчусь в ручейках, пока в ногах не захлюпает холодная вода. На другое утро черное побеждает нестойкую белизну, а на улице перед домом оттаивает и вскрывается весь навоз, накопившийся за зиму, и тогда впервые появляются путаные цвета, из которых потом мы будем выделять красное к красному, зеленое к зеленому, все на свои места; конечно, и белое оставим — и вот расцветает черемуха.

Все это, несомненно, так и было, и мне было когда-то и три, и два года, но пишет не память, а воображение, и пишет не по архивным залежам, а лишь подбирая цветные камушки отшлифованных прибоем ощущений и подрисовывая их наблюдениями над другими детьми, тоже в валенках и варежках, тоже лакомками до ледяных сосулек. Вчера над французским полем я видел грачей, голоносых и черных с синим отливом, и нежность памяти перенес на них, а солнце было действительно то же самое и повернутое тем же боком. Крепко опершись на крючковатую палку с острым наконечником, я через грачевую сеть взглянул на дальний песок, и тут безо всякой связи линий и красок вспомнил, что не могло быть у дома, в котором я родился, двух примыкавших к переднему фасаду заборов, потому что этот дом был угловым, и я родился за стеклом

крайнего левого окна, так мне рассказали, и ясно вижу себя розовым комочком в пеленках, открывающим плаксивый беззубый рот. Этот дом стал врастать в землю со всеми окошками, в том числе и с крайним, а когда врос окончательно, то на его месте выстроили дом каменный, и все: и мать, и отец, и братья с сестрами, и ледяные сосульки — так и остались под землей, и я это видел своими глазами, когда вернулся после десятилетнего скитанья по Европе и пожелал взглянуть на самую родную для человека точку земли, самую его настоящую родину в полметра земной поверхности. Все было чужое, и не стоило ехать тысячу верст, чтобы на это чужое смущенно и недоуменно смотреть.

Помню, однако, что улица была широка и по самой ее середине шла огороженная низким палисадом липовая аллея, которая у нас называлась бульваром. На пересечении поперечных улиц она прерывалась, и каждый ее отрезок с обеих сторон замыкался калитками. Так она шла из конца в конец города, и это значит, что от опушки пригородного леса до соборной площади, откуда был вид на Закамье — с высокого левобережья нашей замечательной полноводной стальной реки. Если я начал с описания родного дома, в котором жил только маленьким, раньше всех возможных ясных воспоминаний, то только для того, чтобы не упустить реки и леса, моих настоящих родителей. Весь с головы до ног, с мозгом и сердцем, с бумагой и чернилами, с логикой и примитивным всебожьем, со страстной вечной жаждой воды и смолы и отрицанием машины, я был и остался сыном матери — реки и отца — леса, и отречься от них уже никогда не могу и не хочу. Если отречься, то придет и заберет нянина пособница бука и защекочет в темном углу, или, по-нынешнему, зацепит железными челюстями подъемный кран, заверещит лебедкой, чиркнет по небу и горизонту крутым поворотом и выбросит на людной площади, где темные каски бьют с размаха обману-

тых и голодных людей, помочь которым я уже ничем не могу, так как утратил веру в рай из железобетона. Это страшное и досадное виденье я заслоняю любимейшими картинами, к которым возвращаюсь мыслью, куда бы ни забросила меня действительность. Нижний край зеркала реки был украшен деревянной резьбой пристаней и барок, верхний отделялся зелено-синей полосой от воздушного ничего. Мы, тутошние, рождались в просторе, ковшами пили воздух и никогда не считали себя ни царями, ни рабами природы, с которой жили в веками договоренной дружбе. Я радуюсь и горжусь, что родился в глубокой провинции, в деревянном доме, окруженном несчитанными десятинами, никогда не знавшими крепостного права, и что голубая кровь отцов окислилась во мне независимыми просторами, очистилась речной и родниковой водой, окрасилась заново в дыхании хвойных лесов и позволила мне во всех скитаньях остаться простым, срединным, провинциальным русским человеком, не извращенным ни сословным, ни расовым сознанием, сыном земли и братом любого двуногого. По другую сторону города, от реки вглубь, сейчас же за заставой с орлами, начинался лес, почти не рубленный и, конечно, не чищенный, так как для стройки и роста домов хватало береговых природных богатств и еще много пригоняли сплавом с севера. Между столбами заставы зачиналась и дальше уходила прямой гладью в тысячеверстие, лишь поднявшись и сбежав через хребет Уральских гор, укатанная почтовой гоньбой и утоптанная арестантами нескончаемая дорога, которую мы звали Сибирским трактом. Ближний отрезок этого тракта я знал с самых ранних лет и особенно на его четвертой версте поворот налево, на плохую проселочную дорогу, сначала в лес, потом ржаными полями, скатами, избегами и перелесками в деревню Загарье, где летом мы жили «на даче», а попросту в пятидымной деревушке, в крестьянской избе, на-

висшей над склоном, заросшим душистой клубникой. Эту деревню я помню, как зарисованную в альбоме, хотя не видал ее больше полвека; и если бы попал в нее сейчас, то никогда не узнал бы, хотя бы она не переменилась: картина памяти моей нарисована детским воображением и взрослыми к нему поправками, моей литературной мечтой, не нуждающейся в реальном. Но не мог не быть скат к речке Егошихе, и лес за нею не мог не стоять глухой стеной, и была, конечно, поблизости от дома черная прокоптелая барка — баня, из которой мужики выходили красными и шатаясь от угара, — этого всего никак не придумаешь. И было еще многое, о чем непременно надо бы вспомнить и рассказать, чтобы каждый мог мне сочувствовать и втайне завидовать.

Кроме нас, никто в той местности из городских людей не живал, да было и негде, все избы считаны; только верстах в пяти был частный хутор (у нас не говорили — имение) моей крестной матери Марьи Павловны, жившей с кухаркой и кучером, которые окружали ее заботами и льстивым поклонением, потому что считали себя ее прямыми наследниками: родных у нее на всем свете не было никого. К этому хутору от нас не было проезжей прямой дороги, а ходили — как сейчас помню — сначала через речку, потом на косогор и на Большую поляну, дальше тропинкой елового леса до межевой ямы, той самой, в которой нашли корову, высосанную беглым арестантом, еще дальше с полверсты по опушке над кручей, и тут выходили на дорогу колесную, и уже можно было увидеть вдали Марьипавловнин хутор, бревенчатую избу, чисто сложенную и забитую не клочковатой, а жгутом подвернутой паклей. У Марьи Павловны был настоящий шкап с зеркалом, были венские стулья и буфет, выше меня ростом. Сама моя крестная была крупной, громкоголосой, деспотической женщиной, в городе ее боялись, почти ни с кем, кроме нашей семьи, она не

зналась, нигде не бывала, пила много кофею, кажется, была богата, откуда родам не знаю, а по фамилии Керен, может быть, по мужу немка, но говорила она очень хорошо, по-московски. Когда я был совсем маленьким, она сказала мне, что откажет мне в своем завещании тысячу рублей, и пока дала зеленую трехрублевку, на которую я не знал, что купить. Больше я от нее ничего не получал, и умерла она как-то нечаянно, ни когда, ни почему — не помню; я в то время уже читал Достоевского.

Про арестанта, который высосал корову, рассказывали мужики. Он держал эту корову в яме три дня, даже подкармливал ее травой, а чтобы она не мычала, обвязывал ей морду гибким прутом. И все-таки она мычала, и по мычанью ее нашли, а арестант успел убежать. Мужиков я не понимал. На то, что беглый (у нас говорили — варнак) высасывал корову, они не обижались и на ночь выставляли на крыльце чашки с кашей и вареную картошку, чтобы несчастненькие могли покормиться, не обижая ничем честных людей. И в то же время ходили в лес на облаву за варнаками и, поймав, заворачивали им лопатки и повязывали руки за спину. Может быть, так они поступали только с убийцами (полголовы брито) и с теми, кто воровал крестьянское добро. Мой отец, когда приезжал из города на дачу, всегда мрачнел, узнав о поимке мужиками арестанта, и ворчал, что вот не своим делом они занимаются. А между тем мой отец был членом окружного суда по уголовному отделению, значит — и судил, и приговаривал. Мужикам нашей деревни низкопоклонство было неведомо, они помещиков никогда не знали, но и ласковости их не помню. В хвойных лесах ласковость не к месту и жизнь была суровой. Зайцев ловили силками и отдавали нам почти задаром, потому что в тех краях зайцев не ели, скармливали их кошкам; заяц поганый, а зла от него много: огороды портит. Я не помню ни песен, ни хороводов, может

быть, потому, что мы жили в деревне всегда в страдное время, когда крестьянину не до песни. Все были поголовно неграмотны, и когда я, пятилетний чистенький мальчик, лежал на траве с книжкой, ребята, завязив в носу палец, часами стояли поодаль. Потом, накопав червей, мы бежали на речку ловить уклеек на согнутую булавку, если только мать соглашалась пустить меня с ними. Но больше всего я проводил время в одиночестве, объедаясь клубникой на косогоре.

Был праздников праздник и торжество из торжеств, когда приезжал отец на два-три дня, а раз в лето на две недели. Он всегда что-нибудь придумывал. С ним мы ходили в далекие прогулки, часто по лесу до самого кордона — до военного караульного поста в глубине леса, где, впрочем, никогда ни одного солдата я не видал. В этих походах с отцом я понял и полюбил лес, его тайну и его величие. Я узнал от отца, что темные орешки, которыми усыпан лес, это заячьи покидки, и только по свежим может учуять зайца собака; но зайцев было в лесу столько, сколько в городе на неглавной улице прохожих людей. На елках было столько же и еще больше белок, которые прямо нам на голову сыпали шишечную шелуху. Волки летом держались далеко от людских жилых мест, медведей отец не велел мне бояться, они на человека не нападают, они очень добрые, питаются медом, ягодами, кореньями, да и не встретишь их иначе, как в очень глухом лесу без дорог и тропинок. Птиц отец называл по именам, но их было так много, самых разнообразных, и больших и маленьких, что запомнить я не мог, только знал, что самая большая, испугавшая меня на опушке, где от ее взлета закачалась осина, была глухарь, впрочем, уже знакомый мне по оперенью, потому что в городе часто приносили глухарей с базара. Так как мой отец не был охотником и брал с собой в лес только револьвер-

бульдожку и компас, то больше мы занимались растениями и цветами, собиранием которых он увлекался даже больше меня. Он привозил из города кипу серой рыхлой бумаги, нарезанной большими листами, вдвое сложенными, и мы составляли гербарий. Мне было жалко, что белые весенние цветы в засушенном виде всегда желтеют: майники, ландыши, грушовки, линея, подснежник, розовая кислица, лесной анемон, прелестный сибирский княжик и тот ароматный столбик, который по-местному назывался римской свечой. Мы собирали папоротники и старались в них разобраться – кочедыжник, ужовник, стоножник, орляк, щитник, ломкий пузырник, дербянка. Было у нас великое разнообразие мхов – и точечный, и кукушкин лен, и волнистый двурог, и мох торфяной, и царевы очи, и гипиум, и прорастающий рокет. На полянах цветов было бессчетно, так что, даже отчаявшись собрать все, мы вдруг равнодушно отвертывались от их красоты и яркости и отдавали все внимание только злакам – пахучему колоску, лисохвосту, трясунке, перловнику, мятлику, костеру, гребнику и сборной еже. Возвращаясь домой через речонку, я набирал на болотце букет желтых купавок, которые очень любила мать, а если попадались крупные незабудки, тамошней нашей голубизны, то и их приносил матери, у которой были голубые глаза, ко мне не перешедшие – у меня глаза отцовские.

Но самым любимым нашим спортом был грибной, и тут все свои великие знания отец передал мне целиком. Я даже в раннем детстве не понимал, как можно ошибиться и принести домой поганку! Или как ложную лисичку не отличить от настоящей, при всем их кажущемся сходстве! Одно – масляник и совсем другое козляк. И рыжая волнушка все же не рыжик! Рыжиков мы также различали по сортам и домой приносили только самых бутылочных и булавочных, потому что рыжиками были полны наши еловые и пих-

товые леса. Головы боровиков нанизывались на суровую нитку и сушились на зиму, на Великий пост; белый груздь солился в кадушках, и наше дело было только набирать корзины, а остальным ведала Савельевна, наша строгая кухарка, которой мы все боялись, а мать перед ней немножко даже заискивала. Но Савельевна приезжала в деревню только ближе к осени, как раз к грибам, а всегда была с нами моя нянюшка, Евдокия Петровна, мастерица по части ягодного варенья. Она никогда не упускала случая наварить побольше клубничного, потому что в городе клубники не достанешь никогда, а если и достать бы — не тот аромат, как на нашем косогоре. А впрочем, скажу просто и решительно: нигде в мире такой клубники, как наша, я никогда не встречал, и вообще эту ягоду немногие знают и путают с другими. И в Европе полевой клубники нет, разве что в Скандинавских странах. Если мне скажут «Она есть!», то я, прищурившись, ядовито спрошу: «Может быть, у вас растет и морошка?» — и человек увянет от смущенья. А я ему вдогонку: «Вы даже и до брусники не додумались, хоть и изобрели парламент!»

Сколько ни читал я воспоминаний о детстве, у всех кроткая мать и строгий, умный отец: от отца мозг, от матери сердце. Так это, вероятно, полагается. У меня тоже мать была кроткая, то есть добрая и мягкая по характеру женщина, но и в отце не было ни капли строгости, а умными были оба, и мать, хоть и институтка, была достаточно образованной и всю жизнь по-своему училась и была отцу хорошей подругой. Я не помню ни одной ссоры между родителями, ни одного не только грубого слова, но даже слова упрека или недовольства, и я не знал в детстве, что бывает и иначе. У меня были три сестры и брат — все старше меня. Не помню, наказывали ли их за что-нибудь; меня наказали один раз, не знаю за что, но, вероятно, за что-нибудь

исключительно серьезное, потому что наказанье было жесточайшим: я был лишен свободы. Слезы лились в три ручья: плакала мать, плакал я и плакала моя старшая любимая сестра, которую посадили вместе со мной в чулан, чтобы мне одному не было страшно. Слезы матери я объясняю тем, что ей не могла быть свойственна жестокость, и этот опыт наказания, почему-то придуманный, может быть, вычитанный, был для нее невыносим и противен. Сестра плакала из сочувствия к матери, ко мне и к себе — ей было уже лет тринадцать. А я плакал или потому, что не признавал себя виновным, или же — предчувствуя, что это первое лишение свободы будет повторяться всю мою жизнь. Вряд ли мое заключение продолжалось больше пяти минут, но это все равно, впечатление о пережитом осталось навсегда: четыре стены, за которыми идет жизнь, и я из этой жизни изъят: полное бессилие и страстное желание перестать существовать; отрицание права кого бы то ни было так поступать, пусть даже матери. Кажется, я бил ногами в дверь, и сестра не смела меня сдерживать; затем ослабел и впал в отчаяние. Много лет спустя я точно так же бил ногами и кулаками в дубовую дверь Таганской тюрьмы в Москве, выбил дверную форточку и оконные стекла, когда с тюремного двора часовой выстрелил в окно одного из заключенных. Я и теперь нередко просыпаюсь от удара кулаком в стену, когда мне снится тюрьма, а иногда, наоборот, проснувшись, добродушно смеюсь, потому что мне кажется, что таких случаев не бывает, что человека нельзя запереть против его воли, это только глупые рассказы, и в действительности не существует ни замков, ни границ, мы только шалим и подшучиваем друг над другом; в полусне я потягиваюсь, удобнее перекладываю подушку и опять засыпаю: просто — лежал как-нибудь неудобно. В университете я изучал право — государственное, уголовное, гражданское, изучал фило-

софию права (циник профессор Зверев увлекательно говорил о свободе воли), хорошо сдавал экзамены, стал адвокатом. Не будь в моем детстве чулана, я мог бы сложить для себя из всех этих книжных кирпичей сносное жилище, пробив в нем окошечко с решеткой, и спокойно глядеть на мир, как смотрят многие отличные люди. Этого не случилось, и когда муха бьется в стекло, я спешу отворить окно и помочь ей вылететь; и даже если это не муха, а комар, напившийся моей крови, — все равно! Не потому, что я такой милостивец, — я, может быть, прихлопну его ладонью прежде, чем он успеет меня укусить, жизни лишу, но свободы лишить не способен: свобода в триллион раз ценнее жизни, это я раз навсегда решил и за себя, и за комара! Моя мать напрасно плакала — я благословляю ее воспитательную ошибку: но хорошо, что она никогда ее больше не повторяла: могло случиться обратное.

Я завидую — хотя и не верю — тем, кто рассказывает о своей жизни в стройном порядке, год за годом, как будто справляясь по календарю и регистратору, — от мягких шелковых волосиков до щетины на щеках, от детской курточки до теплого халата и от коротких штанишек до той поры, когда они постепенно доходят до пят заглаженными макаронами, и человек, теряя приятные иллюзии, вырастает в стоеросовый кантовский императив. Моя жизнь не росла ни тополем, ни подсолнухом, а ветвилась кустом спиреи, начисто отмирая в старом побеге и заново вырастая от подземного корня. И потому ее картины не собраны в аккуратный альбом, а перепутаны во множестве папо́к, старых, новых, пыльных и обтертых тряпочкой. Не всегда разберусь, что пережито и что вычитано, что думал и видел мальчик — и что ему подбросил растратчик жизненного капитала. Ставлю в вазочку с водой букет нащипанных цветов и нарезанных зеленых ве-

ток, но, может быть, сирень я обломил студентом, когда влюбился в армянку, жившую на Никитской улице, а лютик сорван детской рукой просто за то, что его лепестки блестящи и навощены солнцем, тогда как розу сам вывел из черенка в позапрошлом году. И в детских воспоминаниях такая же, конечно, путаница, которой мало помогает чисто зрительная память (образы, образы и образы!). Сквозь голубое стеклышко этой памяти я вижу себя трехчетырехлетним, на дворе того же дома, под ручку с девочкой-однолеткой, мы идем важно, и наши лица серьезны: первый роман. Кто-нибудь научил нас так гулять, и я ощущал это как мой долг перед слабым существом, нуждающимся в моей защите. Не игра, не забава, а предвидение трудности и сложности жизненного пути. Пока идешь прямо — все просто, но при поворотах мы топтались, сталкивались и наступали на ноги, а нельзя было терять устойчивость, и уже нельзя разделиться. Ее называли моей невестой, и я принимал это со спокойной серьезностью. Затем она вдруг исчезает из памяти, не оставив даже имени, и двор делается ареной страсти: с мальчиками мы играем в бабки. Язык, приспособленный только к домашнему, обогащается новым словами — гнездами, битками, свинчатками, гвоздырем — гораздо больше слов, чем знает даже мама. В начале игры мы конаемся, подкидывая бабки, и мои панок (боевая бабка) ложится жохом, конкой, плоцкой, ничкой, и от этого зависит, кому начинать. Играли в поджошку, в пристенок, в краснокудак, игры азартные, и мне случалось проигрываться начисто и стоять, гордо сдерживая слезы, и потом, вернувшись в дом без единого гнезда, чувствовать себя глубоко несчастным. Длинной грабелькой крупье забирает золото или костяшки, одним подбрасывая, других оставляя ни с чем. Бритая и будто бы равнодушная рожа ставит кучки на номера и на дюжины, потерявшая

облик крашеная дама пытает красное и черное, брошен шарик на бесшумную вертушку, и вы следите за его потерявшим всякий смысл бегом, потому что последнее поставлено и бесславно уплыло, и теперь только приходится играть в бесстрастие, чтобы затем, зевнув правдоподобнее или взглянув на часы, уйти с приличным спокойствием. Никакое небо не улыбнется, и не прольется ни золотой, ни серебряный дождь, и еще много сложностей, может быть, униженье, гадко до отвратительности, но только потому, что судьба против вас, а сама страсть жива, свернулась комочком и рада в любую минуту снова расцвести и увлечь. Мать не догадывалась о моих переживаниях, иначе ее объял бы ужас; а я подкапливал для предстоящей писательской жизни понятие о взлетах, падениях, о страсти и катастрофе, о чете и нечете, о пресности маленьких и ровных мещанских благополучий. Нужно было прожить сто тысяч чертовских русских лет, какие прожило одним духом мое поколение, чтобы усомниться даже в игре, даже к ней стать равнодушным, хотя все же менее, чем ко всему другому. Но и теперь, если бы сумасшедший мир попросил меня устроить, наконец, его судьбу, как мне кажется лучшим, — я бы предложил ему сыграть в орла и решетку: по крайней мере, разом!

Но, может быть, игорная страсть была у меня в крови. В какие времена, в какие исторические периоды Русь, Россия и СССР не горели игорной страстью — в кости и в зернь при Грозном, в фараон при Екатерине, в банк при Александрах, в железку по обе стороны гражданского фронта в восемнадцатом — двадцатом годах, в шахматы и ныне и присно? Дома у нас по воскресеньям играли в херсонский вист, в преферанс и классический винт: отец, мать, Марья Павловна и барон Зальца, председатель суда, огромный человек, куривший сигары. Мать играла осторожно, отец безнадежно, Зальца плохо, Марья

Павловна всегда на выигрыш и потому вечно бранилась. По углам ломберного стола стояли подсвечники, пепельницы, лежали очиненные мелки, а после роббера зеленое сукно вытиралось тряпочкой, намоченной в водке. Брат играл с сестрами в короли, нянька учила меня играть в зеваки. Если мать ремизилась, что случалось очень редко, то весь стол пел: «Вот опять угобжена — Андрей Федрыча жена!», а когда у Зальца на руках предвиделся шлем, его лицо так наливалось кровью, что не требовалось и заявки. Играли с двенадцати часов дня, в четыре обедали (гусь всегда с яблоками, а индюшка с брусничным вареньем), а кончали к десяти вечера, когда детям пора было спать. Играли на малые копейки, вкладывая в игру страсть на миллионы. Играли во всем городе, и каждом доме, и в редкой квартире сквозь опущенные гардины не сквозили две свечки. В кухне Савельевна играла с дворником в подкидные дурачки и в акульку. Не было в те времена ни радио, ни кино, ни публичных лекций о путях России; сейчас все это есть — и играют в бридж, презренное искажение старого благородного винта. Разница одна: в те времена не возводили отличной карточной забавы в науку и не писали о ней умных книг, а пики ласково называли пикандряшками.

В лице этих ближайших друзей и партнеров моих родителей вторгался в наш домик внешний мир; сверх того он появлялся под личиной портнихи, прачки, сапожника (готовой обуви не носили, да и была ли она?), почтальона и доктора Виноградова, который приглашался только в серьезных случаях, а обычные болезни мать лечила липовым цветом, клюквенным морсом, спермацетной мазью, паутиной, касторкой и каплями Иноземцева, справляясь в домашнем лечебнике. И были еще два явления, отражавшие для меня загадочность внешнего мира: водовоз и судебный курьер.

Водовоз был настоящим и изумительным зимой: летом мало замечался. В большие холода (а они доходили у нас до сороки градусов) в ворота въезжала обледенелая лошаденка, тащившая на обледенелых санях такую же бочку, а сбоку шла совершенно твердая, такая же ледяная, не вполне человеческая фигура в тулупе, который от сильного удара должен бы разлететься со звоном на куски: но ноги и руки у человека почему-то продолжали двигаться. Его голова была обвязана тряпками поверх шапки, весь мех которой, как и борода человека и его усы, превратился в белого ежа, растопырившего колючие сосульки. Навстречу ему, тоже обвязанная, но мягким, выходила с ведром Савельевна, и тогда ледяной дед, не сгибаясь, влезал на сани и стеклянным огромным ковшом, не имевшим никакой формы, вычерпывал из верхнего стеклянного отверстия бочки густую воду со льдинками и звонко лил ее в принесенное Савельевной ведро, а она, одной рукой подобрав юбки, другую с ведром отставив крутой дугой, шершавила валенками по снегу к сеням, где стояла кадка для воды. Я, укутанный башлыком так, что только для глаз оставалась мохнатая белая щелочка, смотрел через эту щелочку на водовоза, и он, вместе с бочкой и с лошадью, казался мне единым целым, отлитым изо льда, так что было необъяснимо, как он может шевелиться. И еще смотрел на черные глаза лошади, тоже окруженные иголками, и на ее седую бороду, окатываемую двумя струями пара, выходившего из ноздрей. Между лошадью и человеком разница была только в том, что лошадь стояла на четырех ногах и у нее был хвост, облитой выплесками воды и похожий на расколотое березовое полено.

Как ни был величественен водовоз, но никогда в обычных детских думах я не мечтал стать таким же; иное дело — судебный курьер, ежедневно приносивший отцу бумаги.

У курьера были светлые пуговицы и фуражка с цветным околышем. Он представлялся мне исключительно изящным человеком и очень важным. На кухне он не стоял, а садился и громко разговаривал с Савельевной, которая тоже его уважала. Няня здоровалась с ним за руку и звала его по имени и отчеству. Я спрашивал мать, почему курьер не приходит но воскресеньям играть в карты; она ответила както уклончиво и недостаточно понятно. Я знал, что мой отец, барон Зальца и курьер — это и называется судом, где делают арестантов. Но окончательно меня завоевал курьер в день моего рожденья, когда он доказал свою способность летать по воздуху. Отец меня любил и баловал — самого маленького из детей. К именинам, к рожденью, на Рождественскую елку я получал от него самые замечательные подарки, всегда те самые, о которых мечтал и проговаривался. Однажды перед моим рожденьем отец уехал на «сессию», куда-то в уезд кого-то судить; так бывало раза два в год, и его отсутствие продолжалось подолгу, так как поездки были дальними, на лошадях по огромной нашей губернии. И хотя я не был корыстным, все же день рожденья без отца терял большую долю приятности. И вот, помню, в самый день утром, часов в девять, меня вызвала Савельевна в кухню, где оказался отцовский курьер, вручивший мне большой пакет, будто бы только что привезенный им от моего отца. В пакете были подарки: альбом для рисованья, краски, цветные карандаши. Было приятно, хотя я в этот раз больше мечтал о коньках и лобзике для выпиливанья. Ровно через час опять пришел курьер с новым подарком от отца: это был лобзик, к нему пилки, дрель и тонкая ольховая доска. И это опять послал отец из свой сессии. Еще через час у меня был молоток, стамеска, буравчик, подпилок и отвертка, все нашитое на картонном листе, и каждый раз курьер говорил, что «папенька кланяются и спрашивают,

понравился ли подарок». Подарки мне очень понравились, но я не понимал, как же это так курьер все время ездит к отцу и обратно, а говорили, что это очень далеко, двое суток езды на санях. Я его об этом спросил, и он мне подтвердил, что на санях действительно суток двое, не меньше, но что он летает на крыльях прямым путем без объезда, как ворона, туда-обратно без минуты за час. И, действительно, еще через час он привез мне деревянные коньки с острой железной полоской, такие, что можно их подвязывать под валенки и кататься — хочешь по льду, а то и по снегу. Мать слов курьера не подтвердила, — она никогда меня не обманывала, — но посоветовала мне спросить папу, когда он приедет, как он присылал мне подарки. В этот день мои руки были изрезаны, истыканы, провинчены и распилены, из большого пальца, особенно сильно пострадавшего, была сделана белая куколка, и катанье на коньках было отложено до завтра.

Не помню, была ли у меня игрушечная лошадь; вероятно, была. К сожалению, были оловянные солдатики — гнусная игра, развращающая детское сознание; с тем же успехом можно дарить виселицы и гильотинки. Но ничто не увлекало меня так, как плотничество, столярничество, выпиливанье, — всегда под отцовским руководством; он же приучал меня к уходу за растениями, и, при тамошних морозах, у нас был дома устроен «зимний сад», большая комната в два света, в ней пальмы, фикусы, лимоны, кактусы, много цветущих растений. Что привито в детстве, то остается на всю жизнь, и я не очень затруднился бы стать Робинзоном: ничего, по-моему, кроме удовольствия!

Я научился читать пяти лет и в семь сам прочитал изумительнейшую книжку «Робинзон в русском лесу»; автора не помню, но лучшей детской книжки не было никогда написано. Она меня завоевала и заполнила целиком мое детское сознание. Все это, конечно,

хорошо, все эти благородные английские мальчики, лорды Фаунтлерои, принцы и нищие, хижины дяди Тома, особенно твэновские Томы Сойеры и Гекльбери Финны, увлекательно, забавно, полезно, но все это появилось потом и было выдумкой, тогда как русский Робинзон со своим приятелем жил в лесу где-нибудь поблизости от нашего города или от деревни Загарья, а уж если по совести говорить, то это был я сам, хотя и до слез было жаль расстаться с матерью, отцом, няней, Савельевной, курьером и водовозом. Это я выстроил хижину и частокол от волков, и я сеял рожь, собирал и сушил грибы и делал зарубки в лесу на деревьях, отыскивая путь к жилым местам, хотя мне совсем не хотелось возвращаться домой. Какая красота в этом сожительстве с лесом, какое счастье делать все своими руками, быть полновластным хозяином неизвестного мира, смело противостоять опасностям, создавать все из ничего! И когда мальчики выбрались из леса, где прожили, кажется, несколько лет, я им не завидовал: я бы предпочел там остаться навсегда. Я и сейчас отдал бы в обмен на их хибарку и их затерянность — пять частей света и, впридачу, библиотеку стариннейших книг, но с условием, чтобы никогда над моей головой не пролетал аэроплан и чтобы не проник в мою медвежью глушь даже обрывок газеты. И я, конечно, не возьму с собой мирового сыщика и сплетника — радиоаппарата. Лишь одно непременное условие — моему Робинзону необходим русский северный лес, со снегом, медведем и рыжиками.

Одна из моих временных хижин помещалась под отцовским письменным столом, но это было раньше, чем я прочитал замечательную книжку. Стол был приставлен к стене, так что получалось убежище крытое и очень удобное. Ноги отца мне нисколько не мешали, и мои, вероятно, мешали ему гораздо больше. Ковер был мягким сиденьем, корзина с сор-

ной бумагой — предметом жилой обстановки, а никаких дел и развлечений не требовалось: я просто мечтал. О чем? Дети мечтают иначе, чем взрослые. В их мечтах нет определенных, ясно обрисованных желаний, они не облекают их в единый образ будущих ощущений. Мечта ребенка — сложное из отзвуков пережитого его предками и дальних предчувствий будущего, она нереальна и по преимуществу музыкальна, слагаясь из шорохов, голосов, дыхания, донесшегося лая собаки, звякнувшего блюдечка в столовой, — все это ловится ухом и рождает гармонию и образы. Мы свои мысли думаем и придумываем, — ребенок свои допускает и видит, сам им ничем не помогая. Большой письменный стол отца превращался в пещеру, размытую в скале вытекавшей из нее подземной речкой, и волосатый человек вползал в нее осторожно, не задев отцовской ноги и опасаясь натолкнуться на пещерного медведя; здесь он догладывал вчерашнюю кость убитого камнем утконоса и при первом извне донесшемся шорохе заползал вглубь, впотьмах пробираясь по руслу речки до каменного уступа, кончавшегося площадкой. Осколком сталактита он рисовал на стене изображенье самого страшного зверя, и это было для него необходимостью, зовом искусства, а не поисками бога, как объяснит потом его ублюдочный потомок. Журчанье речки было для него чудом музыки и сливалось с его сонным храпом. Исчезнув в прошлом, он переносился в будущее, над его головой шуршали страницы отцовских деловых писаний, от сорной корзины пахло окурками высыпанной в нее пепельницы. Стараясь не глядеть на подсудимого, свидетели хмуро утверждали, что слышали угрозы и видели, как парень шатался вокруг деревни, а тетка слышала и крик убиваемого, и когда присяжные, недолго посовещавшись, представили свое заключение, арестанта увели обратно под свод тюремной камеры. Потом, миновав заставу с орлами,

он шел в кандалах по широкому тракту, и по обе стороны стенами стоял хвойный лес. Наклонившись, отец спросил: «Ты что там делаешь, Мышка?» — но Мышка не отвечал. Сильно хлопнула дверь, шаги умолкли, лампочка, заключенная в клетку, еще качалась под потолком над койкой, хлопанье дверей в камерах все отдалялось, и Марк Твэн, поля которого были исписаны карандашом, рассказал любознательному газетчику, что у него был брат-близнец, и их обоих купали в ванне, и один из них утонул, так что до сих пор неизвестно, который именно, он или его брат. Чиркнула спичка, осветив уголок пещеры, и ее своды раздвинулись, а наверху, в проломе базилики Константина, на римском Форуме, заголубело небо. Я сидел на камне и слушал звуки города; в этот час на Форуме туристов не бывает, они обедают по отелям, и это — лучший час для созерцаний и ухода в себя. Но сильно затекла согнутая нога, пришлось протянуть ее по ковру, а рука отца нащупала мою голову и потрепала за хохолок на затылке, который никакой помадой не примазывался. В Августеуме, тогда еще не перестроенном, Сафонов, без дирижерской палочки, пальцами и кулаками управлял оркестром, который играл симфонию Чайковского, и я страдал, что слушаю ее в чужой стране. Когда же закрыл глаза, о борт парохода, шедшего с потушенными огнями, стали ударяться волны монотонной восточной музыкой, хотя мы шли к берегам Норвегии. Потом была крыша так же мерно стучавшего поезда, и это длится очень долго, мелькает много границ, пока, свернув из улицы в улицу, я не оказываюсь перед низеньким домом с мезонином и шестью окнами. Я прижимаю к стеклу нос, он сплющивается, и я вижу в комнате стол, за столом сидит и пишет человек с небольшой бородой. В комнате облака дыма от папиросы, тихо и уютно, и я опять вползаю на четвереньках и устраиваюсь под столом на излюбленном местечке, под защитой

больших ног в спальных туфлях, чтобы обдумать впечатления поездки по многим странам, о которых никогда не слыхал, так как я очень маленький и мне предстоит пережить и отца, и мать, разливающую чай, и этот дом, и этот город, и эту страну, и даже эти строки. Тогда я поворачиваю валик пишущей машинки, вынимаю исписанную страницу, присоединяю ее к накопившейся стопочке и, встав, с утомленным удивлением смотрю на полки книг, на громоздкие словари, на свои большие руки и на дверь, в которую я выйду, и тогда все исчезнет. Что-то я позабыл или что-то было упущено. Да, это — когда Марк Твэн показал журналисту висевший на стене портрет мальчика, может быть, его собственный, может быть, его брата, и сказал: «Бедный Вилли!»

Другой конец улицы, как я сказал, уходил к соборной площади на крутом берегу Камы. С этой рекой в моей памяти связано лучшее, что в жизни было, хотя та вода ушла в море и возвратиться не может. В половодье она на много верст заливала дали, и по торчавшим из воды верхушкам деревьев можно было дойти до горизонта. Люди, дома, плоты становились маленькими и бессильными, случайным мусором, не попавшим в течение, а на небе не хотел остановиться ледоход облаков. Показав свое величие и свои возможности, вода начинала медленно сбывать, возвращаясь в берега, и на ней появлялись пароходы и лодки, на нашем берегу закипала жизнь для всех, кроме тех, кого привозили на тюремных баржах, выгружали на берег серыми стадами и выстраивали в поход — в сибирскую каторгу и ссылку. Их собирали по всей России, не согласных быть такими, как все, и не нарушать тысячи статей и параграфов, записанных в толстых книгах отцовской библиотеки. Из этих книг я делал иногда железную дорогу, раскладывая их в ряд по полу, из комнаты в комнату длинной полосой и шагая

по переплетам так, чтобы ни одного не пропустить. В молодости мой отец был деятельным участником судебных реформ, и в жестяной коробке, где лежали его прокуренные мундштуки и трубки, старые перочинные ножики, куски столярного клея, цепочки, кремни, отбившаяся от стада костяная шахматная королева, компас, лупа, шампанская пробка, медные гвоздики и еще много прекрасных вещей, можно было отыскать и два наградных креста с какими-то датами шестидесятых годов, и их он держал в футлярах и берег, тогда как его Анны и Станиславы валялись в общей куче забавных и ненужных предметов. Он никогда не носил никаких орденов и называл их коровьими колокольчиками. Он был чиновником в провинции, потому что был отцом пятерых детей. У него было имение, которое он отдал старой матери и сестрам. По своим общественным взглядам он оставался шестидесятником-либералом, и в дни Александра Третьего это пресекало карьеру. Он всю жизнь рвался к земле, но не как к реальному, а как мы, нынешние, рвемся к возврату на родину, которая тем милее, чем недоступнее. То, что он рассказывал мне, маленькому мальчику, о наших уфимских землях, о степях, о Бугуруслане, о рыбной ловле, о перелете птиц, я даже не всегда и не целиком понимал и понял только взрослым — понял, что отец рассказывал это самому себе, будоража свои воспоминания и свою любовь к родной ему с детства природе. Когда я стал хорошо читать, — но еще до гимназии, он подарил мне сочинения Аксакова, и по сей час моего любимого писателя, пред русским языком которого я благоговею. Это были мои первые настоящие большие книги — на смену «Робинзону в русском лесу». С Аксаковым мы были в родстве, и это, конечно, повышало мой интерес к Багрову-внуку. И хотя я был сыном великой Камы, но с детства равнял с нею в святости имена Дёмы и Бугуруслана, конечно, — несравнимых

с величием. Дёму я увидал в тот год, когда отец, выполнив свою мечту (а ведь все это было так трудно!), поехал на родину первый раз после многолетнего отсутствия и взял с собой меня. Мне хочется рассказать об этом дальше — сейчас мысль связана Камой.

Тут между нами может начаться взаимное непонимание, потому что я не могу представить себе большую реку иначе, как живым существом не нашего, чудесного измерения, пожалуй, — как божеством. Тут и впечатления детства, и позднейшая тоска по сладким водам, и, конечно, самовзвинчивание: вместо простой беседы — пенье. Но я готов идти даже на насмешку, — а любви не изменю. И вот, Кама, для меня как бы мать моего мира, и уж от нее все пошло: и реки меньшие, и почва, на которой я стою. Я допускаю, конечно, что существуют реки еще более великие, — как существуют у других семей свои предки; таковы сибирские реки для сибиряков. И это мои ближайшие родственники и мои единомышленники. И мое семя вычерпано с илом со дна реки Камы, и потому я северянин, блондин, всебожник, поэт, анархист и старовер. У нас, людей речных, иначе видят духовные очи; для других река — поверхность и линии берегов, а мы свою реку видим и вдаль, и вширь и непременно вглубь, с илистым дном, с песком отмелей, с водорослями, раками, рыбами, тайной подводной жизни, с волной и гладью, прозрачностью и мутью, с облаками и их отражением, с плывущими плотами и судами и с накипью и щепочками, прибитыми к берегу. Воду, которую мы отпили и в которой до локтя мочили руку, перегнувшись за борт лодки, — мы эту воду потом пьем всю жизнь, куда бы нас судьба ни забросила, и подливаем ее для цвета, вкуса и сравнения и в море, и в горное озеро Неми близ Рима, и в священный Иордан, и в Миссисипи, и в светлый ручей, и в Тихий океан, и в Рейн, и в каждую европейскую лужу, если

в ней отражается солнце. Это очень трудно объяснить и еще труднее понять, если иной человек сотворен иначе и водою не крещен. Ведь вот, все живое вышло из океана, мы это знаем, а многие ли это могут чувствовать? Моя мистика связана с моей рекой, и потому я не могу просто рассказать, что вот таковой она, река, была для меня в детстве, а потом я купался в других водах, и вот остались воспоминания, — это все не то, тут ни при чем и возраст, и прожитая жизнь, и я по сей час покачиваюсь в душегубке на мертвой зыби, и в борта лодки хлюпают камские струи, а небо надо мной — шатер моей зыбки, и я, уже старый, все еще пребываю в материнском лоне, упрямый язычник, и плыву и буду так плыть до самой моей, может быть, и несуществующей смерти. В этом чудесном слиянии со стихией я слышу все, что происходит в воде, веселый визг стрелками мелькающих уклеек, тяжелый храп столетней щуки, щелканье клешней темно-зеленого рака, хохот резвящихся пескарей, пересыпанье песчинок, — а надо мной, в высоте, степенный разговор кучевых облаков, караваном возвращающихся из ночной подзвездной прогулки. У моей лодочки было свое названье, я сам ее красил и смолил, она ничего не боялась — ни пароходных валов, ни пребывания над бездной, ни окрика с надвинувшихся плотов, ни потери весел, — потому что это я сам бросил их за борт, чтобы, испытывая судьбу, подгребаться к ним голыми руками, а в стальной воде мелькнул кольцом огромный угорь, похожий на змею. Верстами тремя выше по течению был дикий островок, на нем кустарник и много птиц, и в девять лет я мечтал о том же, о чем мечтаю сейчас, — о жизни без тени несвободы, об оазисе без прав и обязательств, о такой точке земли, где солнце заменяет часы и достаточно одного своего голоса. Вытащив на отмель легкую лодочку, я насквозь пронизывался счастьем Робинзона и шел заново исследовать

свой мир, хотя знал его достаточно. На острове всегда было прохладно, даже в самый жаркий день, и было жутко до сладости без города, без людей, без моста в прежнее, по которому можно было бы вернуться бегом под отчий кров, — от жилого меня отделяли речные бездны. Я приплывал сюда ради этой жути, которую нужно было преодолеть, глядя на жизнь незнакомых с нею птиц, купавшихся в нагретом песке. И когда я возвращался к оставленной лодке, чтобы плыть обратно, это было все равно, что в горах подойти к самому краю пропасти, заглянуть в нее, потом зажмуриться и склониться над бездной. Столкнув лодку в воду, я не успевал лечь на дно, как прибрежные кусты уже прощально убегали, а птицы становились маленькими точками. Лежа навзничь, я плыл теперь по небу на самолете, — еще не было тогда никаких самолетов, кроме рассказанных в сказках. И я снижался только тогда, когда доходил до ушей шум города или стук пароходных колес. Вдруг став благоразумным мальчиком, я садился за весла и с середины нашей огромной реки, как с холма, скатывался к населенному и деловитому городскому берегу.

Продернув цепь в кольцо и защелкнув висячий замок, я чувствовал большую усталость — от солнца, от ослепления водой, от впечатлений. Дорога на крутой берег. Первые шаги просты — как детство; круча начиналась дальше и, чтобы не идти в обход, по дороге, я взбирался по тропинке, вытоптанной на подъеме ногами молодых. В глазах бельмами прыгали блестки воды, ладони щемило от весел. На самом верху ждала навозная пыль набережной, — вот мы после сказок вступаем в самую обыкновенную, рассказанную и затасканную жизнь. Здесь она не сложна, но будет утомительнее в других городах и свяжется с ними в путаные узлы, будут знакомые и незнакомые улицы, люди разных одежд и языков, новые реки и притоки рек,

остатки истории, заваленные новыми наслоениями событий, огненным вихрем будет сметать людей, и все это совершенно не нужно. В объезд крутизны тянется обоз ломовиков, увозя с пристаней чайные цибики, свертки рогож, ящики с надписью «верх», «осторожно»; мостовая булыжная; балаганы с золотой воблой, мылом, лаптями, сухарным квасом и кислыми щами; и есть и будут еще портовые набережные с вереницей кабачков, шатающимися матросами, афишами на чужих языках, гудящей толпой, запахом моря и пота, чередуются города севера и юга, белая и черная кожа, светлые и темные глаза, блеск магазинов, вывески банков, театры, человеческая икра в колясочках, газетные киоски, гарь войны, груды и завалы ничем не оправдываемых человеческих страданий, камерная музыка, деланая улыбка знаменитостей, сутолока быта, проповеди, международные выставки, — все это впереди, но без всякой передышки, сейчас же за поворотом улицы провинциального русского города, спящего в передней культуры, пыльного, играющего в преферанс и винт с прикупкой и гвоздем. Ради всего этого неразумный мальчик расстался с лоном полноводной родной реки, с островком своих настоящих владений, с обществом птиц и чистейшим золотом незапыленного солнца. Дорога домой идет мимо почты, через тополевый театральный сад, минуя гимназию, которая уже в будущем году начнет свою дубильную работу: выколотит детское чувство, вобьет на смену латынь, таблицу умножения, растлит отрывками ученой лжи и пустит по миру нравственным нищим, рабом в колпаке царя природы. Ближайшей осенью я на приемном экзамене не сделаю в диктовке ни одной ошибки, и учитель русского языка, дохнув табаком и водкой, скажет: «Молодец, будешь писателем!» — кони взовьются, и колесница жизни помчится по ухабам, пока не окажется, что это были только розвальни, влекомые караковой клячей. Сразу, из трех великих стихий, земли, воды и воздуха, — в неверие серого

и наскучившего быта. И, вычеркнув написанное наудачу будущее, опаленный солнцем, с порванными коленками, я возвращаюсь домой, и мать облегченно вздыхает: «Боюсь я этих твоих катаний!». Я говорю: «Знаешь, мама, я видел в воде огромного угря, совсем, как змея!» И она ласково старается пригладить мой непокорный вихор. Скоро из суда вернется отец. Как хорошо, что всего остального еще не было!

Самое главное в моем детстве, мои первый дальний выезд, — не пытаюсь объяснить, почему в нем нет нужной отчетливости. Мне кажется, что мы дважды были с отцом в Уфе на протяжение двух-трех лет; но иногда память уверяет меня, что он умер в первую поездку, едва увидав свой родной город. Все равно: он не повез меня в наше именье, о котором много мне рассказывал. И тогда, и теперь в моем представлении все эти любимые отцовские места стали картинами детских лет Багрова-внука, знакомыми мне до мелочей. Каждый сам создает свой рай, и мой был создан в полном согласии со страницами Аксакова, — но с прибавкой и своего, ранее облюбованного и возведенного в святость. В Каму влилась Белая, в Белую — Дёма, а к елям, пихтам и прозрачной аскетической лиственнице прибавились необычайно могучие буки и вязы оренбургского и уфимского края. Я так вчитался в «Семейную хронику», что не всегда мог сказать, что случилось со мною и что с тем мальчиком, родившимся при Екатерине, который лишь на шестьдесят пятом году жизни стал писателем и день за днем записал впечатления раннего детства. Мой отец казался мне милым добряком, женатым на блестящей уфимской красавице, молчаливо страдавшей в степной глуши и давшей мне жизнь. С ними я, еще ни разу не побывав дальше деревни Загарья, уже давно мыс-

ленно совершил все дальние поездки, из Симбирской вотчины в угодья и приволья башкирцев Уфимского наместничества, из Казани в новое Багрово, с переправой на «посуде» через Каму повыше Шурана, лошадями на Татарский Байтуган. Я помнил имена местечек, где такой же, как я, мальчик гуливал или уживал рыбу, — Антошкины мостки, Малую и Большую Урёму, Потаенный Колок и Кивацкий пруд, и когда я действительно увидал Уфу и закинул удочку в воды Дёмы, — все это было мне давно знакомым и родным, и я не удивился, когда отец повез меня показать своим родственникам, и их фамилии оказались хорошо мне известными по аксаковской книге. Мне особенно было памятно и приятно, когда погладили по голове старики Нагаткины, потомки тех, которые с такой лаской отнеслись ко всеми затравленной матери Багрова-внука, — но мне они, конечно, казались теми самыми, все еще живыми и по-прежнему добрыми, а я вел под ручку к столу крошечную сгорбленную старостью мою родную бабушку, родом Осоргину, фамилия которой позже присоединилась к моей родовой, — я помнил, на каких страницах любимой книги встречалась мне эта фамилия, как и фамилия моего отца.

По Каме мы плыли ранней весной, когда с двух берегов доносились соловьиные хоры, — но и в хоре каждый соловей пел свое и для себя. В Пьяном Бору, где пересадка на Белую, пробыли сутки на пристани, ожидая бельский пароход. Здесь, опять как «тот мальчик», я с увлечением ловил рыбу, бросавшуюся целой толпой на едва задевшую поверхность воды наживку, передо мной на много верст расстилалась гладь изумительной Камы, а на крутом берегу гудел бор. На реке Белой даже в эту пору были песчаные перекаты, и, пока облегчали и перетаскивали пароход, мы с отцом проходили целые версты берегом, где я десятком детских объятий вымерял толщину древесных стволов, — у нас,

в лесах хвойных, таких гигантов не было. В Уфе нас ждала цветущая сирень, которою был напоен воздух по течению реки. Отец был счастлив и показывал мне, потерявшемуся от новых впечатлений, все, что он любил и знал, и теперь все это я также знал и любил по-настоящему, а не только по книжке. Но все-таки в детском моем сознании так спутались картины этого первого путешествия, что я вижу себя только урывками, не отдавая себе полного отчета, в какой приезд я видел это и этих, и в какой — то и тех. Мелькнул и исчез старый дом моей бабушки, где мы, вероятно, жили, и на смену ему вырос дом новый, где жили семьи моих теток и где отец, простудившийся еще в дороге, скончался так внезапно, что вызванная телеграммой моя мать прямо с парохода проехала на кладбище. Тут в страницы моей жизни впутываются черные, невнятные строки, сначала шепот и хожденье на цыпочках, потом в большой комнате постель, около которой я сижу на стуле с книгой, не зная о важности подошедшей минуты, потом кто-то говорит мне на ухо: «Оставь книгу, посмотри!» — и мои глаза встречаются с глазами отца, с последним, что в нем осталось живого, и дальше память моя опять теряется в мути и кошмаре тех дней. Я просыпаюсь и вижу, как на постели, уже пустой и накрытой одеялом, вдруг приподымается и садится белая фигура, я кричу от страха, и из соседней комнаты вбегает моя кузина, — постель снова пуста, а из отворенной двери доносится монотонное чтение. Я опять засыпаю, и наутро комнаты наполняются людьми, мне не знакомыми, много людей на обширном дворе, и каждый человек подходит ко мне, гладит по голове или что-то говорит, и я знаю, что это потому, что умер мой отец, но мое горе и страх мой подавлены торжественностью, так что я уже не мальчик, а взрослый человек, центр общего внимания, и это заставляет

меня держаться с некоторой важностью. Подходит ко мне седой строгий человек, подает мне руку и говорит, что он знал моего покойного отца еще маленьким, как вот я сейчас, и что если моя мать и сам я согласимся (он говорит со мной на «вы»), то он готов быть мне отцом, дедом и опекуном. Я расшаркиваюсь, как меня учили, и мне кажется, что все это из книжки, во всяком случае не совсем настоящее, как и все, что кругом происходит. Того же странного старого человека я вижу позже в разговоре с моей матерью; она не может удержать слез и только отрицательно качает головой, а он тихо ее убеждает и смотрит очень добрыми глазами. Потом мать обнимает меня и громко спрашивает: «Разве ты хотел бы расстаться со мной? Ты хотел бы быть богатым?» Я рыдаю, жмусь к матери и ненавижу доброго человека, и в то же время продолжаю думать, что это из книги, которую я читал, — но не помню, из какой, и тогда старик почтительно целует матери руку и уходит. Все это обрывки памяти, которая проясняется только с тех дней, когда я оказываюсь в кругу множества моих кузин и кузенов, молодых и веселых, школьников и студентов, гораздо старше меня и все-таки моих близких друзей. Мать уехала, оставив меня в Уфе до конца лета. Я кажусь себе гораздо более взрослым, и моя летняя жизнь проходит между чтением и веселыми прогулками пешком и на лодках. И вот тут с необычайной ясностью я вижу огромный костер на берегу реки Дёмы — ночь, огненные дуги бросаемых с берега в темную воду головешек, хоровое пенье, смех и прекрасное лицо кузины Манечки, в которую я откровенно влюблен и от которой не отхожу ни на шаг. У нее голубые глаза и прекрасные каштановые шелковые волосы. И вообще я счастлив.

Такой, то жуткой, то сладкой и радостной, мути и яви полны мои уфимские воспоминанья, в которых я никогда не разберусь, да и не хочу разби-

раться. Полудействительные, они вразброд, цветными пятнами развешаны в картинной галерее, куда я иногда убегаю от ясных и разлинованных, аккуратненьких записей взрослой жизни. Они — как цветные шарики, подбрасываемые опытной рукой и мелькающие в воздухе скрещением забавных дуг, как переводные картинки, наляпанные в детском альбоме по системе, понятной только собственнику. Я не люблю калейдоскопа: в нем стеклышки располагаются с обязательством строгой симметрии; много приятнее коробка с разнообразными по величине и окраске, по ободкам, по количеству дырок — пуговицами, костяными и перламутровыми, железными и обтянутыми материей, пухлым шариком и сплющенной монеткой; и каждая пуговица — часть портрета того, на чьей одеже она была или будет пришита. Река Белая — действительно белая, хотя и течет в зеленых берегах. А на Дёме, в самом устье, летом застревают в песке и тине огромные коряги; в лунную ночь мы высаживались на них с лодки и располагались в живописных группах — по шесть-семь человек на одной коряге. Отмахнув рукой эту ночную живопись, я в узкой и черной лодке с уютным балдахином подъезжаю беззвучно к разукрашенной цветными фонариками небольшой барке, в центре которой стоит пианино, и между пьяццеттой и островом св. Георгия слушаю затасканную, но в этой обстановке всегда свежую серенатину, пока гондольер вертит свою сигаретку; потом мы отплываем от слишком сладких звуков в глубины и ответвления большого венецианского канала, потому что сегодня хочется чувствовать себя беззаботными туристами. Поезд пролетает над блюдами и глубокими чашками норвежских сладких вод, и горный поток сталкивает в них завернутые в кружевную пену стволы строевого леса — трубочки со сливками в воде червленой стали. По лесному озеру в верховьях Камы мы стараемся не плескать громко веслами лод-

ки, а за нами тянется крепкая бечева с оловянной ложкой, к которой припаян стальной крючок, и схватившая его непуганая рыба дергает с такой силой, что лодка вздрагивает от удара. Последними взмахами покрасневших от холодной натуги рук мы кидаем тело к скалистому берегу, к знакомому уступу, который то выныривает, то скрывается под водой, и если удалось схватиться, — прибой уже не сбросит обратно в волны, а и сбросит — не беда, только понадобятся еще усилия в игре голубыми водами Средиземного моря, ставшего приветливым после стольких лет знакомства. И вот, отфыркиваясь и стараясь откинуть налипшие на глаза волосы, я карабкаюсь на бережок узкой, но глубокой речонки в Звенигородском уезде, таща пойманную щуку за леску, которую пришлось отцепить от путаницы корней на самом дне, — а ради этого как не броситься в воду уже взрослому человеку во всем рыболовном наряде, дорожа минутой и добычей. Это не я швыряюсь — это жизнь швыряется картинами, навороченными ею, чтобы не о чем было жалеть, когда часы начнут бить полночь и склонится фитиль оплывшей свечи. Он всегда со мной, альбом памяти, образов и выдумок. В окно его первого прочного листа вставлен дагерротип на серебряной пластинке, но я не могу разобрать черт лица и не помню, кто на нем изображен. Дальше прозрачной бумагой заклеен карандашный портрет деда по отцу, бритого, в татарской ермолке, халате и с длинным чубуком, — может быть, потому я и люблю татар, что считал татарином своего деда, хотя он был стариннейшего русского рода, гораздо более старого, чем бабушкин. Еще дальше — ряд выцветших фотографий, много раз показанных мне в детстве с непременным повторением: «Это папа, а это папа с мамой, а это мамины папа и мама». На пластинке слоновой кости изображена красками девочка с перетянутой талией, и тот же самый портрет я вижу на обложке

книги, изданной о «вещах человека» и написанной там же и тою же рукой, которая пишет сейчас эти строки. Постепенно свежеет бумага фотографий, и лица становятся яснее, кринолины сменяются турнюрами и плечевыми буфами, мужские галстуки бантом — вытягиваются и прячут концы за вырез жилета, появляются мундирчики школьников и фартучки гимназисток, попадаются чаще люди в очках и пенсне, снятые не в рост, как старались сниматься прежде, а лишь по пояс, и далекое прошлое через вчерашнее делается близким и настоящим. И по мере того, как я листаю альбом (или десять, или сто альбомов), мне делается дороже прошлое, в котором так путаются лица и так много глубоких провалов, — чем безупречные отметины настоящего, рассевшегося барином на примятых и намученных плечах. Я перевожу стрелку часов на вчерашний полдень, думая этим обмануть время. Я перестал любить жизнь, — это звучит трагически и актерски, но я действительно перестал ее любить, и причин слишком много, чтобы их перечислять; главная из них — необратимость детских моих воспоминаний к имеющим уши слышать: двери на засове и обиты войлоком. Но я слишком горд, чтобы подавать жалобу в тюремное окошко.

В моих детских воспоминаниях отец и мать заслоняют сестер и брата; вероятно, потому, что я был на десять лет моложе брата и на четыре — младшей сестры; между мною и ими была пустота, образовавшаяся смертью двухлетнего Вани, и я был слишком маленьким для их компании. Многое соединило нас позже, уже в годы взрослости, но и это оборвалось на перекрестке дорог: моя увела меня на Запад. Я помню в детстве только крашеный пол нашей залы, посыпанный тальком, чтобы лучше скользили ноги танцующих: два раза в зиму у нас собиралась гимназическая молодежь. Но я лишь болтался под ногами — меня укладывали рано спать. Ни тени

зависти к старшим — мой мир был особым и чуждым шума: книжки, столярные и слесарные инструменты, пересадка растений под руководством отца, строительство замков ребяческой фантазии. Только одно было общим для нас всех: мелодия пенья. Отец, если не был занят своими бумагами, измышлял какое-нибудь рукоделье (иногда сложное: мы с ним заново обивали мебель, делали рамки для картин, чинили замки, мастерили резные шкапчики), — и неизменно что-нибудь напевал. Мать, занимаясь хозяйством, приятным голосом пела романсы, иногда по-польски (она воспитывалась в Варшаве). Брат был по-настоящему музыкален, немного играл на рояле и обладал прекрасным баритоном при абсолютном слухе; любили петь и сестры — по преимуществу что-нибудь чувствительное или русские песни. Не отставал и я, легко схватывая мотивы из опер или старинные песни, теперь уже всеми забытые: про Ваньку-ключника, злого разлучника, или про то, как «прогремела труба, повалила толпа», и как палач, блеснув топором, показал толпе «ту головушку неповинную», — не знаю, почему у нас в таком ходу были песни арестантские и революционные восьмидесятых годов; может быть, потому, что в нашем городе жило немало ссыльных и от него начинался этапный сибирский путь. Мой репертуар вольных — как говорили тогда — песен пополнился краткой уфимской жизнью, где мои старшие кузины были стрижеными, и на берегу Дёмы распевались студенческие песни; там я впервые был поражен перекличкой «Слушай!» в знаменитой тюремной песне «Как дело измены, как совесть тирана, осенняя ночка темна», — ее любил напевать и мой отец, чиновник и член уголовного суда. Я думаю, что не словами, а звуками была вспахана во мне почва для будущих благодатных всходов (благодатных — это совсем серьезно!), вызревших позже в тюрьмах, в ссылках, при всех режимах и всех обстоятельствах — и так до

сего дня: как обидно, что сей день — уже закатный! Если бы можно было повторять путь пройденный, — я повторил бы его без колебаний, не потому, что он хорош, а потому, что иного перед нами не было, и неизбежностью своей он до конца оправдан. Голосом старческим певала и моя няня, Евдокия Петровна, — про стоявшую во поле березыньку и про не белы-то снеги, только на свой лад и своим мотивом. Отчасти эта ее музыкальность была причиной того, что я, еще четырехлетним, собирался на ней жениться, но получил отказ и ломтик арбуза, с правом проглотить косточки. В третьем классе гимназии я завел гармонию и играл на ней, как виртуоз, с таким дрожанием звуков, что младшая сестра даже плакала: она очень любила вальс «Невозвратное время». Но меня не учили музыке, так как несколько хромала моя латынь.

Время, конечно, невозвратное, но плакать не о чем. Внезапно, по смерти отца, наша семейная жизнь свернулась: исчез зимний сад, комнаты стали маленькими. Брат был казанским студентом, две сестры вышли замуж и уехали. Их жизни не входят в эту повесть о самом себе. Не связанный хроникой, я крутым поворотом возвращаюсь к первым дням гимназической учебы, к фуражке с огромной тульей и гербом, к ранцу с бело-желтыми разводами то ли оленьей, то ли коровьей стриженой шкуры, к длинному, на рост, пальто, в полах которого путались ноги, к грубой шерсти башлыку, который у маленьких напяливался на фуражку, у старших, в сложенном виде, защищал только уши, а у семиклассных и восьмиклассных стариков заменялся белым, кокетливым и красивым, треугольно опускавшимся на спину, а концы висели спереди свободно — немалая вольность. Ноги зимой в глубоких резиновых калошах, хотя и в них пальцы зябли, не то что в валенках, не полагавшихся по форме. И хотя нас рядили солдатиками, — сальной пуговкой, как звали нас уличные

мальчики, — и хотя обучали военной гимнастике и сдваиванью рядов, но зато не соблазняли сознания позднейшей бойскаутской дребеденью — нашивками, знаменами, дисциплиной и девизом «Будь готов», — может быть, просто по глубоко штатской провинциальной лени. Все мы, школьники, наши родители, наши учителя — вся страна знала, что гимназия есть необходимое зло, что в ней усердно преподается то, что не нужно и не будет нужно, и опускается все то, что может понадобиться в жизни. Мы обламывали зубы о латинские и греческие орехи, склоняли, спрягали, учили назубок исключения, старались запомнить, сколько легионов отправлено Цезарем туда-то и как протекали анабазис и катабазис, мы навсегда отпечатывали в мозгу Пифагоровы штаны, генеалогию прародителей, призвание варягов, происшествия в семействе Романовых, мысы, носы, полуострова и проливы, стрекозу и муравья, с одинаковым усердием затверживали «андра мой эннепе», «Не л• по ли ны бяшеть» и слова с буквой «ять», — но, окруженные почти девственными лесами, не обязывались отличать злака от овощей и слизняков от млекопитающих: естествознание было изъято из гимназической программы, за исключением легенды о земных тварях, попарно втиснутых Ноем в его достопамятный ковчег. В нашем «физическом кабинете», где мне довелось побывать лишь раз, вращался стеклянный круг перед площадкой, сев на которую можно было ощущать, как дыбом подымаются на голове волосы: граница наших физических познаний. В изучении российской словесности мы были прочно прихлопнуты крышкой гоголевской Коробочки, зная по слухам, что Гончарова звали Иваном Александровичем, а Кольцов был прасолом. Затем нас отравляли по университетам. Но было во всем этом одно преимущество: полное сознание, что гимназия не способна ничему научить и что поэтому каждый, не желающий остаться неучем, должен учиться

сам, не считаясь с программами и не обращаясь за советом к протухшим и спившимся с круга учителям. А когда к нам ненароком попал в учителя греческого языка будущий профессор истории Николай Рожков, выражавшийся членораздельно, — мы приняли корельскую березу марксистского лба за подлинные Сократовы шишки, — и немалая часть его учеников уверовала в прусского бородатого бога.

Мне было нетрудно учиться; поступая в первый класс гимназии, я уже знал начала латинской грамматики, так как был подготовлен матерью. Но к одному не мог быть подготовленным в семье: к бессмыслице гимназического преподавания, и она была для меня источником великих страданий. Я легко решал арифметические задачи с многозначными числами, но столбенел и терялся, если в их условии говорилось, например, о крестьянине, купившем кусок шелковой материи в 427 аршин и 3 вершка, по 4 рубля 81 копейка за аршин, из которых 1 аршин 17 вершков он истратил на кафтан, 221 аршин 1 вершок на юбку жены и остаток обменял на овес, приплатив 11 копеек, — сколько пудов овса он получил, если пуд стоит 53 рубля 20 копеек? Я приставал к матери с вопросами, зачем крестьянин шил кафтан из шелка и почему так много пошло на юбку? Она старалась убедить меня, что это только так, для трудности, и что крестьянин тут ни при чем, а нужно просто вычесть кафтан и юбку из куска, помножить на стоимость аршина и разделить на стоимость овса, — но я так не мог, мне мешало лицо крестьянина, хозяина нашей дачи в деревне Загарье, зимой носившего меховую шапку, и я не мог представить себе его жену в такой огромной шелковой юбке. Когда же мы заучивали наизусть — «Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова, Иаков роди Иуду и братьев его, Иуда роди Фареса и Зару от Фамари», — никак я не мог проникнуться святостью Евангелия от Матфея, так как невольно представ-

лял себе нашу кошку, котят которой дворник трижды в год уносил топить. Я был очень способным дома, когда мать готовила меня к поступлению в гимназию, тем более, что присутствовал при ее уроках со старшими детьми, многое запоминал и после воспринимал легко; но гимназия не только убивала всякую жажду знания, но и развивала тупость восприятий. Помню, как однажды, не одолев какой-то юбки в 200 аршин и зубрежки грамматических исключений, я почувствовал себя глубоко несчастным, заживо замученным и осужденным на гибель человечком, лег на пол, разрыдался и так заснул. Я лежал в той яме, где арестант высосал корову, и боялся поднять голову, так как меня преследовали Иуда и братья его и хотели заставить писать мелом на черной доске, и это были древляне, которые привязали к верхушкам деревьев Святополка Окаянного за то, что он не решил задачи, и теперь хотели так же разорвать и меня. Лежать было очень холодно, лодку качало, под голову забралась скользкая рыба, пальцы мои были перемазаны в чернилах, и я стал тоненьким голосом звать мать, а громче крикнуть никак не мог, что-то застряло в горле. Вдруг стало хорошо, точно пригрело солнцем, мать подняла меня, довела до постели, и я опять заснул крепко, сладко и без страшных снов. После этого несколько дней меня не пускали в гимназию и не заставляли учить уроки, — и этих дней было достаточно, чтобы вдруг все стало гораздо проще, Фарес и Зара прочно утвердились в памяти, а святая Ольга мне даже понравилась своей замечательной хитростью, и я перешел по второй класс с похвальным листом. Вглядываясь в даль жизни, я вижу себя в Неаполе очень жарким летом, в дрянном отеле. Я приехал по делу, но еще в поезде почувствовал страшную головную боль, свалившую меня в постель. Со мной не было никаких лекарств, и не было сил поднять голову, встать и позвонить. Миг-

рень дошла до такой степени, что я, навалив на голову подушку, выгнул тело, напрягся и старался воткнуть голову в твердый тюфяк. Думать ни о чем не мог, но весь был проникнут ощущением своего одиночества и грядущей гибели, глухо рычал в подушки и боялся переменить положение. Потом на какое-то время я потерял сознание, а когда очнулся, боль сразу ослабела и еще через несколько минут совсем прошла. Я встал с осторожностью и боязнью, увидал, что за окном уже темнеет, почувствовал голод, — и этот вечер в Неаполе был самым приятным и очаровательным за мое долгое знакомство с нелепейшим из итальянских городов. Было поздно идти по делам, знакомых не было, я поднялся финикулером на Вомеро, дошел до монастыря Камальдоли и смотрел оттуда на Неаполитанский залив и на город. Я совсем не был одинок — всюду горели огни, зажженные людьми, меня окружал живой мир необыкновенной красоты, и уже в полной темноте я угадывал знакомые очертания берегов, городков и двугорбого Везувия. Радостно изумляясь своему блаженному состоянию, я уголком мозга вспомнил такой же странный переход от ужаса и кошмара к покою и ясности, — это было связано с муками гимназистика и как будто пригрезившейся материнской лаской. И когда в Москве я лежал на заплеванном полу всероссийской чеки, в так называемой конторе Аванесова, ожидая отвода для меня и других более уютного помещения, была минута, когда мне хотелось умереть от отвращения к глупому обезьяньему миру; увидав доску, лежавшую под нарами, на которых мне не нашлось места, я положил ее под голову, заснул, а через полчаса уже улыбался, когда дородный сытый латыш, разводивший нас по камерам, на ломаном языке назвал «несознательными буржуями» меня и моего товарища, поделивших годы своей молодости между тюрьмами и эмиграцией. Нужно толь-

ко немножко отдыха, немножко отдыха — и опять можно жить и даже смеяться. Если бы, падая с отвесной скалы, мне удалось уцепиться за ветвь дерева, над ней нависшего, и тем отсрочить гибель, — я бы, думается, нашел время полюбоваться прекрасным видом на окрестности. Почему же жизнь не дает нам больше таких передышек? К концу учебного года, утомленные нелепостями и зубрежкой слов, имен, правил и формул, пропитанные дрянным воздухом гимназии, мы держали еще экзамены, проигрывая весну и лучшее молодое солнце; и все же наступал, наконец, день, когда Малинины, Буренины и Евтушевские, негодуя и раскорячившись, летели под стол или рвались в клочья, и мы кубарями скатывались с обрыва к реке и докрасна обжигались на беспощадном солнце. Только три месяца каникул и были подлинной жизнью; остальное время — бездарным и злым издевательством над маленькими будущими людьми. Поразительная страна! Ее тюрьмы были образцовыми школами, рассадниками не только сознательности, но и образования; ее средние школы — во всяком случае в провинции — были подлинными тюрьмами, с восьмиклассной пенитенциарной системой. Какое плодородие почвы и какая крепость духа потребовались, чтобы эта страна, вздрогнув и потряся весь мир, — не надорвала себе сердца!

Я не присягал на верность последовательной строчке, не будучи ни отрывным календарем, ни зингеровской машинкой. Наш мозг не фильма, а светочувствительный песок, и я, взяв горсть, пропускаю его струйки между пальцами. Вспомните, что вы на днях видели во сне: школьную парту, невыученный урок. Я видел речку Егошиху, хотя она, может быть, давно высохла, и только линия смородинных кустов напоминает, что тут была влага. Мы были усталыми старичками на уроках географии, мы стали малыми детьми в политических спорах. Детство

не возраст, а настроение. После десяти лет блужданий по пятнадцати странам Европы я подъезжал на пароходе к городу, в котором родился. У самого города через Каму был переброшен оскорбительный мост. Там, где была рощица, а после — фабрика, из казарменных зданий вырос университет, на открытие которого я приехал. Молодые люди подбелили виски и важничали ревматизмами. Говоривший приветственную речь столичный профессор повернулся на каблуках к всемилостивейшему портрету, волею которого вспыхнуло на крутом берегу высокое просвещение; впрочем, он воздал честь и местному богачу, давшему на благое дело свой дом и свои деньги, как раньше он охотно жертвовал на организацию революционного террора; я знавал его молодым — теперь он был сед, но очень бодр. Он не верил ни и сон, ни в чох, ни в птичий грай, но ему нравилась сибирская вольность; через хребет Урала ее избытки перекатывались сюда. Старый терапевт, лечивший и меня в раннем детстве, показал мне сокровища археологического музея, собранные его любовью и старанием: и сасанидские блюда, и клыки мамонта. С земским деятелем мы вспомнили, как чествовали в клубе заезжего Михайловского, которого никто из чествовавших никогда не читал, но это не препятствовало уважению: человека преследовали, значит, его нужно было почтить. Университет был открыт — тому доказательство кучка безусых студентов, еще не вкусивших храма науки. И тогда я отправился бродить по городу, улиц которого не узнавал, но отмечал в памяти низенькие, еще не перестроенные дома. Тут, против театра, на площади, раньше казавшейся мне огромной, устраивался зимой каток. Губы гарнизонных музыкантов прилипали на морозе к медным трубам, у мальчиков, бегавших «гигантским шагом», свистал пар из обеих ноздрей. Я тоже умел выделывать на льду фигуры и однажды шлепнулся прямо к ее

ногам; возможно, что ее звали Женей или Катенькой, точность уже неважна, если ее внук не хуже меня скользит по льду на американских коньках. Но сейчас было лето, и пух тополей устилал дорожки сада снегом, мягким и теплым. Этот пух я собирал в кучки и горки, гуляя с мамой или с няней; потом я размахивал его ногами, спеша с удочками через сад, мимо почты, мимо балаганов с золотой воблой, по крутой тропинке на берег, где у пристани привязана моя лодочка. Потом, фланируя без цели, празднуя безделье, я внезапно остановился посреди пустынной аллеи и понял, что это и есть счастье: на мне совершенно новая, не тронутая солнцем фуражка студента. Тополя разрослись и стали огромными, аллеи сузились, люди перестали быть знакомыми, а я был несколько слишком наряден, в черной паре, сшитой в Лондоне и пригодившейся к торжеству открытия храма просвещения. Европеец вернулся в захолустье. Вечером я был зван на пельмени в тот же самый домик на Екатерининской улице, к двум старым девам, моим сверстницам по гимназическим годам, — насквозь пронизанный поэзией родины. Я присел на скамейку, и мимо меня прошел очень серьезный и деловитый мальчик с замотанными удочками. Жизнь продолжается.

Отходя от пристани, пароход гудит совершенно так же, как и в те года. Он делает крутой поворот, так как стоял носом против течения. Берега и город, в котором я никого не оставляю, быстро пробегают большим обратным кругом, и отрывистым сердитым гудком мы предупреждаем недальнюю рыбачью лодочку; я всегда считал за честь такой сигнал, отгребался небрежно и кричал: «Ладно, проедешь, места много!», а по проходе — повертывался носом к крутым валам: лучшие качели в мире! Как бы мне найти тот прекрасный тон равнодушия и опыта, которым я, войдя в рубку, заказывал стерлядь кольчиком, и, в ожидании, читал литографированные

лекции по римскому праву? А в Пьяном Бору две дюжины раков. Дальше — перекаты реки Белой, — но не будет ни духа сирени, ни сладости липового цвета — не та пора. Мне предстоят деловые визиты и доклад об европейских военных настроениях. Еще ждет могила отца, которой я не найду, как не нашел могилы матери. Ко мне подойдет незнакомый человек и скажет: «Вы помните свою кузину Манечку? Я ее муж». Я помню очень молодую девушку, при которой я состоял рыцарем! «Приходите к нам сегодня пообедать». Я приехал из Рима через десять и более столиц, воюющих и нейтральных, и вот я, наконец, не на шутку взволнован.

И вдруг все кружится, взлетает и падает; вместе со всем кружусь и падаю я. По крыше дома в Чернышёвском переулке с противной монотонностью бьет пулемет. Когда, наконец, выходят газеты, в списке народных комиссаров — уфимское имя. В детских воспоминаниях «кузина Манечка» освежена недавней уфимской встречей, но московской встречи я не ищу; и однако Москва — не Тихий океан, в котором носятся щепочки, и мы встретились. Я ей сказал: «Нет, я к вам не приду, хотя всегда рад тебя видеть». Она была уже пожилой, но такой же красивой женщиной, как была всегда. Я пояснил: «Помнить, когда я был малышом-гимназистом и приезжал в Уфу, вы, старшие, брали меня с собой на Дёму, где мы раскладывали костры и пели песни. Однажды позвали к костру старика-башкира, накормили его, и он пел нам свою песню. У меня на давнее прошлое такая хорошая память, что я не только мог бы напеть тебе мотив, но и слова помню, башкирские и совершенно мне непонятные. Он пел, зажмурив глаза, а в паузах широко и как-то удивленно открывал их. И был кто-то, кто записывал и слова, и мотив. Но это так, между прочим. И, конечно, я лучше помню слова русских песен, которым вы меня научили, — о вольности веселой, о славном труде, и еще

тюремные песни, тоже замечательные. Между прочим, я недавно сидел в тюрьме, ты, вероятно, слышала об этом; но и это не важно. Я вообще очень благодарен вам за то, что вы меня, мальчика, научили любить свободу и ненавидеть тюрьмы и дворцы. Когда я был в Черногории, король этой карликовой страны пригласил меня к себе на прием, но я отказался. «Где вы живете?». Она ответила тихо: «В Кремле». Мы обнялись и простились; в моей памяти я остаюсь ее рыцарем. Спустя несколько лет в Берлине я получил городскую открытку: «Мы здесь». Но в этот день я уезжал в Италию и не мог даже ответить. Я очень любил когда-то Италию, в то время — свободнейшую из стран, и остаюсь ее преданным рыцарем; но больше в ней не бываю.

Не изменять никогда детской и юношеской вере — и тогда не нужно справляться по карте, какими проселочными дорогами и тропинками пролегает путь. В книжке «Робинзон в русском лесу» мальчики испугались и заплутались, но пришли туда, куда и стремились первоначально: в безлюдную глушь, к прекрасной, полной значения жизни пионеров, детей природы, ее учеников и друзей. Она развернула перед ними свою книгу, в которой было записано все, что стоит на полках и в шкапах библиотек всего мира, и еще очень многое, что в этих книгах пропущено и недогадливо запутано, все, что было, что есть и что будет и что неложно. Для тысячи и тысяч людей эта истина — только малопонятная фраза; они пожимают плечами, думая, что им предлагается всю жизнь есть зеленый лук, запивая железистой водой. Им в общем нравится чужое чудачество, но деловые бумаги не пишутся стихами; природа — это отложной ворот, гвоздика, насморк, лягушки и обратный билет; это, во всяком случае, несерьезно, даже если связано с куроводством. На неудобном столе они пишут целую стопку открыток: «Здесь чудесно! Ну, а как

вы?» Ранней весной в лесу нет центрального отопления; солнце и дождь равно требуют зонтика. Радостно говоря «увы!», — они расцветают надеждами на старые встречи, и за две станции полной грудью вдыхают городскую пыль; немножко обидно, что пропустили заметную панихиду, — и жадно жуют газетный лист. Когда мой отец приезжал в деревню, мы шли с ним открывать новые родники и пили воду из резинового стакана. «Ты знаешь, куда бежит эта вода?» — «В речку». — «А из речки?» — «В Каму?» — «А из Камы?» — «В море». — «Ну, а из моря?» — «Из моря куда-нибудь в океан». — «Может быть, она и добежит до океана, а может быть, просто — смотри!» — И он показывал мне на облако: «Вон она возвращается к нам!» И я знал и знаю, что все возвращается и снова уходит, что гибнет растение, — но возрождается в зерне, что путь пролетевшей пчелы повторит другая, что вечен перелетный возврат птиц. Все, что мне позже открыли книги, что я принял из них и не отверг, — все это было раньше вышито зеленой гладью на клубничном косогоре, роилось и жило подо мхами, под древесной корой, в бесчисленных норках, прыгало по веткам, стояло звонкой песней над крестьянским полем, расцветало на поле и увядало без времени в детском кулаке. И когда на углу Никитской в большой круглой аудитории уверенный бархатный голос убежденно бубнил о праве, я слушал с вниманием и думал о том, что выше всего выдуманного нами: о счастье расти на поляне свободным злаком, стремясь вверх и стелясь по ветру с другими. В дни революции площадь Казанского собора в Петербурге заросла травой, — но и раньше я собирал цветы на московской мостовой. Я видел фотографии Ангкорских храмов, стены которых просверлены вековыми деревьями и скрыты ползучими лианами. На Римском форуме я сидел под шестью дубами в развалине домика Цезаря; их неразумно спилили, но они прорас-

тут в развалинах палаццо Киджи, и вырастет лес среди камней Московского Кремля, где рос он и прежде. Отец не мог сказать мне неправды: все возвращается. И детской вере я не хочу изменять.

Это было ровно полвека тому назад. Сидя у пюпитра неудобной и непривычной школьной парты, так что ноги едва касались пола, я выписывал на листе линованной бумаги слова, которые диктовал гулявший по зале учитель русского языка. Нас было много, вихрастых, серо- и кареглазых, одетых в домашние курточки и блузы, подпоясанных кушаками и цветными поясами, пришедших на первый в жизни экзамен. Кроме экзаменатора, в зале сидел апатичный директор гимназии, доставал из носа малые шарики и сыпал на пол — таким я и после знал его все восемь лет. Наши отцы и матери трепетно ждали где-то в соседних классах, знакомились и говорили о том, как трудно, хлопотно и дорого дается воспитание детей. Мы писали (и не забудьте — по старому правописанию), — что «бѣдный дровосѣк съял мелкій хмель в зеленом лѣсу мачехи, а Глѣб и Андрей сидѣли на ели и ѣли хлеб, доколѣ им не объявили, что прежде чѣм спуститься, им доведется помолиться». Нам сообщали свѣдѣніе, что «женитьба лѣкаря нравится великому дѣдушке Сергѣю, занятому веденіем дѣл в теченіе шестнадцати лѣт. Мальчик Петенька вонзил занозу за ноготь сестренки, но она не заплакала ни разу. Митенька стал клясться, что постлал постель одѣялом и ушел в поле». Мы узнали вообще много интересного, выраженного нужнейшими словами и самыми трудными в русской грамоте. Наконец, написав что-то про «мельницу, мѣл и ветхого ездока», про «кожаный чемодан и запеченную вѣтчину», мы поставили точку, и учитель отобрал наши листы с проставленными фамилиями. Я вернулся к матери, озадаченный зеленым лесом мачехи и шестнадцатилетней деятельностью великого Сергея, и мы более

часа ждали решения своей судьбы; от этого решения зависело, купят ли мне на пути домой гимназическую фуражку.

И вот, когда я припомнил и пересказал матери все продиктованные фразы, учитель русского языка вызвал меня и мою мать в залу, погладил меня по голове чернильными пальцами, и, дохнув мне в лицо водочным перегаром и табаком, сказал, что я не сделал в диктанте ни одной ошибки и что я буду писателем. Мать была горда и счастлива, хотя мечтала, что я буду прокурором, я же хотел стать лесничим, но пока думал только о фуражке с серебряным гербом, в которой я вернусь домой.

И все-таки он оказался пророком, пьяный и опустившийся человек, доведший нас от буквы «ять» до Стефана Яворского и передавший другому, с которым мы доползли до Собакевича. Я не сержусь на них, ничего нам не давших: мы сумели пойти своей дорогой и уже читали Белинского, когда крестик в учебнике словесности не запятнал страниц, посвященных Ломоносову. Мы лениво слушали то, что нам говорили, и легко угадывали все, что замалчивалось. Не сделавшись лесничим, я остался сыном северных лесов, полжизни прожившим в кислоте среднеевропейской и южной природы, но не изменявшим очарованьям детства. Став писателем, я не написал ни одной книги, где бы символ моей веры не был высказан языком лучшего и единственного учителя моей юности — русской природы, — в тех пределах, в каких мне этот язык доступен.

И эти строки случайных и беглых воспоминаний — только поклон той же далекой стороне: небу, воде, лесам, красной гвоздике и душистому майнику; людям, там жившим и живущим; духу вольности, который вернется, как все приходит, уходит и снова возвращается на этой земле. Теням предков и неслышному зову друзей.

Юность

Я пытаюсь вспомнить о годах своей юности, хотя не очень ясно, что разуметь под этим словом, какой отрезок нашей жизненной дороги. Как это никто не догадался делить жизнь на трехлетия или пятилетия, каждое со своим ярлычком, — не было бы путаницы и, главное, качества и настроения одного отрезка не позволяли бы себе вторгаться в неподобающую клетку. Как вы смеете, уже спускаясь по склону, уже почти спустившись, уже перед окошечком расчетной кассы, ощущать себя моложе и жизненнее, чем полагается вашей категории? Моя зима все еще бесснежна, а головы тех, кто могли бы быть моими детьми, запорошены снегом. Они пытаются уверить меня, что на долю их поколения выпала тяжкая участь, что их несозревшими подхватил ураган событий, унес и выбросил на чужие берега и что это так рано сделало их стариками. Я верю им, сочувствую им, жалею их, хотя мое поколение пережило вдвое больше и в тысячу раз тяжеле. И я утешаю: молодость может вернуться, ведь это не возраст, а мироощущение! В жизни, духовно богатой, переживается несколько возвратов, и невозвратимо только детство, — но ведь не хотите же вы прыгать козлятами? И обратно: бывают люди без юности; их поезд минует эту таинственную станцию зарождения самостоятельной мысли и страстного наката неразрешимых вопросов. Пожалуй, в нынешней спешке прямые поезда удобнее и экономнее. Спешили мы, но когда еще не гнались за рекордами скорости, техника была невысока.

Младенчество, ребячество, детство, отрочество, юность, молодость, возмужалость, взрослость, зрелость, возраст средний, почтенный, преклонный, старость, дряхлость, — что еще? Какое множество верстовых столбов! Подъем сложнее склона и богаче оттенками, и труднее всего, кажется, определить, где начинается и где кончается юность.

Часов в десять утра я проходил аллеей городского сада — в день праздничный, свободный от гимназических уроков — сад был пуст, только что подметен сторожами, освещен косыми лучам солнца, приятен, свеж, голосист птичьими напевами. На повороте в боковую аллейку меня остановила волна воздушной мысли — накат неожиданного, показавшегося великим открытием: цель жизни есть сама жизнь! Это могло явиться в долгом ходе скрытых и путаных размышлений, но могло свалиться с ветки липы случайным подарком. Я читал русских и иностранных классиков — ни один из них не дал мне этой простой формулы, хотя мог незаметно к ней подвести. С полнотой переживались драмы, помнились прекрасные ответы и умные слова, но детство, еще вчерашнее, не ставило ясного вопроса о цели и смысле человеческой жизни. Его выдвинуло утро и очаровало самостоятельностью, ниоткудостью моего открытия: цель жизни в самом ходе жизни, в движении, а не в какой-то последней точке. И я не знал, что из учебников философии, мне еще незнакомых, ласково кивают старики разных веков и поколений, домыслившие то, что юноше щепчет утренний ветерок. Я был поражен и взволнован: как это замечательно! Детство осталось за плечами — наступила юность. Дома не заметили, что вернулся уже не тот мальчик, который вышел в курточке сурового полотна, подвязанный ременным поясом: явился новый юноша, предчувственник будущего, обладатель тайны, которая ляжет в основу строительства жизни. На мелком и быстром теченье ручейка блеснули зернышки золота, потом опять набежал песок — все равно: я уже видел малый свет, который дается новопосвященным.

Я не о себе пишу — какой смысл писать о себе! Я хотел бы даже писать не о мальчике из северных лесов, будущем землепроходце. Если бы я не боялся аудитории (или — не жалел ее), я писал бы даже не

о маленьком человеке, а вообще о существе, вступающем в жизнь. В живой природе есть существа без юности — и с длительной, непонятной для нас юностью. Есть отряды крылатых, которые, едва освободившись из кокона, уже делаются совершенными взрослыми особями — и летят скорее полюбить и погибнуть. Есть мушки, самцы которых подстерегают самок у выхода из небытия в бытие, и, помогая им разорвать кокон, не оставляют им ни мгновенья девичьей жизни, — а после кладки яиц уже стережет смерть. Есть мотыли, детство и юность которых длятся семнадцать лет в земле в форме личинки, а жизнь взрослая, окрыленная, меньше недели. Есть человеческие дети со старой душой, и есть старцы, доносящие до гроба, не расплескав, кубок молодых чувств, испитый до дна и все-таки полный. Став в сторонке, будто бы бесстрастный, а на деле взволнованный и смущенный величием жизни наблюдатель, страстью познания пьяный всебожник, мальчик, впервые попавший в кинематограф, — я, в сочетании чешуйчатых пятнышек, в отливах жучьей брони, в изгибах членистых тел, в зеленом лаке хлорофилла, бутонах, шипах, подземном и надземном всепожирании и всесотрудничестве, в полетах, ползанье, стойком внедрении корнями, завидуя тысячеглазию мухи и антеннам последней букашки, — ищу понять и познать, как это случается, что просыпается семя и разматывается клубок жизни, у каждого свой, но единый в своем бесконечном разнообразии, роднящий меня с бактерией, мокрицей, плесенью, слоном и Шекспиром? О какой говорите вы цели, не зная не только причины, но и причины причин? О каком добре, не имея ни в пространстве, ни на земле, ни в себе самих точки опоры? О какой истине — кроме искомой и ненаходимой? Вглядываясь в эту жизнь со всею пристальностью, доступною хрусталику глаза, я вижу только вечный путь с цветным фейерверком символов, скользящих отметок на зам-

кнутом круге, но я не вижу ни концов, ни начал, и в вихре нагромождающихся гибелей и кажущихся рождений я, к несказанной радости духа, в награду за его пытливость — не вижу смерти: ее нет! Сейчас я могу изложить это какими-то, хоть и сумбурными, но внятными словами; тогда, в первый день моей юности, конечно, не мог — даже самому себе. Но если бы я мог сейчас испытать хоть сотую долю того счастья, какое дала мне тогда зарница непостижимой истины! Тогда она была свободной — сейчас оплетена беспомощной речью.

Мы говорим здесь о юности, о рождении сознания, — я не обещал биографических событий, они нужны мне только для иллюстрации. Но я легко могу их выдумать. Так, например, завязав в узелок мое открытие, первую настоящую драгоценность, уже не детскую игрушку, я отправился с нею по свету на поиски пробирной палатки. Где-нибудь, во дворце, в подвале, в музее или на бирже, должны быть абсолютные знания и абсолютные ценности; мне надо знать, сколько золота в моем куске руды. Я был хорошо воспитанным мальчиком, и, входя в кабинеты мудрецов, я шаркал ножкой и вежливо показывал принесенный образец. Обычно мудрецы осматривали меня с ног до головы, бросая беглый взгляд и на то, что они принимали за игрушку, и, будучи очень заняты, отсылали меня к странице такой-то, строка такая-то общедоступного учебника, где подобное открытие было описано, доказано и опровергнуто, затем вновь подтверждено и оставлено под вопросом до следующего издания. Я пытался лепетать, что важность, собственно, в том, что это я, мальчик, открыл для себя самого, и что мне хочется, чтобы вместе со мной порадовались, и тогда они шутливо отсылали меня в столовую, где меня поили чаем со сладкими пирожными. Но как быть? У меня был только один гимназический приятель, Володя Ширяев, о котором я дальше расска-

жу; но Володя, конечно, не авторитет, он тоже — едва проснувшийся юноша. Я мог сослаться на отца, никогда не подсказывавшего мне формул, но научившего меня смотреть на облако и думать о воде, которая, испарившись, вернется в родственные ей камские волны. У отца были чины и ордена — может быть, это подействует на не оказывающих мне внимания мудрецов? Прошло много лет, как я ушел из дому со своим свертком. Полмира я, во всяком случае, обошел, с миллионом людей, во всяком случае, перекинулся словами; среди них оказались лишь единицы поэтов, обладавших тайнослухом и тайнозрением, способных созерцать с юношеской простотой и доверчивостью, так, чтобы новооткрытые Америки виноградными лозами сыпались прямо в наивно разверстый рот, чтобы сердце трепетало в лад со всей мировой жизнью. Их очень мало, таких людей; остальные проверяют север по компасу, время по карманным часам, нравственность по кодексу обязательных полицейских распоряжений. Их штанишки на помочах, их галстуки завязаны бабочкой, и все, что есть в них отличительного и замечательного, указано в их паспортах. Наученный долгим опытом, я привык не говорить о серьезном серьезно, чтобы не завязить ног в тягучем тесте их логических построений, и трехкопеечными парадоксами снискал себе доброе имя не слишком вредного шутника. Сверток юности моей остался нетронутым и нетленным, — его не нашли и не отняли даже при обысках. Поэтому мне не трудно, развязав узелок, ясно увидать перед собой картины моей юности, не богатой событиями и отнюдь не счастливой. Я не думаю, чтобы я был исключением, и считаю пустой фразой первую строку фашистского гимна: «Giovinezza — primavera di bellezza»*. Кто-то придумал и сказал, что юность — счастливейшая пора жизни; попугаи повторили,

* «Молодость — весна красоты» (*ит.*).

и понятие вошло аксиомой в наше представление. Юность — переход из богатейшего, цельного детского мира в угрожающую пустоту, которую очень немногим удается оправдать и заполнить не совсем скупыми и досадными образами. Юность — пора болезней роста — и тела, и сознания. Под грудой вопросов бьется и копошится маленький человек, руки которого непомерно длинны, ноги заплетаются, голова не имеет покоя; ломается его голос, и его уже беспокоит пол. Юношеское тело уродливо — возраст, по преимуществу обнаруживающий близость нашего родства с обезьяной. Не ребенок и не взрослый, обязанный быть и тем и другим и не быть ни одним из них. Несчастный объект непонимания родителей и покушения педагогов. Сказки оказались вздором, внешний мир перестал стесняться показывать свою грязь; идолы и идольчики с рекомендательными письмами настоятельно требуют остановить на них выбор; ни в одном возрасте так не сказывается власть запахов — черемухи, мускуса, гниения. Матери и сестры оказываются женщинами, отцы подозрительны по глупости и рабским привычкам. Внезапно выясняется, что у героев бывает насморк и геморрой, у писателей — запоры, у богов — наследственное тупоумие. И наряду с этими страшными разоблачениями — органическая жажда жизни и тяга к познанию, которое лишь сахарином посыпает бродящую мозговую мякоть и этим сладким обманом несколько притупляет горечь растущего в юноше сознания. Процесс, почти столь же болезненный и мучительный, как рождение — этот переход из спокойствия небытия в суетливый и, скажем по совести, неубедительно устроенный мир.

Чтобы пережить и перетерпеть эту ломку, нужна взаимопомощь. Я оглядываюсь по сторонам — всякой формы носы, уши, волосы бобриком или с косым пробором, серые и голубые глаза, у некоторых намек на усы. С двоими братьями-близнецами, Андре-

ем и Митей, меня соединяет в приятельстве легкомыслие: мы презираем девочек и ищем их внимания. Но я ухаживать не умею, я преувеличиваю в скепсисе, в иронии и резкостях, боясь быть неинтересным (худой, белесый, ни пушинки над губой). Мои приятели проще и пользуются успехом: здоровые, веселые, откровенно глупые, в форменных пальто серого офицерского сукна. Их можно различать только по родинкам на лице: у одного на сантиметр ниже, чем у другого; все черты, голос, походка, даже строй мыслей без малейших отличий. Они влюбляются в одну и ту же, а так как их нельзя не путать, то «ухаживают» они по очереди, и когда одному надоест, его замещает другой. Тогда это казалось мне забавным — сейчас большинство людей кажутся мне близнецами. В пятнадцать лет — мой первый роман. Неуклюже сталкиваются руки, пальцы жмут пальцы с боязливой осторожностью, и в долгих прогулках (зимой ноги превращаются в ледышки) мы говорим обо всем, кроме любви. Но, расставаясь, мы обмениваемся записками, сложенными в комочек, где сказано все — и как сказано! С какими литературными оборотами, с какой глубиной чувств, с каким красивым обнажением души, непременно страдающей, непонятой, неудовлетворенной! Затем новая встреча, рукопожатие, разговор о пустяках, нравится ли вам Достоевский. Так как необходима трагедия, то однажды (в лермонтовский период) я говорю ей (не пишу, а прямо говорю), что я только смеялся: мое сердце не создано для любви. Правда, мне сказали, что она — уморительная толстушка и не может идти в сравнение с восьмиклассницей Тосей, так что я, действительно, разлюбил. Она съедает несколько серных спичек и подробно описывает мне (почтальоном ее сестренка), как ее спасли. Спичкам я не верю, но — «как мало прожито, как много пережито»! Я подал сочинение на заданную тему о русской женщине по Пушкину и Лермонтову —

сочинение размером в «общую» клеенчатую тетрадь, потому что уж женщин-то, конечно, достаточно знаю! Превосходная тема для шестого класса гимназии! Дрянь мальчишка — расшаркался перед героинями, отшлепал отечески и Онегина и Печорина. Что вы хотите: литература - особая статья, смешивать ее с жизнью не приходится. Получил пять с плюсом, и сочиненье было прочтено в классе вслух. Братья-близнецы получили по тройке с минусом; а пятерку, кроме меня, только Володя Ширяев, создавший «неувядаемый образ» княжны Мэри (прямо на зависть!); я разработал преимущественно Татьяну. Из гимназии мы возвращались вместе, разговаривая просто и серьезно, как люди, друг друга способные понимать, и условились дважды в неделю читать вместе, начав с Шекспира. Мучительно стараюсь припомнить — почему с Шекспира, ну, почему именно с Шекспира? Одним словом — с Шекспира. Шекспир здорово пишет!

Сначала мы читаем Шекспира вслух по очереди, потом пробуем пустить «на голос», поделив между собою роли. Володя — представитель критической мысли, я — романтик, но но этим признакам не всегда легко делить роли, тем более, что большинство пьес нам не знакомо. Женщин (как практический знаток женского характера) беру обычно я, хотя леди Макбет исполняет Володя. Отелло тоже я. Гамлета мы проходим дважды; Володя в роли датского принца хорош, но слишком язвителен, и во второй раз он берет на себя Офелию и тень отца. Второстепенных мы разыгрываем по жребию. Я очень одобрен Володей в роли короля Лира — и весь следующий день брожу скорбно, седой, задавленный тягостью лет, так что мать предлагает мне лечь пораньше и выпить липового цвету. У нас только одна книга, и мы читаем, сидя рядом, причем Володя близорук. При монологах один из нас овладевает книгой и может актерствовать, бегая с нею по

комнате. Тень отца Гамлета забирается на стул — как-то правдоподобнее. Но случается, что мы оставляем книгу к отдаемся потоку мыслей, и вызывают их не сцены, а какая-нибудь одна фраза, одно словечко этого изумительного Шекспира. В воскресенье мы идем на кладбище — сейчас же за городской заставой, среди хвойного леса. В дальнем его конце кладбищенский сторож одиноко ковыряет землю для новой могилы. Его зовут Трофим, и он не циник, как те могильщики, а набожный и добрый старик. Мы молча наблюдаем за его работой, ожидая, что вот-вот его лопата выбросит череп: «Бедный Йорик!» Каждому из нас хочется первым сказать эти слова, но черепа все нет. Володя говорит: «Мне нравится в Шекспире, что у него все герои высокого роста, то есть не прямо, а, вы понимаете, представляются такими великанами». Мы с Володей на «вы», а на «ты» я только с Андреем и Митей. Я говорю: «Шекспир чувствует страсть и замечательно изображает, а вот доброты в нем нет никакой». Могильщик Трофим говорит: «Вы, баричи, все тут бродите и смотрите, а видали вы змею на плите?» — «Какую змею?» — «Есть старая плита, ей годов сто ли, двести ли, на плите змея кольцом и много написано. Я, конечно, неграмотный, а люди говорят, что отец проклял дочь и про все ее дела написал. Вот какой был человек, непримиряющий!» Мы ищем и находим плиту. Она бронзовая и наполовину протравлена зеленью. Змея закусила свой хвост, и в круге надпись церковно-славянскими буквами. Поскольку мы способны разобрать, ни о каком проклятии дочери не говорится, и похоронен тут бригадир. Года разобрать не удается, длинная надпись туманна, слова необычны и много выгравированных знаков: лестница, треугольник, слитые в пожатии руки, череп и кости, пятиконечная звезда. Плита наклонна, так как один ее край приподнят выросшим рядом с нею кедром, корни которого внедри-

лись и под плиту. В своей старой части кладбище, бывшее раньше лесом, снова стало миром хвои и кустарника, часть могил затянута мохом, деревянные кресты уже давно сгнили и упали, и уцелели только каменные и гранитные памятники и несколько часовенных склепов. Птицы, белки, заячьи покидки и холодок даже в солнечный день. Часто нога проваливается в старую могилу, давно осевшую, а рядом розовые колокольчики ползучей линнеи обвили двойной каменный скат — крышу вросшего в землю низкого шестиконечного креста. Володя наклоняется и смело подымает землистого цвета предмет, может быть, действительно, осколок черепной коробки, и я на всякий случай — про себя, шепчу: «Бедный Йорик». «Сделаю себе из этого пепельницу», — равнодушно говорит Володя, начавший в этом году курить. Я чувствую зависть к спокойствию Володи и тем же тоном прошу: «Позвольте мне на минуту!» — и когда он подает мне темный предмет, я, с видом археолога и натуралиста, привыкшего к подобным находкам, откусываю край и, спокойно выплюнув, говорю; «Несомненно, — истлевшая кость, вероятно, бывший череп». Всю дорогу меня поташнивает, но все-таки я горд победой. Володя это чувствует и при расставаньи великодушно говорит: «Если хотите, возьмите себе».

Дважды, а летом и трижды в неделю, мы читаем вслух русских классиков — да здравствует великий Маркс, не тот, бородатый прусский идол (о нем в девяностые годы мы еще не слыхали), а Маркс — издатель «Нивы», давший в приложениях к ней все лучшее в русской литературе. Недостающее мы добываем в городской публичной библиотеке, где нам покровительствует стриженая библиотекарша в очках, и писатели-художники чередуются с Белинским, Писаревым, Добролюбовым, — никак не можем найти Аполлона Григорьева. В гимназии мы слывем начетчиками, и учитель словесности сильно нас

побаивается. Я, сверх того, иду за отменного чтеца и, выступая на гимназическом акте, читаю посвященные Екатерине стихи. Императрице подали пасквиль, в котором ее оскорбляли «как женщину, как мать», и она «пасквиль тот взяла и написала с краю: «Что здесь, как женщины, касается меня, я, как царица, презираю!» Голосом, бровями, всей фигурой я выразил такое величавое презрение, что меня подозвал попечитель учебного округа, почтивший своим присутствием наш акт, и, подав мне пальцы для пожатия, сказал: «Прекрасно, молодой человек, отличное стихотворение, пишите и дальше — у вас талант!» Я робко пробормотал, что это стихи не мои, а Апухтина. «Ну, конечно, знаю, что Пушкина, но прочитали вы прекрасно!».

Володя решил, что, если он провалится на экзамене в институт путей сообщения, то станет литературным критиком. Мне предстоял юридический факультет (отчасти в уступку желанию матери), но настоящая, мечтаемая дорога наметилась еще в седьмом классе, когда редактор петербургского журнала написал мне: «Милостивый Государь, ваш рассказ принят и пойдет в ближайшем номере. С совершенным почтением — — —». В этом рассказе, о котором ничего не знал даже Володя, молодая девушка упала в воду и утонула, а ее отец сошел с ума и бегал с дикими возгласами по полям и лесам. В следующем рассказе предстояло матери зарубить топором своего грудного ребенка, а самой повеситься. Пока в одной большой приволжской газете была напечатана моя статья об оперном сезоне, а в местной нашей газете — трогательный некролог. Началось!

Как же могло быть иначе — страстная тяга сопричислиться малым зернышком к великой цепи творящих. Писатель — существо необыкновенное, его читает и слушает вся страна и даже другие страны и по смерти ему ставят памятник. Он, конечно,

страдает — ужасно страдает по всякому поводу, и без этого у него ничего бы не вышло. Его преследуют, гонят, потому что он обличает зло; но лучшие и избранные стоят за него горой и готовы погибнуть вместе с ним. Впрочем, мы читали и критиков, так что понемногу стали разбираться в ценностях: все-таки Лермонтов, знаете, не Пушкин! И зачем это Достоевский написал «Чужая жена и муж под кроватью»? Недаром мы начали с Шекспира! Мы не просто читали произведения, мы видели их авторов. Портреты, которые я в то время для себя создал, остались навсегда, — разве что Пушкин раньше казался мне брюнетом. Высокое почтение не служило препятствием некоторой фамильярности образов. Лермонтов, например, был почти что гимназистом, самолюбивым, задорным, но по натуре робким, больше всего похожим на Грушницкого, никак не на Печорина. И смерть его не казалась трагедией, как смерть Пушкина: просто — пропал ни за грош из-за простой рисовки. Но зато когда он в своем новеньком офицерском мундире приподымался на цыпочки и пел, — пелось вместе с ним и даже хотелось тоже писать стихи. Пушкин, наоборот, никогда не казался мне шутником, может быть, и потому, что на портретах он всегда серьезен. «Дубровского» мог написать только очень строгий и очень страдающий человек. «Капитанскую дочку» я часто перечитывал — и она мне казалась (и сейчас кажется) выше всего написанного Пушкиным. И еще я думал, что Пушкин очень мучился своим малым ростом и обезьяньим лицом и что ему, вот такому, приходилось бороться с красивыми и высокими людьми и побеждать их умом и талантом. И зачем он женился на женщине, рядом с которой он казался смешным и безобразным! Наталья Гончарова была моим личным врагом — Володя относился к ней снисходительнее, хотя тоже не уважал. К Тургеневу мы оба питали ис-

креннее расположение; с ним было просто — улыбающийся и радушный человек, охотник, любитель природы; жаль, что он не бывал в наших краях и описывал какие-то благоустроенные лесочки с игрушечной дичью, — но зато как описывал! В его романах герои были людьми слабыми, бесхарактерными, хорошо одевались и катались по заграницам. В Асю я был влюблен по-настоящему, и ее именем была названа моя лодка. На месте господина Г. я бы обшарил весь мир и Асю отыскал! Но поступил он с Асей, по-моему, очень благородно. Княжна в «Первой любви» мне не нравилась — ломака и неприятная особа. Но Джемма в «Вешних водах» могла соперничать с Асей. Обо всем этом Тургенев рассказывал с усмешечкой старого, вспоминающего человека, и вот таким писателем (темные брови, волны мягких седых волос, благородный взгляд) мне очень хотелось быть. Но у Достоевского в глазу — на всех портретах — нездоровая капелька, неблагородное, как у невыспавшихся или запойных. Достоевский приходил к нам, сидел подолгу, целыми ночами, и говорил много и дурно обо всех, заплетаясь языком, теряя слюну; когда же он начинал кого-нибудь хвалить, то сейчас же у этого человека обнаруживалась болезнь, и оба они извивались на полу в падучей или кашляли прямо нам в лицо. Несколько месяцев подряд мы читали двадцать четыре тома Достоевского, от «Бедных людей» до «Дневника писателя» — тяжелые месяцы моей юношеской жизни, полные первых нечистых мыслей, на какие ни один другой писатель не наводил; к счастью, мы читали его больше летом, в дни каникул, когда можно было купаться, а воздух закамского берега смывал с души липкий налет. Великого Инквизитора читал Володя — резким взрослым голосом, и я проваливался в глубокий колодезь безнадежности и не мог выкарабкаться. Позже, уже студентам, я перечитывал Достоевского один, гораздо сознательнее, с увлечением, долгими ночами

в московских студенческих Гиршах и Палашах, и тут, в нездоровом воздухе большого города уже не боролся с ним, а плыл по течению мутных волн, пока опять тот же «Дневник писателя» не оттолкнул меня от него, зачеркнув в нем все, за что он признан мировым писателем. Я потерял веру в его правду — и расстался с ним навсегда.

Нашим любимцем — моим, по крайней мере, — был в то время Гончаров, спокойный и чистый, уверенный рассказчик. Даже «Фрегат Палладу» мы одолели без скуки и усилий и не прочь были ехать с Гончаровым и дальше. Он приходил к нам без спешки, садился в большое кресло, перелистывал страницы своих книг холеными руками, и рядом с ним, положив ему на плечо головку, усаживалась Марфинька, а Вера всегда сидела поодаль, прислушиваясь и не произнося ни слова. Но мы отлично знали, что бабушка — это Россия, и что Волохов, озорной человек, только храбрится, а сам очень страдает, — хотя сейчас мне трудно объяснить, почему нам тогда так казалось. Было странно, что Вера гораздо умнее Райского, со стороны которого было некрасиво бросать ей в окно букет белых цветов. Обрыв был поблизости от деревни Загарья, где в дни моего раннего детства мы живали летом (после смерти отца уже не приходилось), но барской усадьбы я не видал и не знал, — только по книгам, по Тургеневу, по Аксакову и вот теперь по Гончарову. Мысленно я стоял над обрывом и ждал возвращения Веры, чтобы сказать ей, что Волохов ее не любит и ее не стоит, что он просто очень самолюбивый бездельник, и всему его оригинальничанью грош цена. Но вряд ли Вера послушала бы гимназиста! Вообще я Веры побаивался, а на Марфиньку заглядывался, когда она ластилась к бабушке или прыгала козой.

Когда же приходил к нам неистовый Виссарион Белинский, мы слушали его с жадностью, особенно Володя, готовивший себя если не и инженеры, то

в критики. Оценки Белинского казались нам непреложными и окончательными; на его щеках горел чахоточный румянец, и так же горели его слова. Он писал, лежа на диване, и в полуотворенную дверь были видны пришедшие жандармы. Он был человеком безо лжи, судьею, строгим, умевшим восхищаться и готовым обрушиться за малейшую писательскую неправдивость. Мы одолели его том за томом — и это, вероятно, было самым полезным нашим чтением. Наученные им, уже не верили Писареву, человеку холодного ума и злой мысли. И в нем, и Добролюбове, и особенно в Чернышевском чувствовали какой-то отталкивающий душок, это были обиженные люди, не искавшие добра и желавшие непременно уколоть, посмеяться над лучшими. Некоторые их мысли вызывали нас на раздумье, казались смелыми и основательными, но только Белинский внушал нам полную веру и только он сам казался настоящим поэтом. Вероятно, мы и не читали бы Писарева и Добролюбова, если бы одно упоминание их имен не вызывало ужаса на лице нашего гимназического словесника.

Мы читали не только русских классиков и критиков. Вообще мы читали — вдвоем и поодиночке — катастрофически много, пользуясь тем, что гимназические уроки — кроме древних языков — не представляли для нас обоих ни трудности, ни интереса. Я глотал Диккенса, Володя — Виктора Гюго, конечно, — в переводах. Золя, в то время еще модный, нас не захватил, Бальзака мы просто не усвоили. Гёте мы читали вместе, «Фауста» пустили «на голоса», но, кажется, напрасно затратили время. В последний год мы читали Толстого — и все раньше нами прочитанное отошло на задний план. Если Володя еще мог о нем «рассуждать», то я был раз навсегда побежден и поставлен на колени. «Войну и мир» я перечитывал сейчас же, после прочтения нами вслух. То же было с «Анной Карениной». С большим трудом мы раздобыли «Крейцерову сонату», кажется даже в гекто-

графированном списке, так как в городской библиотеке ее не было. Моими любимыми рассказами Толстого были «Альберт» и «Холстомер», и их я знал чуть не наизусть. Толстой не приходил к нам, как другие; он парил где-то над нами, в величавых пространствах, громадный, босой, всеподавляющий. Даже с его героями нельзя было обращаться запросто, как с Обломовым, Райским, Лаврецким, как с Онегиным, Печориным и даже Гамлетом и тенью его отца. Герои Толстого были уже не людьми, а великими образами, и казалось невероятным, что вот через год я буду студентом в Москве и, может быть, пройду мимо дома, где зимой живет Лев Толстой; о том, что я могу увидать и его самого, — никогда не думалось; можно ли встретить Гомера или Шекспира? Я действительно никогда не увидал Толстого — огромный минус в моей жизни, незаполненная пустота, почти преступление, но не вина; я не видал также Байкала, ледяных торосов, устья реки Лены, не видал тигра на свободе, не подымался в стратосферу, вероятно, не увижу больше России. В юности Толстой был для меня величайшим открытием; его творчество и по сей час для меня кажется непостижимым; вижу, как пишет Пушкин, как творит литературный колосс Диккенс, но не могу увидать, как из-под пера Толстого появляется маленькое слово «пожалуйста» Пети Ростова, что нужно для этого сделать, как это почувствовать, на какой бумаге изобразить, кем быть и каким образом после этого обедать, смотреть на людей бровастыми глазами, ссориться, отдыхать на лавочке в Ясной Поляне, а не вознестись попросту на небо и не посмотреть рассеянно на весь писательский мир с ближайшего облака? Впечатления юности остались в дорожном узелке, с которым я обходил мудрецов, — и расстаться с ними я не хочу и не могу. Все-таки совсем без богов жить невозможно, без чудес скучно, без чувств чрезмерных закиснешь в грамматически бесспорной фразе.

Лев Толстой был и остался российским чудом, весь целиком, великий, несчастный, несуразный, каменная глыба, мужик и барин, поэт и корявый проповедник, брюзга и неустанный искатель истины.

До нас не доходили толстовские религиозные писания, и нашей веры он не колебал и не утверждал. Ее утверждала наша изумительная северная природа, ее расшатывала и уничтожала в нас гимназия. Моя мать была верующей женщиной, но верила она по-своему и несколько смущенно — для себя, никому не навязывая своей религии, даже детям; в церкви бывала редко, дома молилась уединенно, скромно выпрашивая у Бога разные нетрудные вещи для детей. Все, что в религиозном культе картинно, красиво и приятно, у нас соблюдалось: рождественские елки, троичные березки, пасхальные куличи, лампадки перед образом в правом углу, вкусные рыбные и грибные блюда в Великий пост. Мы, дети, были верующими, поскольку это традиционно и нетрудно и поскольку не приходило в голову рассуждать. Искореняла религию гимназия, с ее обязательными посещениями церкви, молитвой перед уроками, преподаванием того, что преподаваться не может, и священным ужасом перед вопросами. Церковь была для нас привлекательна тем, что в нее приводили гимназисток; налево ряды наши — направо их. Мы красовались и переглядывались. Особым шиком было прислуживать в церкви, стоять в алтаре, выходить с кружкой и проходить по рядам гимназисток. Из алтаря было удобно подглядывать в щелочку, и мы пользовались разрешением посещать алтарь «для лучшего изучения церковной службы». Именно здесь юношеской вере наносился самый серьезный удар созерцанием закулисного неблаголепия. Шепча молитвы, священник время от времени, вытянув из-под ризы красный клетчатый, очень грязный платок, набивал нос табаком. Дьякон пальцем смазывал себе в рот из чаши остатки причастия, а палец вытирал

где-то в тайниках своей сложной одежды. Постоянно случалось, что священнослужители переругивались, переходя вслед за тем на торжественный тон декламации. Приглядевшись к порядкам в алтаре, мы, со своей стороны, под руководством более опытных, покушались на бутыль с превосходным церковным вином, так как заготовленную «теплоту» обыкновенно также допивал сам дьякон. Но и вообще — трудно было проникнуться лепостью службы, которую отправлял наш законоучитель, человек уже старый, неисправимый пьяница, сизоносый, неотесаный и исключительно глупый; кстати, ему поручалось наше политическое воспитание, и иногда, хитренько нам подмигнув, он говорил в классе: «И еще бывают социалисты; это значит, что все твое — мое, а что мое, так это мы еще посмотрим». Мы его терпели, так как меньше четверки он никому не ставил, а на уроках отвечали ему, без стеснения читая по книжке. Разумеется, из озорства задавали ему вопросы: «Как мог Иона не задохнуться во чреве китовом?» — и он неизменно отвечал: «Ежели Бог захочет, братец мой, так и ты кита проглотишь и не поперхнешься! Для него это — пустяковое дело!» И если некоторые из нас дотаскивали до университета какие-то остатки религиозности, или, может быть, суеверия — то причиной этого была потребность в поэзии, отзвуки детской, семейные традиции и прежде всего — целостность восприятия нашей прекрасной северной природы, полной нерасказуемых и непостижимых тайн. Порывая с ней — порывали и с последними загадками примитивного детского мира, отвергая богатство сказки ради дешевки научной истины. Процесс естественный, законный, правильный, за которым, по мере роста духовной жизни человека, следует или не следует новое «хождение в алтарь» и отвержение нового жречества, но уже без возврата к прежней и наивной вере, в лучшем случае — строительство собственного храма неведомому богу или богам.

Мы поссорились с Володей из-за какого-то маленького житейского вздора. У него был злой язык, у меня — опасная взвинченность нервов. Стычка произошла при свидетелях, и это осложнило положение. Будь на его месте другой, я бы, вероятно, вызвал его на дуэль, — как и случилось у меня с другим гимназическим приятелем: мы дрались за городом на револьвере (был только один), заряженном порохом, но с резиновыми пулями; раненых не было. Но в наших отношениях с Володей полушутовство было неуместно: мы друг друга уважали и считали взрослыми. Было брошено несколько колких и вызывающих слов, сделавших разрыв неизбежным. Время было учебное, встречи ежедневны, но о примирении не могло быть речи. Только что перед этим мы начали читать «Разбойников» Шиллера, и очень хотелось продолжать. Сидя в классе на уроке физики, я видел, что Володя написал и изорвал записку; перед уроком я также написал и изорвал записку. Во время перемены я подошел к нему и, не обращаясь прямо, произнес в пространство: «Не думаю, чтобы личные отношения могли препятствовать культурному общению, впрочем — не знаю». Володя искривил губы презрительной улыбкой и ответил: «В известных вопросах я также выше личных отношении, и если мой ува-жа-емый враг готов, мы можем закончить «Разбойников». Располагаете ли вы временем сегодня вечером?» — «Оставьте при себе уважение, которое я не могу вам ком-пенс-ировать, и в половине седьмого я буду иметь честь посетить ваш дом». — «Гарантирую вам гостеприимный прием», — ответил Володя, и мы повернулись друг к другу спинами. Оба мы испытали немалое удовольствие, что нас слышали товарищи: им не мешает знать, как должны поступать культурные люди. В назначенное время я был у Володи, мы ограничились вежливыми полупоклонами и в один присест, читая по очереди, отмахали «Разбойников» и поспешили начать другую

пьесу. Получилось нечто вроде сказок Шехеразады: «...и на этом месте Шехеразада прервала свой рассказ, так как пришел рассвет... когда же наступила следующая ночь, Шехеразада продолжала: «Известно тебе, повелитель правоверных...». Так продолжалось недели две, пока нас окончательно не примирил ожесточенный «принципиальный» спор, так нас разгорячивший, что на прощанье мы по ошибке обменялись самым дружеским рукопожатьем. А так как на этот раз мы забыли начать новую вещь, то на лестнице, провожая меня, Володя крикнул вдогонку: «Что вы скажете, кстати, о Байроне?» — и я спешно ответил: «Считаю его заслуживающим нашего внимания!» — «Тогда я возьму в библиотеке».

Мы не были начетчиками и, при всем увлечении литературой, не забывали о развлечениях — времени хватало для всего. Нынешняя молодежь отдает много времени спорту, о каком в девяностые годы мы не знали. В летнее время нашим спортом были лодка и прогулки в лес, в зимнее — катанье на коньках; но, конечно, ни гонок, ни призов, ни иного рода соревнований. Еще процветал биллиард, игра, гимназистам воспрещенная; Володя им не увлекался, но с другими приятелями я часами и днями (даже с рекордом двадцати четырех часов непрерывной игры) сражался в маленьком кабачке у Левушки, жадного и очень набожного старичка, жившего доходами с гимназистов. Биллиард был похож на сильно подержанную таратайку, нужно было знать все его уклоны и личные качества, и я гордился тем, что дважды, играя в «пирамидку», взял партию «с кия», не дав удара противнику. Я очень благодарен биллиарду: он спас меня от иных, менее невинных юношеских развлечений, процветавших в затхлой гимназии провинциального города. Но больше всего благодарен лодке, с которой был связан тесной дружбой с детского возраста; река была для меня едва ли не большим, чем семья, чтение и даже мои литературные

опыты, была моим счастьем и моей философией, всем тем, чем для страстного летчика должен быть воздух. Простившись с рекой, я простился не с одной юностью: также и с чистотой и ясностью созерцания, с безошибочностью ответов, с первым ощущением движения как самоцели, с радостным бытием в вечности. Взмах весел — как взмах крыльев, ветер не угонится за дыханьем, все движется, вырастая и умаляясь, между зеленой глубью и голубой высью летит свободная душа, рассекая воду и воздух, и это и есть правда, это и есть творчество, раскрытие тайн вверху и внизу, ясное, всеутверждающее «да», отрицающее землю, в которую так больно врастают ноги. Я не знаю музыки чище и совершеннее журчанья воды у бортов маленькой лодки — на величавой Каме, моей крестной матери. Как жалко, что уже все слова сказаны и написаны все поэмы! И что не скажет нового даже тот поэт, влюбленный в свою стихию, который, бросив весла и встав во весь рост, - просто ввергнется в ее объятья и там, на глубине, всеми легкими вдохнет холодную влагу — ради восторга и смерти.

Приятно иметь право и не иметь боязни впадать в некую восторженность, вспоминая о фетишах своей молодой жизни. Нам это разрешал Белинский и строго воспрещал Писарев; тайно сочувствуя первому, мы побаивались второго. В сущности, ничто с тех пор не переменилось: на страже чувств стоят надзиратели, подымающие белую палочку и дающие свисток, если машина слишком разогналась. Именно на рубеже веков — моя эпоха — появилось обязательство крахмальных воротничков для слишком вертлявой шеи: «Не говори слишком красиво!» Это было, вероятно, необходимо, так как тургеневские «Сенилия», стихотворения в прозе, слишком пополнились подражаниями. Поэты пушкинской эпохи могли бросаться с рыданиями в объятия друг друга, но тогда еще не носили быстро промокающих от дружественных слез жилетов. Мы уже

учились быть сдержанными во имя «художественной меры», т.е. своеобразного ее понимания, позже ставшего требованием нерушимого закона: наступил ледниковый период холодной чеканки стиля, изображения чувств подбором гласных и согласных. Но — чтобы и дальше говорить метафорами — человек, приучавший себя днем к корсету, даже и ночью боится свернуться калачиком. Нужно было много пережить, чтобы опять обрести право восклицать, когда восклицается, и не бояться классных дам от художественной литературы. Законы искусства остались, — если есть у искусства законы, — но чувство освободилось от крахмала. Я говорю это не для оправдания (перед кем?) выпадов собственной несдержанной лирики, а просто — вспоминая бурю и хаос мыслей, в которые ввергла нас читательская страсть; я испытывал это особенно остро, так как рано начал писать и теребить волосы в творческом недуге. С одной стороны — «сталь мысли», с другой — сердечная требуха, и примирить это — ох как трудно! Между моим первым романом написанным и первым напечатанным — расстояние в тридцать лет. Это объясняется, по-видимому, хорошим уроком, мною полученным в юности.

Редактор петербургского журнала, напечатавший мой первый рассказ, отравил мою душу «милостивым государем». Роман был неизбежен, и я писал его со всеми полагающимися надрывами: с вдохновением, разочарованием, отчаянием, — всеми видами мук творчества. Совершенно не помню содержания, но любовь, коварство и неестественная смерть там, конечно, присутствовали. Не думаю, чтобы роман был велик размерами, и не утверждаю, что он был окончен, когда я почувствовал потребность прочитать его вслух бесстрастному критику. Впрочем, я искал, очевидно, не столько беспристрастия, сколько сочувствия, «понимания», и потому избрал слушателем не Володю Ширяева, способного на безжалостный

анализ, а более интимного друга, Андрея, одного из близнецов, партнера по биллиардной части и по женскому вопросу. Андрей был польщен выбором и обещал мне самые искренний отзыв, даже если пришлось бы со мной поссориться,— польщен потому, что я предпочел его «начетчику» Володе. Он обещал мне также хранить тайну, пока, как он был уверен, мой роман не прогремит на весь мир. Мы назначили день, и я обеспечил ему бутылку пива, икряную воблу и баранки — лучшие лакомства для торжественных случаев.

Вечер. Мое место за столом у керосиновой лампы; Андрей пристроился на моей постели, чтобы не мешать мне сосредоточиться, не быть в поле моего зрения; бутылка, стакан и тарелка с нарезанной воблой в его распоряжении — на стуле. Комната хорошо натоплена, за окнами мороз. Рабочий медленно опускает занавес. Просят лиц посторонних не вмешиваться и, если им хочется, слушать издалека, ничем не выдавая своего присутствия. Керосиновые лампы, вырезывая во тьме конус света, уделяли потолку только слабое мерцанье, чтобы там могли кружиться тени — милые существа, навсегда загубленные электричеством. Если в комнате обитала муха, решившая пережить зиму, то она садилась на потолке в центр бледного светового круга, конечно — вверх ногами, но ей это было совершенно безразлично. Тени сгущались к краям круга, упражняясь в неслышном танце, иногда разбегались по углам и попадали там в паутину. Но это только игра, пауки их не трогают. Пушкин, в длинном сюртуке, с тетрадочкой в одной руке, жестикулируя другою, читает стихи другу Дельвигу или Арине Родионовне, которая вяжет чулок. В богатой гостиной ближе к столику, за которым сидит Гоголь, расставлены кресла, мягкие стулья и пуфы для дам, дальше — приглашенные, все — избранные люди, состоящие при литературе, и хозяин знает, что его

вечер, некоторым образом, исторический, — Гоголь в ударе, читает прекрасно, и его пробор расчесан аккуратно. «Ты понимаешь, тут многое еще не отделано, и я сам не уверен...» У Андрея крепкие белые зубы, и он так вкусно чавкает воблу, что слышно, как похрустывают перекусываемые ребрышки; значит, икру он уже доел — плотную, красную, с желтоватой оторочкой жира. Буль-буль-буль из бутылки. «Я не позволю, — крикнул он, ударив кулаком по столу, — я не позволю, чтобы моя дочь, нежное, невинное существо, стала женой развращенного человека!» Мать сидит через комнату от нас и, вероятно, раскладывает пасьянс; она привыкла к тому, что у меня поздно, иногда заполночь слышится чтенье вслух, ей нравится, что мы такие умные, развиваемся,— скоро и в университет. «Петр схватил ее за руку и хотел привлечь к себе, но холодный взгляд молодой девушки сразу его отрезвил, и он разжал пальцы, услыхав спокойно произнесенное слово: «Никогда!» Андрей перестал чавкать и поставил на стул стакан. Разве они, люди быта и маленьких делишек, — разве могут они знать, что испытывает художник, когда в уже совсем готовой картине ему не удается последний мазок кисти, заключительная точка, которая вдруг оживит и осветит все — и тогда на полотне заиграет жизнь, и оно оторвется от мольберта и улетит ввысь, в мир недосягаемый, лишь ему одному доступный! Вот тут — я сам чувствую — тут не то чтобы фальшь, а какое-то напрасное подчеркиванье, слишком парадное слово, уже не перечувствованная правда, а желанье понравиться читателю, и если взглянуть ему в глаза, то увидишь его недоверчивую усмешку. «Заломив руки, как птица, готовая улететь, Ольга вытянулась всем телом...». Господи, какие же у птицы руки! И она уже дважды вытягивалась на протяжение одной страницы. Хоть бы Андрей крикнул или чем-нибудь выразил... Однако он перестал

пить и есть как раз на самом сильном месте, стоившем мне больших волнений и переживаний. Я приближаюсь к сцене, при перечитывании которой не всегда сам мог сдержать слезу, и я боюсь, что мой голос в этом месте сорвется, — автор должен быть бесстрастен. Огромный зал замер, каждое слово чтеца звучит, как чеканное золото; его голос сух и отчетлив, как удары молотка, и когда Ольга, застигнутая лесным пожаром, в пылающей одежде, споткнулась о ствол павшего дерева, — голос чтеца не дрогнул, но по рядам слушателей прокатилась волна вздохов — и в дальних рядах послышалось сдержанное, глухое рыдание. Захлопнув тетрадь, молодой автор встал и, небрежно поклонившись, стал спускаться с эстрады. И лишь когда он взялся за ручку двери, ведшей в комнату артистов, в зале раздались бешеные рукоплескания, постепенно перешедшие в ровное посапыванье. Возможно, что Дельвиг посапывал и раньше, но поэт услыхал это, лишь закончив чтение лучшего, что он написал. Шатаясь от усталости и пережитого, он подошел почти вплотную к низвергавшемуся со скалы водопаду и подставил свою разгоряченную голову. Это его отрезвило, и он, не взглянув на спавшего Дельвига, прошел в комнаты Арины Родионовны. «Ушел твой приятель? — спросила она и, взглянув на меня поверх очков, которые она теперь надевала при работе, сразу поняла, что ее большой мальчик чем-то огорчен. — Уж не поссорились ли вы?» — «Нет, мама, Андрей еще здесь, он, кажется, заснул». — «Ну вот, зачем же вы так утомляетесь!» Маленьким пресс-папье, почкой уральского малахита, она разбила кедровый орех и положила в рот зернышко. Это всегда было ее любимым лакомством. «Постой, а как же он спит? Нужно бы постлать ему на диване в столовой, я сейчас дам простынь». — «Он не останется ночевать, и ты вообще не беспокойся». Автор «Мертвых душ» склонился над

рукописью второй части. Развернув ее, он прочитал несколько строчек, затем схватился за голову и стал раскачиваться с мучительным стоном. В печке был еще огонь. Он открыл вьюшку, и угли в печке сбросили пепел и приветливо засветились. Не оглядываясь на стол, он протянул руку, взял рукопись и бросил ее на угли. От жара заворотились первые страницы, затем вся рукопись вспыхнула сразу веселым огоньком. Свет ударил в лицо спавшему, и Андрей, сладко потянувшись, сказал: «Ну, как, кончил? А здорово, знаешь, написано! Ты не думай, я все слышал. Не хуже Лажечникова, ей-богу!»

Описать в романе клокочущую страсть — это ведь совсем нетрудно! Есть столько превосходных литературных образцов, столько приемов, столько прилагательных! Картины падения в то время заменялись двумя строками точек, а подробно описывались только нравственные страдания. К своему стыду и счастью, должен признаться, что мои собственные понятия о падении были чрезвычайно туманны. Теоретически технику падения я, конечно, знал — среди нас были «падшие», — но никак не мог совместить ее с чувством любви, которое должно быть трепетным и высоким. Тут была неувязка... На любовь бросалась некая тень: очевидно, любовь не очень приличное чувство, и признаваться в нем не следует. В восемнадцать лет я был уже много раз влюблен, но, черт возьми, поцелуи мне не были ведомы. Мне кажется, что один раз я поцеловал руку Катеньке, хотя боюсь, что я только задел ее нечаянно, даже не губами, а щекой. Впрочем, я держался так, как будто все это мне не только известно, но и порядочно прискучило. Из-за Катеньки я и дрался на дуэли — из-за гадких слов о ней и обо мне. Когда мне было девять лет, моя старшая сестра — на восемь лет меня старше — выходила замуж. Я был очарован ее женихом, казавшимся мне идеалом муж-

чины. Однажды вечером, когда меня уже уложили спать, хотя у нас были гости, в мою комнату, освещенную лампадкой, тихо вошли сестра и ее жених; вероятно, им хотелось остаться вдвоем. Они сели на стулья против моей кровати и стали шептаться, боясь меня разбудить. Но я проснулся и смотрел на них с интересом. Вдруг жених быстро обнял сестру и хотел ее поцеловать; она ловко увернулась и погрозила ему пальцем, а у него, как мне показалось, отвисла губа и лицо стало противным; жениху сестры было уже за тридцать, ей семнадцать. Потом они ушли, хотя он пытался еще задержать сестру в полумраке моей комнаты. С этого вечера я перестал его боготворить и уклонялся его шуток и ласок. В любви есть что-то стыдное. И, действительно, над влюбленными смеялись, и они краснели. Объектом постоянных насмешек гимназистов был наш учитель немецкого языка Шмидт, или Фукс, или еще как-нибудь, который был безнадежно влюблен в пухлую немочку, дочь учителя женской гимназии. Он был так влюблен, этот рижский немчик с тараканьими усами, что плакал, читая нам вслух стихи Шиллера и Гейне, и вытирал глаза платком, надушенным немецкой гадостью. И случилось, что я стал его соперником — совершенно помимо своей воли; на гимназическом балу я танцевал с его любовью, и она не заметила его почтительного поклона. Он не только приревновал меня, но и искал случая меня оскорбить и унизить. Случай подвернулся легко, так как я терпеть не мог и отвратительно знал немецкий язык. Он стал ко мне придираться: вызывая всякий урок, передразнивая мое произношение, и однажды, распылавшись, велел мне выйти к классной доске и стоять около нее до конца урока. Это было настоящим оскорблением, потому что меня никогда никто не наказывал даже в младших классах; одна такая попытка кончилась моим нервным припадком. Но поставить к доске восьми-

классника — это вообще было дерзостью. Я побелел и холодным голосом Ольги из своего уничтоженного романа сказал: «Я вызываю вас на дуэль и убью, как таракана!» Затем я медленными шагами вышел из класса и ушел домой. Из этой истории победителем неожиданно вышел я. Немец заявил директору, что честь заставляет его принять мой вызов на дуэль. Директор схватился за голову, вызвал меня и, догадавшись о моем настроении, торжественно мне обещал, что Фукс оставит меня в покое и будет спрашивать у меня урок только один раз в четверть и в тот день, когда я подам ему знак, «приветливо кивнув головой». Такое пристрастное решение было вынесено, очевидно, потому, что я, считая свои корабли все равно сгоревшими, подтвердил директору свое намерение убить в честном бою немецкого учителя. Условие было соблюдено, и в первый выбранный мною день я отбарабанил Фуксу вызубренную наизусть «Перчатку» Шиллера, — мы, черт возьми, знали, что такое рыцарство! А он таки женился на своей немочке — в конце концов, симпатичный и невиннейший таракан! Уже студентом я был на его свадьбе, мы выпили брудершафт и пели гортанными голосами охотничью немецкую песню про старый лес.

Меня отвлекают эти сценки, — но, может быть, они лучше рассуждений поведают о жизни чувств, о том, как слагаются в душе юноши представления о самом серьезном в нашей жизни — о любви к женщине, о любви вообще. Могу ли я удержаться от скромного образа любви материнской — постоянная забота издали, чтобы не стеснить юноши, которому хочется казаться взрослым; скрыванье бедности под белоснежно-чистой скатертью; неназойливая чуткость робких советов, как будто случайных, но всегда вовремя и кстати. Надломенная личным горем, — потому что она не может забыть того, что для нас, молодых, быстро тушуется интересами жизни, — для семьи держится прямо, блюдет достоин-

ство, твердо надеясь, что вот и оставшиеся при ней дети выйдут в люди, и тогда она замкнется в мир воспоминаний, тихо старея и готовясь отбыть для встречи с человекам, любовь которого определила ее жизнь. Когда умер мой отец, мать была — или казалась — еще совсем молодой, без единой морщинки, единого седого волоса, хотя уже была бабушкой. Такою же продержалась еще десять лет, несмотря на много горя, доставленного ей детьми, о чем не рассказывается. С утра в корсете, упрямая институтка, всегда одетая с изящной простотой, приветливая с гостем и прислугой, строгая и важная в отношениях с людьми, перед которыми другие заискивали, она ни перед кем не призналась бы, что ее сердце источено горем и что она безмерно устала жить. Такою она осталась и одна, когда я, последний из детей, уехал в Москву; приезжая на каникулы, я находил ее такой же выдержанной, готовой интересоваться всем, что занимает ее детей, читавшей столичные газеты и журналы и, по старой привычке, ежедневно занимавшейся четырьмя иностранными языками: французским, немецким, английским и польским, — знания которых она не имела случая применять на практике в провинциальном городе. Она состарилась в один год, даже в одну зиму — и умерла в тревожном пятом году, узнав, что я в тюрьме и мне угрожает казнь. Она уже была больна, и для меня нет полной причинной связи двух событий; но сыну, понявшему материнскую любовь, не поставят в вину того, что он в своей памяти рядом с этой любовью записал и чувство непримиримости к тем, кто, как собственностью, швыряется человеческими жизнями. Непримиримости навсегда, до сего дня, до смерти.

Я много раз замечал, что о наиболее отдаленном, о детстве, вспоминается с полной ясностью, какой годы юности не дают. Тот простой мир зарисовался домиком, елочкой, игрушкой, зайцем, у которого

одно ухо опущено, горем, сверкнувшим молнией, — и опять небо ясно и мир улыбается — маленькой, любимой, единственной книгой, шуткой отца, первой выпиленной рамкой из крышки сигарного ящика — вообще всем тем, что отчетливо своей первостью и дальше уже неповторимо в такой же радости. Мы часто шутя говорим детским языком — и никогда не подражаем ломающемуся голосу юноши. Помнятся сказки — и не помнится пора их крушенья. Рисунок путается и теряет чистоту красок. Дым из трубы уже не вьется штопором, у собаки хвост не загнут колечком, у первого портрета нет египетского глаза и турецкой брови, негнущаяся рука не растопыривает кисточкой длинные прямые пальцы. Образы юноши хотят быть возможно реальнее в своем шаблоне, и в них перспектива уже убивает прекрасный иероглиф изображений. Детский карман наполнен первичными ценностями личного значения: найденной пуговицей, закушенным яблоком, бабкой, мелом, огрызком карандаша, свистулькой, самостоятельно вырезанной из вишневой ветки; но юноша уже несет чемодан или швейцарский мешок с набором усвоенных истин, алфавитом склонностей, коллекцией дешевых парадоксов. Ему подобает быть немножко циником, забегать вперед в отрицаниях, прислушиваться к росту волосков на верхней губе, мечтать о пенсне и тросточке, символах взрослости. Моя ранняя молодость протекала в сравнительно счастливое время, когда не было кинематографов и площадок для отбивания головой кожаного шара, не было даже велосипедов; недотяпанность и простота провинции была, по крайней мере, цельной и не опошлялась мировым экраном, газеты не заманивали авантюрным подвалом. Не избалованные выбором, мы читали лучшее, что было в русской литературе, потому что оно раньше и проще всего попадало в наши руки. Но что давало нам увлечение литературой? Искусственные образы, прикрашенное словесными узо-

рами изображение идей и чувств. Мы любили по Пушкину и страдали по Достоевскому, выписывая закругленную фразу там, где естественен только крик радости или горя, привыкая к прописям раньше, чем в нас слагался собственный язык для выраженья нами открытых чувств. Может быть, это вообще неизбежно в культурных общественных рядах, где кустарник и деревья непременно стригутся под гребенку — и сад предпочитается лесу. Но я всетаки жалею, что гимназия, город, литература отвлекли меня от природы, которая в ранние детские годы, особенно в летнее время, заполняла мой мир целиком; жалею и о том, что мало знал окраинные улицы, быт бедняков, желтый дымок спичечных фабрик, которых было несколько в наших окрестностях, и только раз побывал на пушечном заводе, где директором был отец моего одноклассника. Не знаю, ясно ли я выражаю свою мысль: мы несравненно лучше знали жизнь по романам, чем по личным с нею встречам. Вероятно, потому образы моей юности так бледны и так охотно забылись, и иногда мне кажется, что прямо из ребячества я попал в университет. И потому я упрямо миную гимназический быт, о котором другие рассказывают так красочно и так хорошо. В моей памяти отчетливо сохранилась только одна картина — не столько в фактах, сколько в отголоске пережитых ощущений, и это — картина какого-то странного патологического массового взрыва, безрассудного бунтарства, вероятно, вызванного припадком безнадежной скуки и жажды чего угодно, но только нового, хотя бы катастрофы.

Могла быть латынь, воображаемая прелесть «Георгик» Виргилия, или могло быть то, что у нас называлось физикой, — зубрежка формул без ясности смысла, без опытов, без общего понятия о месте этой науки в неуклюжей и закоптелой храмине наших познаний, тягучий и трудный вздор, безграмотно изложенный усталым пьянчужкой и повторенный нами.

Могла быть всеобщая история, в которой что-нибудь восклицали проглотившие шпагу императоры, и не было ни народов, ни страстей, ни революций, ни движения вперед, только листанье страниц с отметкой крестиком да мельканье годов и имен. Могла быть даже словесность, в которой прасол Кольцов был так же велик, как вчера был Крылов и завтра будет Гоголь, тоже родившийся в таком-то году и уже в раннем детстве почувствовавший свое призвание, а потом начавший творить писаные чудеса. Во всяком случае, был еще один нудный гимназический день в комнате со спертым воздухом и запахом крысы в испачканном мелом вицмундире. Могло быть все, кроме молодости и живых интересов, кроме правды, понимания и хоть сколько-нибудь живого слова. Потом был получасовой перерыв — принесенные из дому завтраки и продажа в коридоре мясных двухкопеечных пирожков. Так было с первого класса — и мы дотягивали восьмой.

В перерыве между уроками один из нас, — это мог быть и я, мог быть не я, мог быть здоровый, больной, каторжник, герой, идиот, умница — безразлично, — один из нас, руки в карманах, не зная что делать: запеть, запить, плюнуть, утопиться — подошел к черной классной доске, орудию пытки и экрану бессмыслицы, и ударом каблука отшиб нижний колышек, на котором гильотина держалась в своей рамке. За минуту до этого ни у него, ни у всех остальных не было в мыслях разбивать плотину нашей мутной реки и взрывать тюремные стены. На треск повернулись головы, всколыхнулась дремота, и молча, как по уговору, все стали бить ногами черную доску. Она оказалась белой внутри, и она была разбита не на куски, а в малые щепы. Кто-то, на чью долю не выпало отвести душу сильным ударом, красный от натуги, выламывал железную дверцу изразцовой печки, другому силачу удалось отковырнуть кирпич, — и голыми руками, спеша и ломая

ногти, мы в несколько минут разнесли печь, разбили и сорвали с петель стеклянную дверь, столик, кафедру и принялись ломать ученические парты. На грохот сбежалась вся гимназии, и мальчики восторженно и понимающе смотрели на разрушение, которое уже не могло остановиться — Бастилия должна была пасть. Похмельные и ошалелые, в разорванных блузах и с исцарапанными в кровь руками, мы вышли в длинный коридор, очищенный классными наставниками, которые также все попрятались. Даже в швейцарской не было сторожа, и мы, одевшись, разбрелись по домам, не обсуждая и не оценивая, что и почему произошло. Но мы и сами ничего не понимали. Я помню только одно, — что на другой день я пошел в гимназию и что там были в сборе почти все мои одноклассники — притихшие, но спокойные. Мы могли ждать любой кары, но почему-то у всех была уверенность, что в этом положении и у нас, и у нашего начальства выход один — притвориться, что ничего не произошло. Разрушенная классная комната была заперта; для нас, восьмиклассников, был отведен физический кабинет. Уроков не было — никто из учителей к нам не вошел. Малыши смотрели на нас, как на героев, в шинельной сторож помогал снимать пальто, чего никогда не делал, попавший мне навстречу в коридоре классный надзиратель первым вежливо поклонился. В конце первого часа, бывшего для нас свободным, вошел к нам инспектор гимназии, единственный человек, которого мы уважали, умный, пожилой человек, хотя мрачный запойный пьяница. Видимо, он не приготовил речи и не знал, с чего начать. Помявшись, он угрюмо пробормотал, что сегодня занятий не будет, но хорошо бы с завтрашнего дни спокойно приступить к урокам, потому что не за горами и выпускные экзамены. Уже двинувшись к выходу, он прибавил: «Что случилось — то случилось, и уж лучше, и для вас и для нас, об этом не болтать». Мне показалось, что у него

дрогнула скула, и все мы были смущены. Наш бунт, больной, бессмысленный, ни против кого лично не направленный, был замолчан и забыт. О нем, конечно, говорили в городе, но в «округе» или не узнала, или не захотели знать — класс был на выпуске, и скандал был бы чрезмерным.

Мне странно вспомнить, что только эта страничка гимназических воспоминаний осталась в моей памяти как событие значительное и — я бы сказал — светлое: гроза, очистившая воздух. Не будь ее — мы вышли бы из стен «казенного заведения» угрюмыми и мстительными юношами, не способными на прощение; сейчас я готов допустить, что не все и не всегда в нем было отвратительно и что какую-то крупицу признательности я все же могу к нему чувствовать, хотя бы за то, что оно научило меня не делать ошибок в словах с более не нужной буквой «Ѣ» и катать наизусть «Слово о полку Игореве». В частности, я сохранил уважение к угрюмому, давно-давно покойному инспектору нашей гимназии.

На нижней поверхности древесного листа — белое пятнышко, ряд вскрывшихся восковых пузырьков, в каждом крохотный жучок. Иногда этот выволок расползается, но при первой тревоге все сбегаются в кучу и прячутся по своим ячейкам. Таков же выводок паучков, рыбок, похожих на прозрачные стрелки, цыплят — на золотые шарики. Приходит какой-то момент, кучка разбредается, и один не хочет больше знать другого. Однажды мы выпускали в лес ежат одного помета, живших у нас в комнате и спавших вместе в тулье старой шляпы, наполненной сеном. Уже подросшие ежики немедленно разбрелись по зарослям вереска и можжевельника в разные стороны, даже не попрощавшись; хотелось им крикнуть: «Слушайте, ведь вы можете больше никогда не встретиться! А встретитесь — не узнаете друг друга, братья сестер и сестры братьев!» Приходит день, и юноши, восемь лет просидев-

шие рядами в одной душной комнате, зубрившие одну и ту же нелепость, разбившие в щепы и мусор и эту комнату, и эту нелепость, быстро разбегаются по свету и теряют друг друга из виду. После, уже случайно, сталкиваются в потоке жизни отдельные щепочки и делятся впечатлениями.

Андрей и Митя оба стали врачами. Толстый, лысый, обрюзгший, протухший карболкой лаборант говорил мне: «Да так, ничего особенного, живу; одно могу тебе посоветовать, если еще не поздно: не женись, брат, не стоит!» Случайно на ученом диспуте совсем не по моей части подходит близорукий и добродушный человек, профессор геологии, и спрашивает: «А не из одного ли мы с нами города?» — «Мне ваше лицо как будто тоже знакомо!» — «Ну, седина меняет человека, а вот классную доску мы, пожалуй, разбивали вместе». — «Очень, очень рад встретиться, — говорит крупный человек с отличным брюшком, — да вот, как видите, учу сограждан уважать законы страны. А как вы?» С трудом припоминаю, что это — Петька, отчетливый лентяй и болван, кое-как дотянувший курс. В журналах стихи и проза за подписью знакомой фамилии, не часто встречающейся. Но неужели это тот самый, мой сверстник и одноклассник? Если бы я хотел предсказать его судьбу, я отвел бы ему теплое место в акцизном управлении или пустил его по учительской части в дальнем губернском городе, женил бы его на доходном доме, но искусство... Я вчитываюсь в его творчество, захлопываю книжку журнала и отвечаю: да, это он!

Три-пять встретившихся еще раз в жизни имен — из нескольких десятков. С одним мы не расстались и в студенчестве, делили комнату на Бронной, делились и обеденными купонами студенческой столовой. Однажды мы пошли на сходку в старое здание университета. Я выдержал час — но больше не мог: у меня был приступ разочарования в защите чести

студенческого мундира. Я вышел во двор и увидал, что проход на Моховую загорожен полицейским нарядом. Тогда я прошел узким подземным коридором в переулок и услыхал, как за мной забивают дверь. На Никитской мне встретились казаки. Все это происходило ежедневно и уже наскучило. Очевидно, нас арестуют и вышлют, как в позапрошлом году. Я собрал вещи в чемоданчик и уехал к сестре, оставив сожителю записку. Но он не получил ее: прямо из круглой залы университета он попал на сибирский этап и умер, не доехав до места ссылки. Он был слабого здоровья, сутуловат, близорук, никому не страшен, но верен своим взглядам. Без событий — жизнь его вычеркнула.

Я, конечно, очень забежал вперед в своих воспоминаниях о юности. Пропущены самые обязательные страницы, и я попытаюсь восстановить их в обязательном тоне. От пристани отходит пароход, и мать машет мокрым от слез платочком. Студенческая фуражка была куплена еще весной, и голубой околыш успел слегка выцвести. Граница юности и молодости, но еще искусственная: уезжает мальчик, которому очень хочется казаться взрослым. За обедом в пароходной рубке я велел подать большую рюмку водки (рыбная солянка, стерлядь кольчиком!). Едет в столицу бывалый студент. На мне серый летний пиджачок — форму хочется заказать в столице. Несколько интересных девиц — с маменьками и одиночек. Три дня парохода — истинное блаженство. Появляется соперник: высокий, красивый студент с кудрявой бородкой; впрочем, не выше меня ростом, но все-таки — с бородкой! Меня утешает то, что он держится не бойко и, видимо, хотел бы со мной познакомиться. Когда я выпиваю свою рюмку — она лишь вторая или третья в моей жизни, — он краснеет и заказывает пароходному лакею такую же. Это меня бодрит, — а может быть, бодрит рюмка, — и я бросаю со столика на столик: «Вы в Каззань, коллега?» —

«Коллега» — это такое слово, такое слово, что его красоты и силы и пояснить нельзя! Чтобы произнести его впервые, нужна смелость и некоторая привычка к актерству; я приобрел ее, читая вслух Шекспира. Нет, он едет в Москву, а пока подсаживается к моему столику, и мы спрашиваем еще по рюмке. Хотя камская вода спокойна, как зеркало, но пароход начинает покачивать. Да, он москвич, юрист, третьекурсник; то есть он перешел на третий курс. А вы казанский? Нет, я тоже еду в Москву и тоже юрист: по правде сказать, я только что поступил в университет. Я не понимаю, почему он смущен, но нам, по всяком случае, весело. Мы выходим на палубу. У него новенькая фуражка, и он завидует моей, выцветшей и уже слежавшейся на голове. На пароходе мы, конечно, интереснее всех, и при нашем проходе девицы делают равнодушные лица. Впереди три вечера. Дело в том, что жизнь, в общем, занятная штука. Воздух возбуждает аппетит, и за ужином мы опять выпиваем по две рюмки, а после пьем пиво. Тут оказывается, что его имя Борис, что у него в Москве есть сестра в консерватории, прямо сказать — очень хорошенькая, «она вам живо вскружит голову». И уж если говорить по чистой совести, то он не третьекурсник, а тоже только поступил в университет, «но, знаете, коллега, только не смейтесь, — у вас старая фуражка, и я боялся оказаться молокососом, к тому же думал, что вы едете в Казань». Мы радостно смеемся и говорим так громко, что все улыбаются и тоже радуются за нас. Ох, уж эти студенты — лихой народ! У Бориса отличный баритон, на пароходе пианино, и новая фуражка побеждает выцветшую. Но дело в том, что одна из девиц необыкновенно прилежно читает. У меня нет голоса, но отличный слух, и я напеваю: «Бесспорно, чтение дает нам бездну пищи для ума и сердца, — но не всегда ж читать возможно!» Она силится не слышать, но кон-

чается тем, что бегущие мимо берега внимают нашей беседе о литературе, — и уж тут побеждает фуражка отцветшей голубизны. В Пьяном Бору превосходные раки. В Казани мы теряем общество девиц, но приобретаем новые знакомства. В Нижнем Новгороде пароходные удобства сменяются третьим классом поезда, и стук колес не мешает нам перекликаться, сделав из верхних полок мягкие ложа, так как с нами едут для будущей жизни одеяла и подушки, — и московский вокзал выталкивает нас, благоговеющих, на Садовое кольцо. Да здравствует молодость! Да здравствует преддверие н а с т о я щ е й жизни! Я всматриваюсь в темноту пройденного длинного коридора и в далекой его перспективе вижу мелькнувший свет, заслоненный фигурами юношей, смело распахнувших дверь и бегущих сюда: но им не удается сохранить на всем пути бодрую походку. Мне хочется подождать, пока они подойдут и пройдут мимо стариками, — и низко поклониться своим воспоминаниям.

Юноша крутит над своей головой веревку с привязанным камнем. Снаряд вырывается и летит по кажущейся прямой. Юноша слишком размахнулся, и камень летит над деревьями, вершинами гор, минуя границы, отклоняемый ветрами и вихрями, сшибаясь с препятствиями, теряя силу. Мы вступаем в область географии, которая так плохо преподавалась, но со временем поддалась практическому изучению. Я изучал прибои и приливы разных морей и ломал язык для чужих гласных и согласных. В жизни взрослой и сознательной вкусил больше от Запада, чем от родины, и для приветствий и проклятий завел особую тетрадку — много тетрадей — не для чужих глаз и не для печати. Там люди, идеи и события наколоты на длинные булавки, крылышки расправлены, все пересыпано нафталином. Бабочки, мушки, осы, стрекозы и его благородие жук-усач. Там великие люди из энциклопедического словаря ходят в спальных туфлях и неизящно сморкают носы. Там идеи играют

в свайку и топчутся на одном месте, и из пустого в порожнее переливаются и пересыпаются явления со звонкими заголовками. Когда же камень, обернувшись бумерангом, ударился о петербургскую мостовую, у моей двери остановилась странного типа походная коляска с солдатом за кучера, и усатый офицер-фронтовик уверил меня, что он не кто иной, как Володя Ширяев, с которым мы прочитали все, что написали для нас человеческие гении. Он был в отпуске с фронта и, узнав о моем возвращении в Россию, поспешил возобновить гимназическое знакомство. Мы отправились на Острова, где в большом ночном ресторане подавали только квас и лимонад, и, однако, посетители были пьяны больше, чем в мирное время. Мы рассматривали друг друга, кожу, волосы, улыбки, искали знакомых звуков в голосе и говорили обо всем, кроме войны: о черепе бедного Йорика, о Великом Инквизиторе, о княжне Мэри и Марфиньке, о разбросанных по вселенной чертовых куличках и надеждах тридцатипятилетнего возраста. «Помните нашу знаменитую ссору, — сказал Володя, — согласитесь, что это было очаровательно!» Я помнил ссору и помнил взрыв, уничтоживший классную комнату; этот взрыв повторился спустя год — мы этого еще не знали, но уже могли предполагать. «Через три дня кончается мой отпуск, — сказал Володя без всякой горечи, — я очень рад, что нам удалось встретиться». Я не знаю, был ли он убит. Но он был талантлив, и невозможно, чтобы о нем, живом, я никогда более не слышал.

Контролер с удивлением вертит в руках мой билет, на нем помечена начальная станция, но не указана конечная: «Куда же вы, собственно, едете?» Я должен бы пояснить ему мое первое открытие: цель жизни есть сама жизнь, и я не умею эту жизнь резать на аккуратные кусочки. Грудные дети часто бывают похожи на старцев, старики падки на юношеские шалости. Однажды у меня встретились за

обедом молодой поэт и старый общественный деятель; разница в годах — свыше сорока лет. Я не сомневаюсь, что в борьбе на поясах или в успехе у женщин победил бы молодой. Но в оптимизме и в приятии жизни они менялись годами: мысли молодого отдавали шампиньоном, старик просился в петличку летнего пиджака. Первый горделиво нес бремя общественной благотворительности, второй терпеливо ее организовывал, живя своим трудом. Это было лет пять тому назад; с душевным холодом за одного, с радостью за другого прибавляю, что старик пережил поэта, погибшего бесславно. И я говорю огорошенному контролеру: «Если поезд не сойдет с рельс раньше, я еду до станции Утомление, не предугадывая ее официального названия». Мы же условились, что жизнь не делится на отчетливые возрастные кусочки. Я только что снял свою первую студенческую комнату в Москве — конечно, на Бронной, и шел с бутылкой купить керосину для лампы. У дверей пивнушки меня остановил студент без фуражки, со всклокоченной бородой, свирепым видом и добрыми глазами: «Почему ты идешь мимо, рыжая бестолочь?» Собственно рыжим был он, а никак не я, но я почувствовал прилив восторга и гордости. Он вырвал у меня бутылку, которую мне одолжила хозяйка, понюхал и сказал: «О юность, иди своей дорогой, но помни, что все пути ведут в Рим»; затем повернулся и с бутылкой ушел в Рим. Мне очень хотелось последовать за ним в приглядный кабачок, но я не решился. На цыпочках, высоко держа голову, я трижды прошел по Тверскому бульвару, от Пушкина до столовой Троицкой, — и мир был светел и полон надежд. Не эти ли минуты считать священным отплытием от берега юности в океан молодых переживаний? Еще в круглом зале профессор Чупров не произнес своего бархатного «Милостивые государи!», еще не блестел полировкой под низкой лампочкой стол в Румянцевской библиотеке, еще Манеж на Моховом

не говорил о пределах студенческой свободы. Новенькие фуражки, встречаясь на улице, отводили глаза, но сердца сияли приязнью — начало соборности. Мои руки вытягиваются и обнимают ряд зданий — и двор с нелепой куклой Ломоносова, и холод колонн университета в Риме, и Сорбонну, катящуюся по скату улицы Сен-Жак! С влажными складками крыльев бабочка высвобождается из кокона, — и предстоящий ей мир не меньше нашего; я хотел бы огромным карандашом зачеркнуть много строчек, страниц и книг и в прошлом и в настоящем, оставив вне скобок только минуту ее первого вылета. Чистый звук струны, без развитого мотива, без дирижерской палочки, бесспорность неуловимого разумом и не отравленного стерегущим сомненьем. В булочной Филиппова на Тверской пирожок стоил пять копеек, счастье бесплатно. В окнах книжного магазина ответы на все улыбались синими, серыми и желтыми обложками, московский ванька обожал свою лошадь и уважал седока, река деловито бежала под стенами Кремля, и у мостов ее вода, натыкаясь на камни быков, напоминала морщинками лапки у серых смеющихся глаз. И тут живут, и за рекой живут, как живет и вздымается в дыхании грудь всей земли, заселенной мудрецами и рыжей бестолочью. Потом — но только потом — эти камни, окна, книги, мосты, серые глаза, дышащие груди, бегущие через поля столбы, подводные лодки, лачуги и вавилонские башни, крохи познаний и бездны невежества, биржи самолюбия, подвиги и все слова, предметы и понятия взорвутся, сольются в клокочущую кашу из металла и тел, испепелят веру, изнасилуют любовь, и волосатая рука покажет наивной вековой мудрости огромный кукиш с загнутым желтым ногтем, — но это потом, в темном холоде будущего, которое юноша приветствовал голубым околышем фуражки, — и был прав, не угашая слишком рано надежды, без которой жить нельзя. Когда обратно по бульвару я шел

домой, забыв, что керосин не куплен, сидевшая на лавочке женщина с приветливой хриплостью голоса бросила мне: «Коллега, дай папироску!» Неся свой восторг, я прибавил шагу и, поднявшись на воздух, плавным поворотом влетел в устье Латинского квартала.

Рано утром я стучу в дверь комнаты и бужу юношу, доставленного мною на станцию Молодость. «Не позабудьте, — говорю я ему, — что сегодня ваша первая лекция и вы делаетесь «милостивым государем». Его глаза сияют. Я пожимаю ему руку, желаю быть кузнецом своего счастья, и, спускаясь с лестницы, вижу котенка, играющего клубком. Клубок разматывается, и настоящее уходит в прошлое. Моя задача выполнена, мне некуда больше спешить, и я возвращаюсь в это прошлое, шагая по шпалам железнодорожного пути. На слиянии двух рек, Волги и Оки, меня задерживает раздумье и излишек досуга. Водная поверхность покрывается салом, прибрежье белеет — и по льду, лениво вытянувшись, располагается санный путь. Тогда я меняю маршрут и иду на Самару и Уфу. На станциях продают кустарные изделия из чугуна, слюды и каменной соли: рядом чертик и Евангелие. Наполнив ими дорожный мешок, я палкой помогаю себе взобраться на отрог Урала — хотя и на ровном месте уж не обхожусь без легкого посоха. Какие-то воспоминания связаны с Челябинском, — кажется, здесь мы немножко скандалили, отправляясь я первую ссылку. На горном перевале столб: «Европа — Азия». В Екатеринбурге с детской страстью я любуюсь переливчатыми камушками, горками горного хрусталя и почками малахита. Черные прожилки на темной зелени пробуждают непонятное беспокойство, и мне хочется скорее добраться до еще более знакомых мест. Обратный столб «Азия — Европа», потому что раньше был только этот кружный путь из Москвы на родину, и он был прекрасен. Запушенные снегом бесконечные лесистые кряжи, нетронутая природа, чистый воздух орлиных

гнезд. Путь к камским берегам ведет по понижающимся отрогам, тропинками, протоптанными арестантской беглой шпаной. Поздним вечером я разыскиваю деревянный дом и вижу в окне свет знакомой лампы. Дверь не заперта, но я не сразу решаюсь войти; за дверью слышен как бы удар молоточком: женская рука разбивает кедровый орешек осколком малахита. Котенок играет клубком, уже размотанным почти до конца, и его лапы путаются в нитках. Я захожу лишь на минуту — передать привет от нового милостивого государя, который очень прилежно слушает лекции. Глаза женщины отрываются от пасьянса, но я уже снова на большой дороге, ведущей из города мимо кладбища в глубь леса. Привет черепу бедного Йорика! Детьми мы делали из деревянных рогаток и каучуковых трубок отличное орудие, которым разбивали чашечки телеграфных столбов на сибирском тракте, — не зная, что это называется преступлением.

Поворот к деревне мне знаком, как прежде: березовая опушка и глубокая колея в сторону на четвертой версте. Совсем внезапно пришла весна, над полями уже голосят жаворонки. Воз, нагруженный всякой домашней утварью, увенчан самоваром в руках моей нянюшки, мы с тою же медлительностью следуем на извозчике. Первый визит на косогор с клубникой — с него спуск к речке. Отец носил летом костюм из чесучи и широкополую соломенную шляпу. У меня за плечами мешок с приборами: коробки для растений, совочек для их выкапыванья с корнем, еще разная разность высокого назначения. Иногда брали заступ, — когда шли открывать родники. Временный желобок отец делал из бересты; всегда с нами резиновый стакан — пробовать воду, сладка ли, — она всегда была сладка и освежающа!

Разматывая клубок ниток, чтобы перевязать пучок листьев папоротника, я замечаю, что клубок истрачен и его нити воспоминаний не хватит на даль-

нейший откат к детству; теперь это делается проще обратным ходом кинофильмы. Мы выбираем сырой склон, где особенно пышна растительность и богаты мхи. Отец налегает на заступ городским башмаком, и мы ждем, не появится ли в ямке вода. Мне хочется, чтобы эта картина была последней, потому что она мне очень дорога. Краски туманятся, в глазах рябит дрожащая сетка, и последнее, что я слышу и помню, — очень серьезный и очень убедительный голос, который говорит мне, как совсем взрослому:

— Вот и еще один родник свежей и здоровой воды. Мы сделаем желобок, и кто-нибудь, напившись, помянет нас добрым словом. Куда потечет эта вода?

Я уже знаю и подсказываю скороговоркой:

— Отсюда в речку, из речки в Каму, из Камы в море, из моря вернется сюда же легким облачком...

Отец смеется, достает резиновый стакан и первым пробует воду. Затем отпиваю я, и занавес бесшумно опускается.

Молодость

Страсть превращать чистый лист бумаги в суету скользящих строк с зачеркнутыми словами и надстрочными добавками, вечно вязать нескончаемое кружево мысли и слов, эта неизжитая страсть, перешедшая в привычку, побуждает меня продолжить записки о жизни. Но если детство и юность, всегда овеянные поэзией, вспоминались с легкостью, и для них находились избранные слова, то зрелые годы — это уж не картинки, не туманная акварель, вольная игра кистей и красок; и это не написанная и отложенная в сторону книга. Их не отделишь с простотой и полным спокойствием от дня сегодняшнего, который просится в последнюю графу человеческих сроков, в рубрику подкравшейся старости, — что ни говори, как ни старайся преувеличением недугов вызвать возражение зеркала: «Вы удивительно

сохранились, это только случайная слабость, которая пройдет». На жизни поперечные трещины, она давно распалась на части, и не все в ней кажется действительным и своим. Есть такое насекомое — медведка, маленький жестокий кредитель-корнеед; огородники уверяют, что разрубленная пополам острой мотыгой, медведка, прожорливость которой знаменита, иногда съедает отделившуюся часть своего туловища. Со мной постоянно происходит подобное: отрезок отдаленного прошлого перестает быть своим, он кажется выдумкой, литературным материалом, и если исключить его из жизни, я не почувствую ни боли, ни сожаления. Мне кажется забавным этот белобрысый московский адвокатик, отрастивший для солидности бородку и носивший много длинных званий, почтенных и неудобопроизносимых: «помощник присяжного поверенного округа московской судебной палаты», «присяжный стряпчий коммерческого суда», «опекун суда сиротского», «юрисконсульт общества купеческих приказчиков», «член общества попечительства о бедных» и многое еще. В возрасте двадцати пяти лет мы были и считались взрослыми. Я говорю это нынешним тридцатилетним, сорокалетним мальчикам, все еще безответственным и неустроенным в жизни, говорю не в укор и не в поученье. Жизнь осложнилась, непомерно удлиняется и период к ней подготовки. Сорок лет казались нам пределом молодости и живой силы. В этом возрасте люди уже успокаиваются и хотят, чтобы все кругом было устойчиво и неколебимо, а мы жаждали движения и бунта. Свои профессии мы считали общественным служением и не хотели замыкаться в технической узости, были непременно романтиками и, конечно, революционерами. Позже, в эмигрантские годы, живя в Италии после крушения революции пятого года, я попросил однажды приятеля, итальянского адвоката: «Укажи мне хороший курс итальянской литературы». Он удивленно ответил: «Я не филолог, я юрист». — «Мне не нужно книг

специальных, укажи обычный хороший учебник». Он повторил: «Да ведь я же адвокат, откуда мне знать?» И я понял, как мы отличались от европейцев своим отрицанием специальности, своей жаждой знаний общих. Я, наверное, мог бы указать ему лучший курс хирургии, физики, философии, даже руководства по столярничеству или рыбной ловле. Но и в своей профессиональной области мы не искали непременно карьеры и заработка. Я несколько побаивался больших выступлений и очень любил кропотливые делишки в мировых судах, где была так очевидна помощь юриста бедному тяжебнику, не разбиравшемуся в статьях закона, где было можно героически обрушиться на подпольного ходатая по делам, тянувшего с клиента деньги, невежественного и полного самоуверенности, пока он не сталкивался с подлинным, хоть и молодым юристом. Я с горячностью и волнением защищал прощелыгу, поклявшегося мне, что он не крал пальто с вешалки и что он — жертва навета. Судья, доверившись моей искренней убежденности, оправдывал моего клиента, который потом приносил мне скромный гонорар: серебряную ложку, очевидно, тоже им украденную, а впрочем, она оказывалась фальшивого серебра. Я смеялся, но продолжал и впредь верить. Случайно, по указанию какой-нибудь кухарки, видевшей на двери мою адвокатскую дощечку, вваливались ко мне владимирские мужики, строительные рабочие, бородатые, тяжелоногие, и я вел дело их артели, обиженной подрядчиком, и чувствовал себя защитником прав трудового народа. Я не брал с них денег и даже тратил от своей скудости, считая честью быть их покровителем и ходатаем; и, выиграв дело, взыскав с нечестного подрядчика недоплаченные им гроши, я сиял радостью и провожал их до дверей, похлопывая по плечу со всей моей молодой солидностью. Я не хвастаю добродетелью — я был точно такой, как все недурные люди моего времени из средних общественных классов, — прежде всего —

«служители правды и справедливости»; это придавало жизни особый вкус и нисколько не мешало нам к сорока годам обрастать более жесткой кожей и переходить в стан удовлетворенных, умеренных, растивших брюшко, но все еще считавших себя и жертвами и врагами «режима». Все же были и такие, которые до старости оставались поэтами — будем к ним справедливы. Еще и сейчас встречаю людей моего прошлого; они помнят слова студенческих песен, они пьют водку, настоянную на перце, вздыхают и куда-то рвутся, хотя жизнь давно приколола их кнопочками к семье, к делу, к бесконечно катящейся по проторенной дороге жизненной тележке. Бесценные товарищи, просчитавшиеся мечтатели, кавалеры осмеянного ордена русских интеллигентных чудаков! Полный к ним нежности, я горжусь своим с ними кровным родством, хотя события личной жизни рано выбили меня из их рядов и вообще из русской жизни и унесли наблюдать жизнь чужую, — только наблюдать, сердцем в ней не участвуя.

Я вспомнил о своем кратком, трехлетнем адвокатстве, так как с чего-то нужно начать рассказ о зрелых голах. У меня была приемная, был кабинет, были телефон, пишущая машинка, копировальный пресс, портфель, фрак со значком, настольная библиотека юридических справочников, деловые обложки с моей фамилией, медная дощечка на внешней двери, эмалированная на улице. Я защищал, взыскивал по безнадежным векселям, писал великолепно составленные письма «с совершенным почтением». В швейцарской «здания судебных установлений» был у меня свой крюк на вешалке с наклеенной над ним моей фамилией, которую швейцар иногда помнил, на вешалку не глядя. Я работал самостоятельно, независимо от патрона, ведшего лишь большие дела и не имевшего для меня маленьких. Я выезжал иногда в фабричные городки, где рабочие протягивали мне культяпки рук, искалеченных текстильной

машиной, давал купеческим приказчикам советы по коммерческим делам, которые они знали гораздо лучше меня, мирил наследников, полюбовно поделивших доходные дома, но поссорившихся из-за произвольно зарезанной свиньи и кучи старого железа, опекал сирот, бродил по камерам участковых судей и квартирам судебных приставов. У меня была недорогая, но солидная шуба и боты, шаркавшие по снежной московской мостовой, и об одном проведенном мною деле была газетная заметка. Но очень скоро на диване в моей приемной стали спать по ночам подозрительные люди, бежавшие с политической каторги, на машинке отстукиваться тексты пылких и буйных прокламаций, которыми затем набивался мой адвокатский портфель, квартира стала служить для явок и сборищ, мое звание — для прикрытия общения с самыми разнообразными молодыми людьми, мало похожими на клиентов.

Был 1904 год. Наступил и 1905 год — год московского вооруженного восстания. Не будет последовательности в моей жизненной повести. Нет, я не буду рассказывать о революции. Вообще не буду рассказывать — мне хочется рождать образы прошлого, дав им полную свободу. Мы живем в последовательности дней, месяцев и годов; но, оглядываясь на прошлое, мы видим путаницу событий, толпу людей, нагромождение сроков и дат. В бывшем есть реальное и есть кажущееся, прежде важное стало ничтожным, маленький случай вырос в Гималаи, легкий мотивчик песни запомнился в укор стершейся в памяти симфонии. В воображении я ищу друга тех времен, молодого и полного надежд, и он, потирая старческую поясницу, досадливо кивает мне издали на друзей позднейших, давно его заменивших; я ищу женщин, но их карточки выцвели, съеденные солнцем и временем, и даже от прежних икон остались только потухшие лампадки с плавающими в деревянном масле мухами. Есть счастливцы, прожившие

весь свой век в одном доме, в одной квартире, все в тех же комнатах, стены которых дышат их дыханием и привычно отражают звуки их слов; их письменные столы, регистраторы, ящики их комодов, кладовые наполнены прекрасной рухлядью вещественных доказательств их быта. Другим удается по всему свету таскать за собой огромный, по углам лоснящийся кожаный чемодан с наклейками гостиниц, таможен, с царапинами сотни вагонных полок и багажных складов — чемодан, вмещающий самое ценное, ветхое и новое; трогательную собственность, внешний оттиск внутренних переживаний, воплощенье жестов и дум, суету и кутерьму остывших страстишек, сокровенную ненаписанную историю. У меня ничего этого нет, хотя я очень люблю вещи и вещицы. Все, что меня окружает, до неприличия молодо, ему не больше года. В груде писем только недавние даты, и эта единственная рукопись только сегодня начата. Так бывало не всегда, но время от времени так случалось: спасшись при очередном кораблекрушении, я подплывал к незнакомому берегу и из веток незнакомого дерева строил очередной шалаш. Затем, осмотревшись, Робинзон вырубает хижину, находит и сеет семена хлебных злаков, приручает козу, знакомится с Пятницей. Но с Робинзоном Даниэля Дефо это случилось только раз, — как прочны были раньше общественные устои, как была несложна человеческая жизнь! Затем он вернулся на родину и пустил в мякоть кресла прочные корни. Он пил настоящее вино, или эль, или сидр и мозолил ближним уши рассказами о своем необычайном приключении, пока Пятница неистово врал о том же в кругу знакомой соседской прислуги. Вариант — Дон Кихот и Санчо Панса; романы должны кончаться хорошо. В действительности люди богатой жизни нередко умирают на промежуточной станции или под забором, — но не стоит говорить чувствительно.

У меня много времени, и если вы столь же свободны слушать, я расскажу случай, до которого в порядке последовательности вряд ли добрался бы, так как он заимствуется из истории самой свежей катастрофы, впечатления которой не изгладились. Но для начала рассказа я должен откатиться лет на восемьдесят назад к шестидесятым годам прошлого века. Мой отец, молодой юрист, провинциал, увидал в театре, в ложе уфимского губернатора Аксакова, красивую девушку, только что приехавшую в город. В тот же вечер он перегнул пополам длинные листы писчей бумаги и начал писать дневник, обращенный к этой незнакомке, — дневник любовных страданий. Он владел пером лучше, чем чувствами, и повесть о его любви сохранилась среди его бумаг и перешла по наследству ко мне, тем более, что предметом его любви, казавшейся столь же страстной, сколь и безнадежной, была его будущая жена — моя мать. Тетрадь пожелтела, сохранив все благоухание юности; она озаглавлена «Мои бредни», и нить романа обрывается в ней на первых встречах и первом ощущении полной безнадежности. Случай спас эту тетрадь при трех моих жизненных крушениях — всякий раз она неожиданно выплывала из небытия и снова оказывалась в заветном ящике моего стола. Убегая из Парижа, которому грозило унижение, я был вынужден оставить там все, что было мне дорого. Полчища Аттилы захватили город, и мои рукописи, мои книги привлекли их внимание; за полторы тысячи лет гунны не изменили своих привычек и своего вкуса к грабежам. Когда моим друзьям удалось проникнуть в ограбленную квартиру, они не нашли в ней ничего, кроме лежавшей на полу, среди мусора, старой тетрадки, которую подобрали, чтобы передать мне, когда мы увидимся, — если увидимся. Это был дневник моего отца, единственная чудом сохранившаяся семейная реликвия. Вы видите, как судьба, порывая крепчайшие связи,

не стесняясь никакими кощунствами, заботливо или насмешливо сохраняет нам щелочку для дыхания, предлагая в личной жизни продлить историческое бытие. Со мной нет этой тетрадки, но она меня ждет и не позволяет мне сказать, что прошлого не было и что жизнь зародилась вот в этом крестьянском домике, в окна которого настойчиво заглядывает французское солнце. Я подчиняюсь и продолжаю писать повесть долгих лет.

Если где-нибудь уцелела хоть часть моего жизненного барахла — в каких-нибудь важных учреждениях политического сыска, да будут они все прокляты вместе с их изобретателями, — то среди вещей, вещиц и бумаг могла бы оказаться фотография молодого человека, худого, долговолосого, в платье с чужого плеча. Он сидит в саду, в плетеном кресле, и направленный на него объектив аппарата нипочем не уловит его душевного состояния. Это я, вышедший только что из московской Таганской тюрьмы и скрывшийся на даче у знакомых — лишь на два дня. Меня выпустил под залог следователь, свидетели которого отказались меня признать, но узнать о моей свободе могут жандармы, уже приговорившие меня к ссылке в Сибирь. Русские учреждения по подавлению личности были сложны и работали не всегда дружно; вероятно, сейчас эта часть поставлена более образцово в новом царстве свободы. Во всяком случае, завтра я пущусь в дорогу, остриженный и выбритый, и мой путь, с кратким перерывом, продолжится сорок лет.

Только тот знает, что такое свобода, кто знает также, что такое тюрьма, что такое полметра кирпичной стены, отделяющей от вольного воздуха. Хлопанье тяжелой, обитой железом дубовой двери и поворот ключа. Равнодушие видавшего виды тюремного сторожа. Ломкость ногтей, царапающих стену. Бессилие ненависти, — а ведь мы проповедовали любовь всех ко всем! Керосиновая лампа

в клетке под потолком, сестра-узница. Мука бездействия. Прислушиваясь — слышишь тишину, кажущуюся стоном. А может, все это только кажется? Закрыв глаза — ждешь чудесного прозрения, открыв — видишь те же стены с небрежно забеленными известью надписями предшественников. Но одна ускользнула от внимания — на обороте деревянного табурета: «На воле я друзья очень был мало жизнь проклятая заела». Писал, должно быть, вор-рецидивист. В высокое окно заглядывает голубизна отнятого неба; в проделанную в двери дырочку, откинув внешнюю заслонку, смотрит глаз надзирателя — не повесился ли заключенный. В список проклятий молодой юрист вносит: закон — произвол — суд — право — насилие — государство, все в одну рубрику, без разделов и оттенков. Сумасшедшие люди, во что превратили вы жизнь, такую радость, такое благо! Сжать виски, чтобы самому не сойти с ума. Вот так звери в зоологическом саду меряют шагами пол клетки, механически занося ногу при поворотах, всякий раз ступая на свой прежний след. Это мои братья — и вор-рецидивист, и пантера, и мартышка, и канарейка. Отчего же сюда не приводят детей — показать им их будущее? Как-то я увидал в парижской газете фотографию слона, убившего сторожа зверинца; я вырезал портрет слона и хранил с любовью, хотя в то время уже много лет прожил без решетки. За яд, который вы влили в мою кровь, — и уже нельзя ее очистить, я всю жизнь старался это сделать! — за этот яд я высекаю на камне, выжигаю на дубовой доске, отливаю в свинцовые буквы свой список проклятий, с тех дней до пределов маленькой человеческой вечности. У меня нет слов, или, наоборот, я боюсь ими захлебнуться. И если бы моего палача посадили под замок, — я сорвал бы замок и с его двери.

Бессильны мои строки, мои выкрики. Старый писатель, я отлично знаю, что лишь спокойными, взве-

шенными, может быть, расчетливо злыми и ядовитыми словами можно передать свои негодующие мысли; крик ранит только детей и женщин. Но я пишу не произведенье — я пишу жизнь. И мне трудно обойтись без отступлений. Насколько легче писать о других, шить платья на марионеток, ниточками которых играют пальцы!

Дальше — только пятна памяти. Я в сером пальто и серой, на лоб надвинутой кепке, в своем тщательном маскараде больше всего похожий на человека, который своим таинственным видом хочет привлечь внимание, то есть хочет того, чего меньше всего хотел бы. В Петербурге с вокзала прямо на финляндский пароход. Со мной нет никаких вещей; впрочем, у меня вообще ничего нет, потому что мое прошлое зачеркнуто, а за время моего пребывания в тюрьме все, что не было украдено полицией, украдено дочиста, до последней нитки другими профессиональными ворами. И на этих последних я не обижен: они — мои братья по тюрьме, и от них я отличался только гражданской одеждой и одиночной камерой. Я родился в середине великого пути, который проложен через всю Россию в восточную Сибирь; служил раньше, служит и по сей час. Через мой родной город гнали пешком арестантов, доставленных по реке на барках. Так и говорилось: «гнали»; говорят так про скот и про людей необычной, бунтующей воли. Арестантские песни были у нас в почете. Вообще мы, русские, странные люди. Когда на европейской улице ловят преступника, обыватели в этом помогают; у нас радовались и помогали любому побегу. Наши сибирские крестьяне называли арестантов «несчастненькими», купцы и богомольные старушки посылали в тюрьму чай, сахар и калачи. В Париже я долго жил близ тюрьмы Сантэ, и никогда, проходя мимо нее, не упускал подумать: «Как было бы хорошо взорвать эту высокую ограду и посмотреть, как во

все стороны разбегутся заключенные!» Среди них немало негодяев, хотя, конечно, не больше, чем среди тех, кто их лишили свободы. Я охотно спрятал бы у себя бежавшего из тюрьмы бандита. После он, вероятно, обобрал бы меня, может быть, прирезал; но, конечно, не это может меня остановить. Вам такие слова покажутся назойливо дерзкими, такие мысли парадоксальными; но от вас, защитников принципа свободы личности, я отличаюсь только последовательностью и откровенностью.

На пароходе я притворился иностранцем, вернее — немым. Перегон был невелик, и в Гельсингфорсе я был по-настоящему свободен. Еще просыпался ночью при малейшем шорохе: мне казалось, что сейчас загремит ключ в замке тяжелой двери или дежурный уголовный арестант откинет в этой двери форточку и весело крикнет «Кипяток!». Но утром гулял по Эспланаде и любовался румянцем и сытым видом финнов и шведов. В порту пахло рыбой и йодом. Если бы не застенчивость, я вспрыгнул бы на уличную тумбу и, взметнув руками, закричал: «Сейчас улечу — я свободен!» Я был почти в Европе; и Европа казалась мне... я еще совсем не знал Европы. Я только что родился. Финляндия — прекрасная девушка, у которой двуглавый орел хочет вырвать книгу ее законов; эта картина висела в моем адвокатском кабинете. И вот я в Финляндии.

У меня нет при себе не только любимых старых вещей, книг, материнского портрета и дешевого, стоимостью в одно су, купленного на базаре колечка, которым мы, шутя и серьезно, обручились с моей будущей женой, — у меня не осталось даже образов жизни, не использованных вразброс по моим книгам и очеркам. Все, что я сейчас пишу, мне кажется уж рассказанным когда-то, по какому-то случайному поводу, — мы так нерасчетливы, бедные трудовые писатели. Какой-нибудь придуманный человек на страницах моей книги, наверное, смотрелся в спо-

койную воду у берегов Финского залива, жил на островке финляндских шхер, дышал воздухом, напоенным хвоей, и, торопливо раздевшись, бросался вниз головой с вылизанного временем и волной камня в полусоленую воду, чтобы побыть некоторое время в славном обществе щук, карасей, корюшек и салакушек. Не без удивления он спрашивал почтенную хозяйку, для чего она привешивает светлую шерстинку к висячей люстре и почему так часто ее меняет, — и проникался уважением к чистоплотности отменного народа, узнав, что это — скромная уборная для мух, любящих садиться снизу на висящие предметы. Может быть, я даже рассказал где-нибудь, как по улицам финской столицы бродили русские сыщики, принюхиваясь, не пахнет ли в каком-нибудь подъезде дома динамитом, который в спальных подушечках или под корсетом провозили в Петербург революционные девушки, одетые светскими дамами, заставляя дрожать министров и обитателя Зимнего дворца. Мы жили в Финляндии недолго, меньше года, и я не успел обрасти вещами — помешала бедность и мечта о скором возврате в коренную Россию. Но вышло иначе, и однажды пришлось торопливо собраться и погрузиться на пароход, отплывавший к берегам срединной Европы; Финляндия лишь в слабой степени пользовалась автономией управления, и положение русских политических беглецов не было в ней прочным.

Европа именуется великой страной, но для нас, привыкших к пространствам, она лишь маленький мирок, правда — тесно заселенный и насыщенный историческими словечками. Она суетлива, буржуазна, домовита и считает минуты за время, — мы швыряемся часами и днями, не придавая им ценности. Она утонула в предметах собственности, которыми каждый в ней дорожит почти так же, как жизнью, — нам, голым героям, это казалось смешным. Но она, тогдашняя (уже давно нет т о й Европы!),

очаровывала нас свободой, какой мы никогда не знавали, ненужностью паспортов, возможностью громко высказывать свои мысли и, не перекрестясь, перешагивать границы. Мелькнула Дания, затормозился поезд на франкфуртском вокзале — и вот белым корабликом заколебался лебедь на Женевском озере. В калейдоскопе прыгали и пересыпались разноцветные стеклышки. Это и есть Монблан? Какое нагромождение прекрасных безделушек на нашем пути! Еще так недавно я проводил по пять суток в вагоне, чтобы навестить свою мать в дни университетских каникул; здесь в сутки мы пересекали несколько государств. Мы обращали на себя вниманье и внешним видом, и громким говором; это так естественно: возвышать голос в Киеве, чтобы слышно было в Москве и чтобы откликнулись в Иркутске и Владивостоке. Мы не привыкли к миниатюрам. Я живу в Европе тридцать лет, ее масштабы давно мне знакомы, — но до сих пор иногда ощущаю себя слоном в игрушечной лавке. Франция, например, очень почтенная страна, но все же она меньше губернии, в которой я родился; губерний в России было восемьдесят. Я пишу это, конечно, не без гордости. Я не дружу с правительством нынешней России, как не дружил с правителями царской, как не свел бы дружбы и с «временным», если бы оно обратилось в постоянное, чего, к счастью или несчастью, не случилось. Но на карту Евразии я очень люблю смотреть, вымеряя пальцами какую-нибудь горделивую страну и пытаясь впихнуть ее в уезд Пермской губернии, который на лошадях дважды в год объезжал мой отец по своим судейским делам, прихватив служащего и мешок с мороженными пельменями. Что скрывать, — российское «мы-ста» во мне живет прочно. Вот добраться бы хоть сейчас до границы да кувырком через голову прокатиться «от финских хладных скал до пламенной Колхиды», легонько зашибив свой хребет об Уральский. Громадна наша

страна, и я понимаю тех европейцев, которые называют Сибирь русской колонией; им завидно; а Сибирь самая подлинная Россия, ее не оторвешь. И мы — люди большого роста, крепкие и здоровые, равно привыкшие к жаре и морозу. Если бы Россия не была из века в век деревянной и горючей, она задавила бы мир архитектурой и историей, как давит и смущает литературой и музыкой. Но ее настоящая история вся впереди, и старым я хвастаю только так, для сведения счетов с мурашиками, называющими нас «нежелательными иностранцами»; я не сержусь на этих мурашей, зная что они все равно мне поклонятся, а я, по природному нашему великодушию, протяну им не два пальца, а всю пятерню — мы народ отходчивый.

Я люблю в Европе северян. Мы родня. Возможно, что есть во мне и татарин, но, во всяком случае, есть варяг. Мы пропахли смолой, мы одинаково молимся и лешему и водяному. Князья и викинги, мы равно землепашцы, охотники, рыболовы, люди простые, без дурацких феодальных замашек, без киченья голубыми кровями, без поклонения гербам — природные демократы. Только мы знаем, что такое весна; и журчаньем ручьев, стрекотом мушьих и жучьих крылышек озвучена и наша, и скандинавская литература. Из сердец наших — ударь кинжалом — брызнет кровь, а не немецкое пиво, не французский сидр и не патока с примесью курортных вод. Думаю, что на этом можно и закончить восторженное бахвальство.

Оно несколько отвлекло меня от картин бегущей ленты кинематографа. Снега Савойи. Сен-Готардский туннель. Поезд вылетает на вольный воздух и катится под гору, прямо от зимы на лето. Теплая ночь в отеле — от мельканья чужих пейзажей и усталости голова плохо соображает. Но наутро в распахнутое окно врывается столько солнца, сколько может его уместиться в сознании, и я впервые в жизни вижу апельсин не в магазинном ящике, а на ветке. Это —

Нерви, итальянский прибрежный городок, позже мне отошневший. В полдень местный поезд увозит нас в другое местечко на той же Ривьере, где уже снята вилла для небольшой компании русских беглецов.

Я не Бедекер, чтобы отмечать звездочками места, где жил и был, да и звездочек, пожалуй, не хватит на моем закатном небе. Италии, роману моей молодости, я посвятил и книги и осколки книг, все это укатилось в прошлое, и Италия теперь не та, даже имя ее звучит по-иному. Черноглазая девушка захотела стать синьорой, а я любил именно черноглазую девушку, любовью северянина, пригретого чужим солнцем. Спасибо, дорогая, за десять лет ласковой дружбы! Я понимаю, что нельзя вечно оставаться цветочницей на Испанской лестнице или плясать тарантеллу. Та девушка с затибрской стороны Рима, работница табачной фабрики, получившая приз за красоту — за действительную, непобедимую, всепокоряющую красоту, — тоже впоследствии вышла замуж за европейского комиссионера, представителя фирмы моторов. Все это меня мало касается, и моя любовь была платонической, может быть даже простой благодарностью. В ватиканском музее есть жертвенник рождающейся Венеры, — я его называю по-своему, — и руки прислужниц помогают богине покинуть морскую пену. Выйдя, она наденет современный костюм и будет принимать в своем салоне дипломатов и изобретателей патентованных государственных систем. Мне-то что за дело! Я видал этих людей сотнями; они продаются в лавочках всемирной истории. Но Венеру, с живого мрамора которой нежной тканью сбегает вода, я не обещал забыть,— o, gioventu, primavera della vita!* Среди двухрядных перлов блеснул золотой зуб... Раскланиваюсь издали и отхожу, потому что у нас есть свой собственный истукан и, по совести говоря,

---

* О, молодость, весна жизни! (*ит.*)

азиаты умеют чище оттяпывать головы тем, кто им не по вкусу.

Немало горечи в моих словах. «Amor che a nullo amato amar perdona...»* Но времена поэзия прошли. Три этажа дантовской поэмы уже соединены подъемной машиной, и мальчик, одетый в черную рубашку с галстуком, выкрикивает: «Il purgatorio, avanti chi scende!»** Я выхожу, не дожидаясь обещанного рая, куда уже поднялось достаточно европейских народов.

Уклоняюсь от соблазна писать историю виллы «Мария» на средиземном побережье, чтобы не обратить моей повести в усердную хронику. Но в памяти жив скат к морю обширного сада, запущенного, разросшегося, в котором пестрели цветы и наливались плоды без ухода, по воле; часть сада нависла над выходом из железнодорожного туннеля, откуда с внезапным грохотом и лязгом вырывались поезда и снова проваливались в тишину. Сад кончался голыми скалами, по которым шла вниз тропинка к небольшому заливу, нашему собственному, отовсюду закрытому. Пляжа не было — в голубую воду гляделись глыбы серого острого плитняка, оне же синели под водой и жались к берегу. В бурю заливчик обращался в кипящую кастрюлю, вода выбрасывалась на большую высоту, и соленая пыль через весь сад залетала в наши окна. Летом мы купались трижды в день, были среди нас охотники и до зимнего купанья. Все мы были работниками, писали статьи и книги для российских издательств, жили скромной коммуной, дивили итальянцев количеством

---

* «Любовь, любить велящая любимым...» (*ит.*; *Данте.* Божественная комедия. Ад. Песнь V. Перевод М. Лозинского).

** «Чистилище, идущий впереди!» (*ит.*).

выкуриваемых папирос и получаемых и отправляемых писем. В десяти комнатах сменялись проезжие гости, преимущественно беглецы, иногда из сибирской каторги. У меня было особое пристанище, заброшенная домашняя капелла с каменной Мадонной на престоле, служившем мне складом книг и рукописей. В раковине, при входе, в воде неблагословенной, зеленели «волосы Венеры», кудрявая травка, обильно росшая в нише подземного ручейка, вытекавшего из сада. Здесь я проводил летом ночи за работой до утреннего общего купанья, здесь же в полутьме и прохладе отсыпался днем. У каждого были свои привычки и свой образ жизни, но полуночниками мы были все, и нередко под утро собирались в нашей обширной кухне и устраивали «макаронаты» с фьяской красного вина. Общей болезнью была ностальгия, но мы старались быть бодрыми и щедрыми на шутки. Коммуну возглавлял старший из нас по возрасту, известный экономист, заботливо находивший нам работу, человек одинокий и большой труженик, подобно нам — выброшенный за борт русской жизни. Из России получались невеселые письма, убивавшие в нас надежду на скорый возврат. Это было время «огарков», когда молодежь в России, отойдя от революции, бросилась прожигать жизнь в пьяном наркотическом угаре, в половых опытах, в кружках самоубийц; эта жизнь отражалась и в литературе. Когда вести были слишком безнадежными, можно было выйти ночью в сад, лечь навзничь на ступенях или на доске садового стола и смотреть на чужое звездное небо. В день жаркий я выбирал в саду разросшееся фиговое дерево, устраивался удобно и покойно среди его ветвей, ел накаленные солнцем, сочившиеся сахаром фиги и дремал. На высоком обрыве через мою голову пролетел вниз человек; я вскрикнул и увидал, как он уцепился руками за выступ площадки и, смеясь, повернул ко мне скуластое лицо; он хотел испугать меня, но не рассчитал прыжка; он был

отцом двоих детей и видным литературным и партийным работником. Другой спустился к заливу в сильный прибой и решил выкупаться в пене; волна прокатила его по острым камням, окрасилась его кровью и выбросила его на уступ, где в спокойные дни выпаривалась соль из стоялой морской воды; недели через три он снова мог купаться. Мне захотелось подняться в сад от самого моря по крутому отвесу метров в тридцать высоты. Было жутко, но занятно попытать судьбу. На середине подъема посыпались камни, и мои ноги повисли в воздухе; одна рука еще цеплялась крепко за камень, другая искала опоры выше. Если испугаться, то погибнешь. Затем камень, за который я держался, стал уступать и медленно отделяться от земли; в то же время нога нащупала новую опору. Я не велел ногам дрожать, потому что тогда хотел жить. Я спасся и наверху долго лежал на траве. Мы шутили с морем, со скалами, с жизнью. У одного из наших гостей пришлось отобрать револьвер, но ему вернули, когда он обещал не порочить нашей мирной виллы. Было ясно, что дальше так жить нельзя, что нас не спасет работа, и мы решили разъехаться, часть в недальнее местечко, часть в Париж, часть тайно в Россию. Молодой астроном, долго живший с нами, талантливый человек, нежный поэт, полиглот и красавец, простился первым. Через Париж он уехал в Петербург с паспортов итальянца. Он выдержал стиль, и я получил от него письмо, написанное накануне казни, лишь в одну строчку: «Saluti dall' altrove»*.

В какой-то день я взбирался по крутой лестнице на пятый этаж дома, населенного мелкими чиновниками и рабочими в Риме, против ватиканской стены. Синьора Эрнеста и синьор Карло, у которых я снял комнату, оказались приветливыми хозяевами, их слуга и друг Серафино стал моим другом и слугой.

* «Привет оттуда» (*ит.*).

Из окон комнаты еще были видны пустыри Prati di Castello, теперь давно уже застроенные. Я был к тому времени одинок в Риме и в мире. На мне был легкомысленный серый летний костюмчик, купленный в Генуе на базаре за шесть франков, — была зима. Багаж состоял из чемодана с бельем и пишущей машинки, сохранившейся с адвокатских времен. Для моих хозяев я был «sor avvocato»*, для самого себя — писателем, не написавшим ничего путного, но готовым начать карьеру. Пока я жил газетными статьями, которые посылал в Москву. На моем литературном счету несколько изданных книжонок, не стоящих памяти, и влеченье к перу, сказавшееся еще на гимназической скамье. Мне было ровно тридцать лет: еще вполне мыслимое начало новой жизни. И новая жизнь началась.

В своей зрелой жизни я умышленно пропускаю целую большую область — чувств обманчивых или значительных, не раз эту жизнь осложнявших. Она изжита и зачеркнута одним, поздним, чувством, с которым я закрою глаза. В кольцах цепи осталось и останется только одно грошовое колечко с каплей красного сургуча вместо драгоценного камня; всему остальному — почтительный поклон; его я не потревожу напрасными строками.

Я прожил восемь лет в Вечном городе, теперь ставшем городом современным; его вечность подчищена и подбрита, окружена решеткой, занесена в регистр, украшена дощечкой с красиво вырисованной надписью. Раньше в нем слитно жили века, кузнец ковал железо в театре Марцелла и забивал гвоздь в вековой камень, не догадываясь о своем кощунстве; кошки плодились на форуме Траяна, про-

---

* «Синьор адвокат» (*ит.*).

хожий шагал по земле, наросшей на остатках храма. Это было красиво и непрактично, как все красивое. Бойкие молодые люди, над которыми пытались смеяться, открыли поход против Рима, против веков, против академии и лунного света — за солнце и мотор. Крикливые гуси спасли Рим древний и погубили его в современности. Однажды русские невинные экскурсанты, приехав в Рим, вошли ночью в Колизей и запели хором «Вниз по матушке по Волге»; так поступить могли только милые дикари. Сейчас на Капитолии уместна фашистская «Джовинецца», гимн работы опереточного мастера, — и только Ватикан остается крепостью старой, слишком старой веры.

Я очень любил Италию и прилежно ее изучал, не музейную, а современную мне, живую Италию в труде, в песне, в нуждах и надеждах. Я написал о ее жизни две книги и рассказывал о ней в сотнях статей, печатавшихся в России. Города Италии были моими комнатами: Рим — рабочим кабинетом, Флоренция — библиотекой, Венеция — гостиной, Неаполь — террасой, с которой открывался такой прекрасный вид. Мне были одинаково знакомы север и юг, ривьера и каштановые леса Тосканы, лики Джотто в Ассизах и фреска «Sposalizio»* в Витербо. Я уходил писать в домик Цезаря на Форуме, — еще были целы в домике шесть дубков, — слушал орган во Фьезоле, тонул в бурный день при выходе из каприйского Голубого грота, брал приступом с генуэзскими рабочими портовые угольные насыпи, негодовал с толпой в дни казни в Испании Франческо Ферреро, томился на процессе каморры, бродил по доверху наводненному вулканическим пеплом местечку Торре-дель-Греко, вешал на шею змей на празднике Сан-Доменико в Абруццах, забывал все современное в стенах Лукки, отличал вино фраскати от его орвьетских и каприйских соперников, дружил с одноглазым Пип-

* «Обручение» (*ит.*).

по, певцом кабачков, просидел диван в кафе Араньо. При мне родились в римском музее «Девочка из Анцио» и «Киренаикская Венера», которая, конечно, никогда Венерой не была. Когда мне делалось тоскливо в Риме, я садился в вагон прямого поезда и ехал в один из знакомых или еще незнакомых городов, иногда выходя, чтобы переночевать в живописном местечке. Я только в первые годы нуждался и покупал на завтрак pizzi, на обед тыквенное семя; дальше работа в крупных русских издательствах сделала мою жизнь легкой.

Я скоро оброс книгами и вещами, выселил из квартиры своих милых хозяев, оставив при себе Серафино. В Рим приезжало много русских, которые навещали старожила, и связь в Россией была прочна — хотя заочна. Вернуться я не мог, — для этого потребовалась война, всколыхнувшая прежнее чувство и придавшая решимости. Я так привык к Риму и своей новой оседлости, что даже в недолгих отлучках скучал по Палатину, по обрубкам Пасквино и Марфорио, по звучной речи и знакомому кабачку, где много лет кормил меня макаронами и горячим zabaione толстый падроне сор Анджело и так свежа была вода лучшего акведука. Только летом я ненадолго изменял Риму для пляжа Средиземного моря, да иногда московская газета посылала меня прокатиться на Балканы или по Европе, готовившей войну. Тогда я обнимался с черногорцами, сочувствовал восставшим албанцам, слушал в Загребе жалобы хорватов на сербов и мадьярский архитектурный стиль, осаждал с болгарами Адрианополь или просто удивлялся Парижу, катался на лодке по швейцарским озерам, сидел перед кружкой в мюнхенской пивной.

Верятно, я был счастлив, хотя и считал себя изгнанником и страдальцем. Были и сложности в жизни человека, еще слишком молодого, чтобы дорожить одиночеством. Но когда, взяв палку, хлеба и козьего сыра, я уходил с морского побережья в горы, где так

свободно дышать и в редких домиках живут необычные, совсем не знающие других миров люди, когда я, пройдя день, засыпал ночью в случайно найденном шалаше, — мог ли я не быть счастливым, проснувшись под утро от горного холода и увидав туманы в ущельях! Я бормотал малосвязные слова или напевал песню, уже не русскую, русские забыты, и опять шагал все равно куда, чтобы скорее согреться. Для здоровых ног был одинаково легок и подъем и спуск, а проводник мне не был нужен: можно ли заплутаться в карликовой стране уроженцу тысячеверстных лесов? И вся Западная Европа — не резная ли табакерка, умещающаяся в кармане?

Затем опять — дом, моя уже немалая библиотека, знакомый труд и музыка отчетливой римской речи, отличиям которой я учился подражать, чтобы быть настоящим Rromano di Rroma*. Любезнее Данте мне были сонеты Белли и Чезаре Паскарьелла да римские stornelli**, порой будившие по ночам.

Кабачок сора Анджело назывался «Roma sparita» — «Исчезнувший Рим». Обширная полутемная комната, в которой сидели только в ненастную погоду, и дворик, образованный высокими зданиями и превращенный в виноградник. В стены влеплено несколько античных барельефов, может быть, найденных хозяином в Римском поле, а может быть, купленных на одной из фабрик античных осколков, которые продавались англичанам за подлинные. В углу фонтан чистейшей воды, в клетке редкая птица — сорока, подобранная со сломанной ногой. В дни бедности, как и в дни благополучия, я был самым верным клиентом «Исчезнувшего Рима», своим человеком; здесь столовался, сюда приводил заезжих гостей, — редкий русский писатель, побывавший в те годы в Риме, не

---

* Римлянин из Рима (*ит.*, здесь — раскатистое «р», попытка передать особенности произношения).

** Напевы (*ит.*).

знал кабачка сора Анджело. Зимой было тепло и уютно, летом прохладно и уединенно. В последние года моей итальянской жизни в кабачке обедали в летние месяцы русские народные учителя, приезжавшие группами по пятьдесят человек; обычно сталкивались здесь сразу две группы, было весело, суетливо, нелепо — кусок России под виноградным навесом. Это были мои дети, их проехало через Рим и другие города Италии три тысячи; мои помощники читали им лекции и показывали музеи, на мне лежала работа организаторская, трудная и отрадная.

Был июнь четырнадцатого года. В кабачке сора Анджело я говорил встревоженным, ничего не понимавшим людям о том, что будет дальше. Люди будут перегрызать друг другу горла, будет потоками литься кровь, валяться куски разорванных тел, перемешанные с осколками металла. Трупы будут сваливаться в братские могилы, море будет выбрасывать мертвых на пляжи, как побитых бурей медуз. Будут разрушаться города и сметаться с лица земли села и деревни; беженцам, нищим, сиротам некуда будет скрыться от ужасов войны. Они слушали, как испуганные дети. Я увез их в Венецию, где ждали еще другие, о которых нужно было позаботиться. Еще нужно было вывезти сюда застрявших в Швейцарии. Нужно было снять целиком два парохода на Одессу и уплатить вперед золотом, которое откуда-то достать. Две недели кошмара и нечеловеческой работы. Когда отошел второй пароход, с которого мне махали платками, я почувствовал себя одиноким, как никогда, — Россия была в войне, скоро могла выступить и Италия, а я оставался за бортам событий, в чужой стране, еще более отрезанный от родины.

Нейтральная Италия — центр европейской информации, посредник всех связей; я завален работой. Промелькнул год. Неотвязная мысль — пуститься в путь кругом Европы и явиться к призыву в России моего

класса. Во мне нет никакой воинственности, но десяти лет достаточно, чтобы соскучиться по родным местам и решиться на авантюру. Бросить налаженную оседлость, добрые связи, независимое положение, привычную обстановку, уже немалую собранную библиотеку — и с цветущего юга поехать на север, через еще незнакомые страны, затем на восток, в свою страну, на полную неизвестность, на арест, на ссылку куда-нибудь за Байкал, из Вечного города прямо в вечные мерзлоты — разве это не блестящая авантюра! Я был привычным путешественником, и путь казался мне заслуживающим внимания и интереса.

Мой поезд провожало несколько римских друзей. Один из них, русский эмигрант, но итальянский адвокат, поднес мне букет красных роз (мы признавали только красный цвет!); от имени всех он сказал мне напутственное слово и обнял на прощанье. Полутора годами позже, в дни революции, я узнал из захваченных бумаг полицейского сыска, что этот человек успел послать донесение о моем предстоящем приезде в Россию; он был агентом тайной русской полиции. Иудино лобзание! Но я не собирался скрываться, я ехал напролом; на родину, не выражая раскаянья, ехал блудный сын; он мог там на что-нибудь пригодиться — или ему могла пригодиться на что-нибудь его родина.

Могла же жизнь начаться снова! Мне не было еще сорока лет.

Я еду с легкой душой и легким багажом; все, что можно, оставлено в Риме. У меня нет почти никаких документов, — но Европа, даже воюющая, еще не приучилась считать человека приложением к его бумагам. Вообще же я и ищу приключений, обогащающих жизнь. Будет о чем рассказывать, будет о чем писать.

Снова оглядываюсь, и снова вспоминаю, что было мало моментов в жизни, память о которых я не освободил бы от лишнего груза, занеся их на белые листы бумаги. Не раз писал о столицах воевавшей

и нейтральной Европы в те злополучные дни, о Риме, оставленном без большого сожаленья, о печальном в те дни Париже, полном траура, молчаливом, подавленном и истощенном войной, о бодром и почти веселом Лондоне, хотя и затемнявшем уже свои улицы ночью. Не страшен был переезд через Ламанш, не тронуты войной порты Southempton и другой, названия которого я знать не мог, так как из Лондона мы ехали по неизвестному назначению в темном поезде с завешенными окнами, и из вагона вышли прямо на мостки парохода, отплывавшего в норвежский Берген. Опять водяной дом, вышедший в море ночью, спасательные пояса, разговоры полушепотом, как будто мог нас услышать неприятель. Исполнилось мое давнее желание хоть проездом повидать Норвегию, страну лесов и горных озер, — она предстала пред нами в утренний ранний час, в полутумане берегов и шхер, и путь через нее был щедрой оплатой за тревожную ночь; впрочем, эту ночь я спал превосходно, отложив в сторону свой спасательный снаряд. Я не собирался тонуть, так как впереди было слишком много интересного, и поездка по Европе казалась пустяком. Осло звался тогда Христианией. серый скромный город, в котором я провел только сутки, но в Стокгольме я задержался на целый месяц; я не настаивал на том, чтобы прямо с русской границы попасть в тюрьму, и решил использовать думские знакомства и влиятельность моей газеты, чтобы на крайний случай подготовить себе если не свободный въезд в столицы, то продолжение путешествия на свой счет, без провожатых и без этапов, до Туруханского края в Сибири, куда, как я узнал, предполагалось сослать меня на пять лет. В самый длинный день в году я был, наконец, в Хапаранде и Торнео, где солнце скрылось только на час и снова выплыло сонное и неотдохнувшее. При его свете пожилой жандармский офицер писал протокол, пока я ста-

рался подружиться с его охотничьей собакой; он объявил мне, что получил телеграмму о моем пропуске до Петербурга. Это была большая и неожиданная удача, и когда поезд, из-за меня задержанный на границе дольше обычного, тронулся в путь, я чувствовал себя именинником. Еще задержка в Белоострове, личный обыск в жандармской комнате и рукоплескание моих соседей по вагону, когда я, руки в карманах, вернулся в вагон, а за мной нижний чин доставил и мои обысканные чемоданы. Несмотря на эти задержки, чувствовалось, что Россия уже не та, какой я ее оставил, и что в ее полицейской машине нет прежней уверенности.

Дым отечества пахнул мне в лицо на необычайно грязных улицах Петербурга — я отвык от России и сразу примечал ее недостатки. Мне был сладок и приятен этот дым отечества. Неторопливо, едва подстегивая лошадь, вез меня по улицам самый настоящий русский извозчик. Он вез меня в дом знакомых, где меня ждали не без волнения; но я не волновался, так как еще не понимал ясно, что случилось и куда я попал после долгой дороги, тянувшейся не то два месяца, не то все десять лет. В данную минуту я был свободен и мог назвать извозчику любой адрес: остальное меня не занимало. В Петербурге сейчас белые ночи. Я не обязан больше думать и говорить по-итальянски, и к первому встречному могу обратиться с вопросом на родном языке. Все это похоже на сказку, но дворник, который метет улицу, в его рваной и штопаной полуформе, похож на русского мужика. Я еду на Васильевский остров. Если все это действительно так, то жизнь делается очень занимательной. Петербург — холодный и неприятный чиновничий город, а вот Москву увидать хочется. Подхватив пишущую машинку, с которой я не расставался, и небольшой чемодан, предоставив остальное заботам извозчика, я поднялся на второй этаж и позвонил.

Поставив в тексте черточку на середине пути — nel mezzo del cammin* — это как бы каменная тумба с отметкой расстояния, — я пью слабое и кисленькое французское вино, vin gris**, которое предпочитаю тяжелым и пьяным. Городок спит, натрудившись за весенний день. Глубокая ночь. Кто-то упомянул о Петербурге, если это мне не послышалось. Но Петербурга в то время не было, был Петроград, как теперь Ленинград. Работа великого мастера, подписанная реставратором. Все это до удивительности неважно и не имеет значения. Спит французское тихое местечко, в котором минувшей весной был артиллерийский бой, разбивший снарядом памятник убитым в прошлую войну; можно поставить новый — разом за обе войны, и это экономнее. Возможно, что именно здесь и закончатся мои странствия, хотя мое желание не таково. «В середине пути нашей жизни я очутился в дремучем лесу, так как прямая дорога была потеряна». Когда в 1916 году я возвращался в Россию, со мной, в ручном чемоданчике, были две миниатюрные книги: «Божественная комедия» Данте и «Размышления» Марка Аврелия. Таможенный чиновник, изображавший одновременно и цензора, повертел в руках один томик, не понял, осведомился и вернул мне; понадеялся, что книжки не страшные, не запрещенные; обе были в пергаменте и похожи на молитвенники. Я кое-как цитирую наизусть Данте, язык которого мне ближе знаком, но Марк Аврелий писал, к сожалению, по-гречески; и однако римский император помогал мне в земных испытаниях, этот мудрый и уравновешенный стоик, впрочем, не столь уж дальний родственник скептического автора «Экклезиаста». «Если страданье непереносимо, оно убивает; если ты его выдержал,

---

* В середине пути (*ит.*; первая строка «Божественной комедии» Данте).

** Бледно-розовое вино (*фр.*).

значит, оно переносимо». — На стене, грубо оштукатуренной и сильно закоптелой и запыленной, висит отрывной календарь, доску которого я расписал знаками зодиака. Опять весна, но четвертью века позже. Здесь со мной нет ни книги Данте, ни Аврелиевых сентенций; оба томика пропали при одной из жизненных катастроф. Я называю катастрофами потерю того, что было близко и дорого; обычно для меня это книги и непутевые, ничего другим не говорящие вещи и вещицы. Катастрофой же называется и другое, что трудно объяснить и сложно излагать. В городке, растянутом по течению реки Шер, до трех тысяч жителей; возраст его — много столетий, но он как вырос из деревни, так и остался слитым с нею. Не знаю, дойду ли я в своей повести о жизни до рассказа о том, какими ветрами занесло меня сюда. Городок спрягался в самом сердце Франции. И если мне в нем не очень уютно, это не его вина.

Как тогда, в Балтийском море, на пути из Финляндии в Европу, боковая качка, головокружение, и кажется в тумане, что пароход стоит на месте. Или, как много позже, в заливе Финском, в компании самых мирных людей, изгнанных из СССР писателей, философов, университетских профессоров с семьями, — и тоже туман и неизвестность впереди. Зачем-то и за что-то разрушенные жизни, разметанный быт, которому пора бы уже стать покойным, и ужасная оскомина на душе от всех этих «исторических событий», о которых будут писать телескопическими словами, ни разу не заглянув в микроскоп на беды и горести пострадавших от них букашек. Весна стоит холодная. Мне все — все равно. Я не уверен, нужно ли еще думать, вспоминать, писать. Я безмерно устал от этих жизненных перегонов, подъемов, спусков, путешествий, накоплений и потерь, встреч и разлук, от туманов, от воя пароходных и военных сирен, от писем, от

чужих несчастий, от бега часов, срыванья календарных листочков, от вечных записей жизненной приходно-расходной книги. Когда-нибудь уляжется ли боковая качка? Я не прошу о минуточке, господин палач, я охотно ее вам уступаю.

Тогдашний Петроград показался мне забавным, но милым своей нелепостью. Я не имел права в нем жить, но уже на второй день приезда сидел в журналистической ложе Государственной думы и слушал искусно построенные речи депутатов, боязливо делавших революцию, в которую не верили ни они, ни не уважавшее их правительство. Но все-таки война спутала российскую полицейскую стройность, я чувствовал это по себе; надо мной висел заочный приговор к ссылке в восточную Сибирь,— это подтвердил мне товарищ министра внутренних дел, которого я удивил чисто европейским телефонным звонком и сообщением о моем приезде; в России это считалось непозволительной дерзостью. Я просил его принять меня и, приехав, продиктовал его дактило-разрешительную бумажку на проезд в Москву; он удивленно подписал. «Но вы не имеете права жить в Москве, вас вышлет оттуда командующий военным округом». — «Я и здесь не имею права жить, однако вы меня почему-то не выслали». — «Да, это верно, но случай добровольного возвращения эмигранта как-то не предусмотрен; тогда уж поезжайте в Москву скорее». — «Я уеду сегодня же, а там увидится». Он согласился, и я понял почему: я был все-таки европейцем и корреспондентом крупной газеты, а Россия была союзницей великих демократий и делала им глазки.

И вот наконец Москва, мой настоящий родной город; для многих родиной делается город их университетского посвящения; для меня, сверх того, Москва была городом посвящения революционного и первым этапом взрослой жизни. Здесь был разрушен мой первый оседлый быт, здесь я создам себе третий, разрушив второй в городе Вечном.

В редакции моей газеты («Русские Ведомости») сидели мудрые старцы. Они сказали мне: «Вы давно не жили в России. Поезжайте ее посмотреть и не торопитесь о ней писать. Вернувшись, побываете и на фронте».

И я поехал. Вслед за мной ехал приказ о моем задержании и высылке, но он никак не мог меня догнать. Испортилась полицейская машина! Когда, объехав весь север европейской России и побывав на Западном фронте, я вернулся в Москву, приказ еще кочевал, потеряв мои следы. Я успел снять квартиру, прочно обосноваться, писал, читал доклады о европейских настроениях, опять посильно помогал крысам подтачивать священные устои, и только накануне революции догнал меня приказ, так и оставшийся невыполненным.

Но мне хочется вспомнить, что вспомнится о месяцах, проведенных в дороге, о той России, которую «умом не понять» и «аршином не измерить».

Как всякий поэт, Тютчев, конечно, преувеличивает: пространства России измерены, и умом ее понять можно. Но «стать» у нее действительно особенная, потому и не понимал ее до конца полупетербуржец-полуиностранец, полупоэт-получиновник, писавший иногда превосходные стихи на слабом русском языке. Давно изжив квасной патриотизм, я не боюсь порою хвастать и восхищаться Россией-землей. К сожалению, ее всегда выдумывали, выдумывают и сейчас, выдумаю, вероятно, и я. Ее хотят представить себе целиком — а цельной России нет и никогда не было, она состоят из нагромождения земель, климатов, гор, равнин, народов, языков и культур. Ее изображают медведем; с тем же успехом можно изобразить и белугой, снопом, жаворонком, виноградной лозой, почкой малахита. Из нее, многобожной и языческой, старательно выкраивали «матушку-Русь православ-

ную», как сейчас хотят представить ее безбожницей и комсомолкой. Великолепный базар ее племен малевали «народом-богоносцем»; ее строевой и мачтовый лес расщепливали на палки хоругвей; ее ширям подражали кучерской поддевкой и резным круговым ковшом; ее Ваньку-дурака, хитрую кряжистую бестию, наряжали в театральный костюм Ивана Сусанина или жаловали то царским престолом, то марксистской ортодоксальностью. Над искажением лика России немало поработали два замечательных русских классика — Гоголь и Достоевский, и не роди русская земля Льва Толстого, так бы нам и не видать ее подлинного лика. Едва ли не самое большое несчастие России в том, что ею всегда управляют, хотя лучше всего она управлялась бы сама, как сама течет большая река, растет трава на заливном лугу, само светит солнце, без помощи электрических станций. Не знаю, как это было бы, но знаю, как происходило и происходит противоположное и как на головы мудрых (не умных, не просвещенных, а от природы мудрых) напяливают дурацкие колпаки. Я очень люблю Россию — ту, которую знаю, — и это естественно для ее законнейшего сына, — но не уважаю за ее ленивую волю: она позволяет кататься на своей вые каждому любителю верховой езды. Иногда, встав на дыбы, она опрокидывает всадника — и сейчас же позволяет взнуздать себя другому. Пожалуй, действительно, медведь — лучший ее образ: сила необычайная и легкая приручаемость: кольцо в ноздри — и танцуй под любую музыку.

Но просторы! Целый месяц я пробирался по северным губерниям через заросли деревьев и людей; и люди и деревья были смолисты, корявы и ветвисты на один бок. С ними хорошо было и говорить, и молчать, и думать не спеша — и с людьми и с деревьями. После европейских балаганчиков и аккуратно заглаженных на штанах складок — деревянные просторы, армяки и татарские халаты, природная кривизна линий, по воле растущие бороды, великое разнообразие типов, и уж

если тупость — так тупость, а если ум — так свой собственный, не из книжки с картинками. Зеленый ковер, расшитый серебряными змеями рек. Нищая рвань на мешках с золотом. Главное — нет этого душка плесени и мертвечинки, скопившейся тухлой истории, которая повсюду шибает в нос в Европе. Родится человек, живет, дохнет и перегнивает на сельском кладбище по всем правилам естественной науки, без надгробий и некрологов, и кладбище всегда лесное, а не штукатуренное, гнить на нем приятно. И города не на шахматной доске, а выросли из деревенской грибницы, сами назвали себя и свои улицы, найти в них никого невозможно, а спроси бабу — укажет. Кому это — беспорядок, но у меня от линованного порядка Европы были на глазах мозоли и на душе оскомина, я радовался нашей первобытности и нелепости нашей, в которой есть свой высший порядок, утвержденный природой, а не чиновничьей астролябией. Тут дело не в буколической поэзии и не в живописности, а в том, что цена цивилизации мне была уже знакома, и радовалась анархическая душа нашей неизмеримой «технической отсталости». Я тоже выдумывал свою Россию, и мне казалось, — вероятно, ошибался, — что эта Россия пойдет иными путями и к иным целям естественно и просто, безо всяких миссионерских заданий, без кичливости, спокойным шагом. Никакого «нового слова» не скажет, а жить будем все-таки по-своему, во всяком случае — пока это можно, пока и нас не захлестнет европейская цивилизация и не сделает образцовым муравейником. И я дышал, как раньше никогда не дышал, до растяжения грудной клётки и сладкой боли. Но я видел не только это. Ведался больше с земскими местными людьми — и поражался их работе. Они делали огромное дело, стесняясь его малости, воображая, что вот там, в Европах, где и руки не связаны, и средств больше, что только там работают по-настоящему; они не подозревали, что подобное бескорыстие, преданность такую и такую

веру ни в каких Европах не встретишь, разве как исключение, что ни один народный учитель не будет там работать в подобных условиях, ни один врач не станет объезжать на худой крестьянской лошаденке стоверстные округи, что они — истинные подвижники и подлинные герои. Перед ними не было ни карьеры, ни чинов, ни материального благополучия, напротив — полная уверенность, что так и пройдет вся жизнь в медвежьем углу, и хорошо, если раз в десять лет доведется побывать если не в столицах, то хоть в губернском городе на каком-нибудь агрономическом, учительском, врачебном съезде. И они все-таки успевали читать «толстый» журнал, осведомляться, что делается в этих самых просвещенных Европах, толкать свою науку и огорчаться, что так мало знают и так ограничена область применения их сил: каких-нибудь десять-двадцать тысяч гектаров крестьянской земли, три сотни детских дифтеритов, пять-шесть школьных поколений, да помощь делу кустарному, да участие в кооперативном движении и уж, конечно, устройство в своем районе общими средствами нескольких хорошо подобранных народных библиотек.

Я побывал и в своем родном городе, в единственном, где показался себе совсем чужим. Там большой революционный мужик, миллионщик и инженер, построил на свой счет университет с лабораториями и клиниками; на открытие этого университета я и приехал. Этого миллионщика, дававшего и на просвещение, и на революцию большие деньги, что не мешало ему прижимать рабочих на своих приисках и копях, — его, кажется, после прикончили. Забавные люди жили в России! Помню одного сибирского промышленника, составившего себе огромный капитал на устройстве паровых мельниц. Туго набив мошну, он приехал в Москву, сошелся с революционерами, оттенки которых его не интересовали, и все деньги ухлопал на издательство легальных и нелегальных популярных книжек. Таких людей было немало — попробуй их понять! В Саратове

я сдружился с культурнейшим европейцем, почему-то служившим секретарем в губернском земстве. Большой знаток и ценитель искусства Востока и искусства жизни, он угостил меня тончайшими винами и такими же фруктами, привезенными то ли из Ташкента, то ли из Самарканда; никогда после я таких не видал и не едал. Он был образованнейшим человеком, барином и в то же время демократом до мозга костей. Его дом был музеем искусства. Мы провели с ним ночь в одной из тех бесед, на которые способны только русские: говорили о Париже, о Будде, о реках, о границах свободы личности, о Платоне, об Иветт Гильбер, вятском земстве и курганных раскопках. В революции он принял самое близкое участие, но после Октября был нечаянно расстрелян: он был слишком ярок опереньем среди серых провинциальных птиц.

Кама и Волга дали мне часы и дни наслаждений, — я видел их тогда в последний раз в своей жизни, — тогда бы нужно было вспоминать и писать о детстве и юности; нашлись бы настоящие слова и живые краски. Но мои чемоданы были набиты земскими отчетами и статистическими сводками; газета требовала работы серьезной, на каждом этапе меня снабжали целыми библиотеками и подносили мне изделия местных кустарей: великолепные вещички литого чугуна, крашеных ванек-встанек, берестовые бурачки, яркие деревянные ложки, горки уральских камней, Евангелия из цельного куска соли, сладкие пряники художественной работы, детские лапотки из лыка, яйца-писанки и прочие вещички, которые после бывали на международных выставках и прельщали европейскую публику. Но в то время Россия была еще только Россией — простое имя, годное на все случаи, не отяжеленное нудной связью слов иностранных и надуманных, не сокращенное в буквенный вывих языка. Она росла быстро и подземно, как толстый и прямой побег спаржи, одним стволом; потом она сломилась и от корней дала букет корявых, но сильных кривуль; может быть,

это лучше, я не знаю. И того, что случилось, уже никакая сила не переменит, – как не повернуть теченья Камы, носившего когда-то и мою лодочку. В Москве меня спросили:

– Ну, понравилась ли вам Россия?

Я ответил:

– Лет бы двадцать свободных, чтобы изучить ее уголок. Понравилась, понравилась! Приехал иностранцем, а теперь чувствую, что тутошний. Тутошним хотел бы и остаться.

Я со смущением приступаю к дальнейшим запискам о жизни. О прошлом хорошо писать в спокойствии настоящего, в легком от него уходе. Русский летописец живет в келье под елью, иностранец – в башне слоновой кости. Моя деревенская хибара стоит на берегу реки, разделившей две Франции, занятую неприятелем и свободную, и из-за реки доносится немецкая речь. Это можно преодолеть, но нельзя вообще отвернуться от свершающейся истории, и мои записки легко могут превратиться в дневник.

Я вернулся в Россию в день летнего солнцестояния, 22 июня 1916 года. Сегодня тот же день солнцестояния двадцатью пятью годами позже. В прошлом году, в те же дни, это местечко было занято с боя немцами; мы были здесь и прятались в лесочке на самой линии артиллерийского боя. Нынешним утром я вспомнил об этом, перечитывая раньше написанные страницы, – но утром мы еще не знали, что в день летнего солнцестояния Россия вступила в новую войну.

В день, когда распахивается дверь в будущее, в этот страшный и волнующий день, я пытаюсь думать только о прошлом. Может быть, это не так уж и трудно. Вглядываясь в собственную душу, вижу, как она утратила способность в полной мере отзываться не только на то, что называем «историческими собы-

тиями», но и на изгибы судеб моей родины, для которой сегодняшний день станет роковой датой. Это не эгоизм и, конечно, не равнодушие; это — крайняя усталость и как бы уход в потустороннее. Да я и не знаю, чего желать России; она превратилась для меня в символ, и уж не ощущаю её живой. Я любил землю, но не в ее ясных границах. Земля останется, останется и русский язык, на котором я говорю и пишу. Исчезнет много людей, — но с ними давно нет общения, и на смену им придут новые. Победительница или побежденная, раздвинув свои пределы или распавшись на клочья, Россия останется для меня прошлым даже и в том невероятном случае, если я еще успею ее увидать. Не все ли равно, что происходит сегодня и предстоит завтра, если дальше еще бесконечный ряд будущих дней недоступен нашему сознанию; где-нибудь нужно поставить межевой столб духовного своего имения.

Так рассуждает ум, и сердце, закутавшись в защитный покров, старается ему не возражать. Оно будет подсматривать в щелку, оно будет сдерживать свои биения, попытается быть примером благоразумия и выдержки. Если не всегда это ему удастся, — его не осудят те, с кем оно билось когда-то согласным трепетом. Я деловито хмурю брови и продолжаю.

У меня не было и нет никакой собственности, кроме крошечного участка земли во Франции под Парижем, где разбит нашими руками сад, кажущийся нам очаровательным. На участке я выстроил из тонких стволов спиленных деревьев избушку для хранения садовых орудий, а при избушке навес, чтобы укрыться от дождя. После милых людей это — самое любимое из оставшегося в жизни. У меня были еще книги, которые я собирал годами и терял при очередных катастрофах; из них последняя пережита совсем недавно, когда я и мои жена пришли пешком с железнодорожной станции маленького города в другой городок через неприятельскую линию, пронеся с собой чемоданчик с переменой белья, коробкой консервов и бутылкой

чистой воды, — и это было всей нашей сохранившейся собственностью; все остальное погибло в Париже — библиотека, архив, картины, вся обстановка нашего трудового уюта. Если бы мне пригрозили сейчас лишением всех жизненных благ, я бы от души рассмеялся. Правда, я не могу читать и писать без очков и не люблю курить без дешевого вишневого мундштука, но, в конце концов, и это лишение было бы не страшнее пережитых неоднократно. Что касается благ иных, не материальных, любви, дружбы, духовной связи с такими же бедняками и тружениками, каким всю жизнь был я, что касается моих дум, уверенностей, житейской философии, что касается поэзии, единственного полного распорядителя и единственной подлинной цели жизни, — то ведь этого отнять никто не может; с этим рождаются или этому приобщаются и с этим уходят в бесстрастие Великого Востока. Тому назад четверть века, в дни после октябрьского переворота в Москве, я зашел вечером навестить старую женщину, пианистку, жившую в переулке близ Трубной площади, в невзрачном домике, где она обставила себе уютно квартиру из двух комнат; одну из них почти целиком занял рояль. Все, что она имела, было приобретено ее заработками — уроками музыки. Однажды к ней пришли новые люди, строившие новую, счастливую жизнь в России, и забрали все ее имущество, не успев увезти, за громоздкостью, только рояль, но обещав за ним вернуться; впрочем, ей оставили еще диван, на котором она спала, и два стула, да кое-что из посуды. Она позвала меня провести с нею и ее близким другом, виолончелистом и композитором, в Москве очень известным, последний музыкальный вечер. Вечер — значило и ночь, так как нельзя было поздно выходить на улицу без опасения быть случайно подстреленным не то бандитами, не то пугливым постовым милиционером. Смеясь, она рассказала, как все это произошло. В сущности, они были славными парнями, эти усердные реквизиторы; они

были вежливы и старались объяснить ей, как несознательному буржуазному элементу, почему ее лишают части материальных благ, необходимых пролетариату. Она не возражала — это было бесполезно, но не могла отказать себе в удовольствии ответить им, что самого ценного она им все-таки не отдаст — и отдать не может, как и они не могут ее этого лишить. «Самое ценное вот здесь, — она показала на лоб и на сердце, — мой ум, мои знания, мой музыкальный талант, и это останется при мне — всегда и всюду при мне останется, что бы со мной ни сделали. Если бы я сама захотела, если бы согласилась, снизошла, — понимаете? — снизошла, пожаловала, я бы могла сделать вам подарок, сыграть что-нибудь, возвысить и вас, сколько возможно, до себя; но я этого не сделаю, потому что вы пользуетесь против меня силой, а я грубую силу презираю и ей никогда не уступлю. И вот вы заберете все и уйдете такими же бедняками, какими сюда пришли, а я, всего лишившись, останусь такой же богатой, — вы понимаете меня?» Они выслушали, но не все поняли и сказали: «Инструмент пока у вас побудет на вашей ответственности, сейчас грузовика у нас нет; а только все равно заберем для рабочего клуба». Электрического света в этот день не было. Я сидел на диване в пальто, подобрав ноги, так как квартира была не топлена. В соседней комнате моя приятельница аккомпанировала виолончели. В сущности, это был могильный склеп, в котором друзья-покойники чествовали музыкой новоприбывшего в их среду. Не знаю, не помню, что они играли, в перерывах согревая себя чаем, приготовленном на примусе. Был декабрь, расстрелянная Москва спала, нервно вздрагивая при стуках в дверь. История шествовала в полном спокойствии — ей опасаться было нечего, она всегда права. Мы ни о чем не думали, и звуки у каждого превращались в нужные и знакомые ему образы. Неправда, что тонущий человек за минуту успевает прожить целые прошедшие годы и вспомнить в них самое

ценное и дорогое. Я тонул в самой волшебной обстановке, в голубизне Средиземного моря, у высоких отвесных скал, у выхода из каприйского Голубого грота, и я помню только одну несказанную фразу: «Так значит, это и есть...» — и чудом спасенный, я эту фразу повторял про себя. Музыка выключила нас из жизни и погрузила в мистическую бездну, но никаких ясных мыслей не дала. Человек подвертывается спиной к будущему, лицом к прошлому, но не видит ни того, ни другого: образы проходят перед спящими глазами, и эти образы закутаны однообразными покрывалами, их толпа бесконечна и беспрерывна. Мало-помалу все превращается в аккорд, в стройность, рожденную из хаоса, но никакая оценка невозможна. Под утро мы вышли с композитором, который, дрожа от холода, обнимал свою виолончель и прятал лицо в воротник шубенки. Я проводил его до дому и больше никогда не видал. Я тоже нес домой сокровище, полную чашу, которую не хотел расплескать, — идею романа, в котором какая-то роль будет отведена и моему спутнику. Но только спустя три года, в казанской ссылке, были написаны его первые строки. В чужом городе я окрестил свой первый большой роман именем одной из замечательных улиц города родного: «Сивцев Вражек».

Но не слишком ли горделиво утверждать, что никто не может отнять наши духовные ценности? Так хочется думать, и хочется воображать себя несокрушимой скалой, кряжистым стволом, который ни согнуть, ни сломать невозможно. Вспоминая свои тюрьмы, ссылки, высылки, допросы, суды, всю историю насилий и издевательств, каким можно подвергнуть человека мысли независимой, в сущности, довольно ленивого и не заслужившего такого внимания, — я не думаю, чтобы погрешил слабостью или сдачей, или проявил себя малодушным, или попытался скрыть свои взгляды и смягчить участь сделкой с совестью. Этого не было. Но душа все же опустошалась на каждом этапе,

воля все-таки надкалывалась, и искривлялся жизненный путь, который я старался себе наметить, искривлялся не только внешне, но и внутренне. Мы начинаем чистой и прочной верой, но до конца проносим только обрывки знамен, которыми дорожим по любовной памяти и потому, что менять их было бы поздно, да, пожалуй, и не на что. Так, например, я определяю свое отношение к русской революции, которой был участником. Я знаю, что нелепо дробить ее на части, одну признавая, другую отрицая или подвергая сомнению: революция последовательна и едина, и Февраль немыслим без Октября. Был неизбежен и был нужен полный социальный переворот, и совершиться он мог только в жестоких и кровавых формах. Я это знаю, и я принимаю это фатально, как принимают судьбу. Но чувство не могло никогда оправдать возврата к организованному насилью, к полному отказу от того, что смягчало в наших глазах жестокость минут переворота, — отказу от установления гражданской свободы, осуществления основ наших мечтаний. Менять рабство на новое рабство — этому не стоило отдавать свою жизнь. И неизбежность не может служить нравственным оправданием. Можно убить в пылу страсти, в самозащите, в отчаянном нападении, но холодное, расчетливое палачество внушает отвращение, — а нам предлагали им восхищаться и его воспевать. Для меня революция — вечный протест, вечная борьба с насилием над личностью, во всякий момент, во всяком строе, — и я не зову этим именем защиту позиций, занятых новыми властителями. Революция — крушение, а не остановка и не строительство. Величайшая ересь — мыслить ее «перманентной» в смысле охраны и созидания нового государственного строя. Взявший власть — уже враг революции, ее убийца, основоположник контрреволюции. Наша история это подтвердила. Все это я знаю, но знание не окрасит заново поблекшего знамени и не спасет от натиска противоречий; крах прежних духовных ценностей неизбежен.

Большие полотна не пишутся кисточкой для миниатюр и случайными, под рукой, детскими красками. В моей памяти нет никакой последовательности событий, их хроника ей чужда. Помню момент перелома — на обширном дворе Спасских казарм в Москве, куда пришла толпа; у солдат дрожали в руках винтовки, офицер не решался отдать команду. Нам ударил в грудь холостой залп, как могли ударить и пули. В тот же день человеческая река по Тверской улице — день общего слиянья, красных бантов, начала новой жизни. В сущности, славен и чист был только этот день. Нужно было писать, — но перо еще не привыкло к простому, несвязанному слову, оно кляксило газетную бумагу, оно истошно кричало. И дальше — отрывочные картины, переплет революций Февральской и Октябрьской, сумятоха дней и месяцев крушения векового здания. Вижу себя в черном кожаном шоферском костюме, которым меня одарили на Западном фронте, в сапогах и с наганом в руке; ночью обхожу комнаты здания московской охранки, полусожженной чинами политической полиции. Еще недавно меня вызывали сюда, требуя, чтобы я выехал из Москвы. Оступившись при слабом свете карманного фонарика, я срываюсь из второго этажа в разрушенную комнату первого, пролетев между торчащими балками и железными скобами и упав на кучу угля, битого стекла и полуобгорелых деловых папок; кожаная одежда спасает. Необходимо сохранить документы сыска для истории — страницы позора старого режима. Менее всего думалось о мести в эти дни, казавшиеся и бывшие светлыми; на прошлом крест, но музеи будут говорить о нем красноречиво. Архивы свезены в Исторический музей, где уже разбирают их люди с жадным и нездоровым интересом. Потом внезапное отвращение к этой грязи и гнили, — не было ли во мне предчувствия, что нарождающийся строй, воздвигнув свои новые тюремные камеры и здания сыска, использует и кладбища прошлого, найдя в них много для себя ценного и поучительного? Потом

увлечение новой большой газетой, встречи с нахлынувшими из-за границы эмигрантами, быстро занявшими ответственные посты. Свободные общественные Союзы, союзы союзов, избранный клуб писателей, полеты идей, свитки планов, — и уже рождающееся сознание, что все это должно разлететься прахом, что толпе нужны ловкие поводыри и реальные блага, а не наша интеллигентская культурная суета. Волна солдатчины, бегущей с фронтов домой, потому что революция и свобода значат в переводе — конец войне, иначе это было бы напрасным обманом народа. Горят усадьбы, вырубаются леса; революция торопится обеспечить свои победы, — и гордые победители красуются на боевых колесницах, кони которых вырвались и умчались далеко вперед. Сколько слов, сколько прекрасных слов, какое безбрежное море лучших слов русской речи, какая бездонная пропасть делового бессилия! Хмельной волшебный праздник, опустели все тюрьмы, бывшие воры выносят на митингах резолюции о своем перевоспитании, приветствуя новую Россию, деревенские делегаты подписывают заявления, писанные для них недеревенскими людьми, рабочие, готовясь к диктатуре, пока делают на заводских станках на продажу зажигалки, ученые пытаются рассуждать, пишут программы, заботливо насаждают в незнакомой им России прекрасно знакомую Европу. Талантливые в нашей прежней борьбе, остроумные в нападках на свергнутый строй, блестяще-злые, увертливые, когда нужно — самоотверженные и готовые на подвиг, — мы внезапно делаемся солдатами в отпуске, счастливыми, праздношатающимися, со всеми в дружбе, на все согласными, пьяненькими от свободы. Очаровательное время распада государственной машины, безвластия, самопорядка, срывающегося в сумбур. Совершенно ясно, что это — конец революции, что кто-то придет и скрутит пуще прежнего, — но не в том дело, эти дни все-таки следовало пережить, эти лучшие дни огромной нашей страны. Лучших и даже таких же, она не знала и никогда не узнает.

Потом внезапно наступившая тишина — что-то должно случиться. Называются имена, появляются опасные люди, для которых еще могли бы пригодиться тюрьмы. Беспокоят анархисты, раздающие у подъездов домов барское барахло всем желающим. Бывшие воры, не успев перевоспитаться, становятся ночными бандитами в рессорной обуви, которая помогает им заскакивать в окна вторых и третьих этажей. Подобно им, скачут цены на исчезающие товары, и деньги становятся бумагой. Еще где-то возятся с царем, таская его по России, не то во имя человечности, не то потому, что его некуда девать. Существует какой-то внешний фронт, на котором упрямо гибнут избранные кадры молодежи, какая-то честь в отношении союзников, — но война уже отошла в отдаленные кладовые сознания, потеряла смысл и скоро сменится войной гражданской. Сначала кучками, потом и отрядами появляется красная гвардия, саморожденная, как будто бесцельная, не знающая, что ей делать. Улиткой приближается Учредительное собрание, не потому, что оно нужно, а потому, что оно значится во всех политических программах. Избирательные бланки, многоцветные воззвания, имена, которые были известны эмигрантам в парижском Латинском квартале, на женевской Каружке и которые теперь корявым почерком выписывают на бумажку бывший чиновник, кухарка, рабочий, дворник; богомольные старушки кладут свои бюллетени на божницу, предоставляя выбор небесным силам. Это не я валю все в кучу, это вихрь свободы нагромождает бурелом. Устав от ожидания, Россия называет себя республикой, но, привыкнув к царям, ищет новое имя — и шепотком называется имя Ленина, обитателя местечка Лонжюмо под Парижем, приехавшего в пломбированном вагоне через Германию. Еще что-то, кажется, немцы на Украине и недовольство союзников. Профессора мыслят: не преждевременно ли революции оказываться социальной? — но этого не находят любители сильной власти, пока еще не отка-

завшиеся ни от революции, ни от свободы. Приходит пора стране поговорить серьезно о своих делах. Она делает длинное красноречивое вступление, но появляется солдат и разгоняет Учредительное собрание, оставив не произнесенными заготовленные прекрасные речи. Долгожданная власть наконец наметилась, и поэтам остается «подчиниться насилию», выразив горячий протест.

Потом Октябрь, слухи о Петербурге, первые пули вдоль московского Тверского бульвара, снаряды над крышами, раненый купол Бориса и Глеба на Арбате. Населению не ясно, кто в кого стреляет, но жизнь уже возможна только в простенках между окнами, заложенными кипами газет. Пять дней осады, пока кто-то оказывается победителем и кто-то побежденным, так что можно попытаться перебежать улицу до мелочной лавочки, торгующей со двора. Революция проиграна — да здравствует революция! В истории появляется новая великая дата.

Чувствую, как непосильна мне даже путаная хроника. Ее перебивают сотни картин. Я все еще голоден Россией, так мало видел ее после своих европейских скитаний. И вот я в сосновом бору, в охотничьем домике, отлично выстроенном и отделанном внутри с плотничьим искусством. Хозяин поместья был вынужден бежать, не от крестьян, с которыми жил в мире, а в своем качестве бывшего члена Государственной думы; семья, оставив большой усадебный дом, переселилась сюда, в четыре комнатки; я приглашен на отдых. Пышная весна, мхи раскинулись перинами, иван-да-марья на лугах выше роста, озимые уже колосятся, поблизости змейкой вьется речка в ивняковых берегах. На заре стонет строевой лес, который крестьяне рубят, валят, распиливают и колют на дрова. Самим им столько дров ни к чему,

вывоза отсюда не может быть, но торопятся, чтобы не было возврата, чтобы доказать свои права; валят кругом, оставляя нам лесной островок. Могучие деревья падают с протяжным уханьем, щемит сердце слушать этот плач гигантов, их жалобу на человека. Но мы знаем, что это нужно и неизбежно, что это — революция. Молодые рубщики и пильщики иногда приходят к нам, не спорить, не выхваляться, а побыть с помещицей на равной ноге, покрасоваться правами. Их удивляет, что никто им не препятствует, им хочется понять, поговорить хочется, показать свою «сознательность». Они неграмотны, но научились выговаривать мудреные слова, называют себя «левыми эсерами», клянутся Марией Спиридоновой, имя которой как-то до них донеслось. Узнав, что я лично знаком с их кумиром, смотрят почтительно и несколько боязливо: не новое ли начальство? Обещают не беспокоить, а уж лес все равно придется повалить. «Не жалко вам его?» — «Что его жалеть, он помещичий». — «Теперь он ваш». — «Кто его знает, так лучше, вернее». По лесу гуляет революция, и тут же, за опушкой у старого кладбища, проживает мирно сельский батюшка, сам крестьянствуя, и рубщики идут к нему звать на крестины и похороны. В нашем домике пианино, по вечерам уцелевшие сосны слушают музыку. Хозяйка — художник, ее картина есть в Третьяковской галерее. Над потерей всего достояния посмеивается, знает, что отнимут и этот домик: «Мы сами добивались революции — вот она и пришла; жаль только соснового бора, он лучший во всем уезде». Кончает картину: солнечные блики на могучих стволах. Тем же летом в подмосковной деревне на берегу Москва-реки валяюсь на солнечном косогоре, завитом хмелем, смотрю на золотые ржи, брожу по заповедному лесу, которого никто здесь не трогает, — да и пробраться едва возможно в его темную чащу. В деревне все по-старому, только у девушек завелись чулки со стрелками, да у местного кулака оказались в риге полузаваленные

сеном поцарапанный и разбитый рояль и пухлый комод красного дерева, — неизвестно, как и откуда попали. В реке щуки гоняют мелочь, в далях того берега белеет село Архангельское. Нет более мирной картины. Меня тянет к воде, как пьяницу к алкоголю: море, река, речка, речушка, ручей. Но приходится возвращаться в город, где еще выходят газеты. Случается, однако, что ночью врывается в типографию отряд красной гвардии, разбивает цилиндры свинцового набора. Мы предусмотрительны и посылаем копии матриц в несколько типографий. Номер газеты, будто бы уничтоженный, рано утром продается на улицах. Власть еще неумела, происходит постоянное состязание. Все это скоро кончится. В осенний день в подвальном помещении маленькой типографии при потушенных во всем здании огнях с кучкой рабочих-добровольцев я выпускаю последнюю однодневку «За свободу печати»; вся московская литературная знать дала статьи за полной подписью — последнее, что мы можем сделать. В свободнейшей из стран приходится работать подпольно, однако забрала еще открыты. Но новые тюрьмы уже строятся, старых не хватает. За какое-то «ложное известие», давно подтвержденное официально, отвечаю как редактор перед новым трибуналом; обвиняет Крыленко, комиссар юстиции, забавный фанфарон; защищает приятель-адвокат, старавшийся убедить суд, что перед ним не буржуй, а интелигентный бедняк, может быть, в единственных штанах... я делаю защитнику отчаянные жесты, потому что его слова повергают меня в смущение: на мне не только единственные, но рваные панталоны, так что стараюсь не повертываться спиной, спасая свою редакторскую честь; мы уже донашиваем одежду, обувь, скоро будем сами шить себе фантастические костюмы из портьер и мешков, носить зимой сандальи, добывать к лету валенки, подшитые кожей, содранной со старинных переплетов.

Те, кто бежали тогда из России, сначала на юг, под защиту добровольческих армий, потом за границу,

никогда не могли понять всей силы и полноты пережитого нами, оставшимися делить судьбу родины. Перенеся и испытав все тяготы и ужасы жизни — нищету, голод, террор, — мы видели и иное, придававшее жизни глубокий смысл: спайку душ, самоотвержение, взаимопомощь, поравнение в жизненной борьбе, пробуждение ранее спавших сознаний. Страдая от новой власти, мы и в мыслях не имели проклинать революцию, и возврат к прежнему, если бы он был возможен, сочли бы величайшим несчастием для России. Далеко ушла от нас война, и заключенный новыми господами страны отдельный мир не вызывал в нас ни протеста, ни большого интереса: иного быть не могло, и народ не двинул бы пальцем ради прекрасных глаз Европы. Начавшаяся гражданская война также вызывала мало интереса — лишь постольку, поскольку она тяжко отражалась на нашем быте, усиливая нищету, мешая жизни хоть немного восстановиться и стать на рельсы; вызывая усиление террора. Добровольчество, при всем потоке громких слов, шло под знаменем возврата монархии и земельной собственности с целью полного сокрушения революции; десятки народившихся окраинных и сибирских правительств были никому не нужны и не менее опасны, чем наше, не вызывали ни доверия, ни надежд. Мы отдавали должное героизму единиц и масс по обе стороны гражданского фронта, мечтая лишь об одном — чтобы все это скорее кончилось тем, чем должно было неизбежно кончиться. Оскорбляло вмешательство иностранцев, бывших военных союзников, пытавшихся распоряжаться нашими судьбами. Мы хотели бороться сами, отстаивая свои личные и вновь нами созданные общественные крепости, и в какой-то мере этого добивались. Было прочно сознание, что при всех испытаниях, во всех условиях, вопреки разрушительной деятельности власти нужно спасать Россию и то, что осталось от революции. Позже, высланный за границу, я понял, какая психологическая пропасть оказалась между нами и эмигрантами, до какой степе-

ни им было чуждо и непонятно то, что нам пришлось внутри пережить. Они отреклись от России, — мы оставались тесно с нею связанными; они видели в России только кучку властителей, одинаково и им и нам ненавистных; мы видели и знали новых людей, силящихся поставить на ноги раненого колосса, видели народ, пробудившийся к сознательной жизни, огромные возможности расцвета этой жизни, только бы не убил до конца этих возможностей возврат политического деспотизма. Нам казалось, что, вопреки всему, революция явилась для России благом, что в длительном процессе жизни это скажется. И во имя борьбы за это мы хотели жить в России. Я говорю «мы» о тех интеллигентах, которые и прежде вели борьбу с властью и для которых настоящее положение было только этапом все той же борьбы. И я не сомневаюсь, что таких людей осталось в России много и много ими сделано. Мне особенно приятно писать это сейчас, в дни «крестового похода» темных сил Европы на русскую землю под предлогом борьбы против большевизма, в действительности столь родственного свастике. Не власть защищает русский солдат и русский народ, а свою землю, свое право быть ее хозяином, и никакой исход событий не умалит силы и значения тяжкого русского подвижничества. Тороплюсь сказать это прежде, чем станет модным преклоняться пред свершившимся и к нему приспособляться.

С любовным чувством вспоминаю нашу личную крепость. Горсточка писателей и ученых основала книжную торговлю в дни, когда все издательства прекратились, были национализированы и закрыты все магазины. Мы сами создали себе привилегию и пять лет ее отстаивали. Нужно было чем-то жить, помогать жить другим, и было приятно окружить себя книгами, частью нашей сущности. Об этой московской «Книжной Лавке Писателей», вызвавшей позже подражания, писал не раз я, писали и другие. Она заполняла нашу жизнь. Она стала центром московской интеллектуальной жиз-

ни. Мы не просто скупали и перепродавали старую книгу, мы священнодействовали, спасали книгу от гибели и разрушения, подбирали в целое разбитые томики, создавали библиотеки для университетов и учреждений, помогали любителям составлять коллекции. В те дни было загублено бессчетное количество больших и малых книгохранилищ. Мерами власти книги отнимались, валились в кучу, сгнаивались в затопленных водой подвалах. Скупая оставшееся, подбирая томик к томику, сбывая мусор, мы разрушению противопоставляли созидание, пусть в размерах скромных, но все же существенных. Находились смельчаки и страстные любители книги, которые, прикрывшись добытыми «охранными грамотами», не всегда охранявшими, решались составлять себе библиотеки, о каких раньше не могли и мечтать; у нас они находили бесценные сокровища, расползшиеся по России из разрушенных поместий и частных хранилищ. На скромнейшие доходы мы жили сами и помогали жить Союзу писателей и его отдельным членам. Мы не забывали, конечно, и себя, каждый забирая в свой лавочный «паек» то, что отвечало нашей частной книжной страсти. Вижу книжные полки в своей уплотненной жильцами квартире, мысленно поглаживаю старые переплеты, перелистываю страницы редкостных изданий, мечтаю о недостающем и чаемом, любуясь ростом моих богатств. Голод, бедность, постоянное ожидание налета бдительной власти, недовольной независимостью наших позиций и нескрываемых взглядов, — все это забывалось среди книг. Какая радость спасти увесистый том «Четьих-Миней» от покушения на прочную кожу его переплета для обшивки валенок или заплаты на башмак. Уберечь, подобрать к нему другой и третий, пока не восстановятся все томы полностью. Томиками французских изданий осьмнадцатого века, которые сейчас продаются в Париже в отеле Друо за тысячи, у нас играли в деревнях ребятишки как удобными битками для бабок; они валялись в мусоре разру-

шенных усадеб вместе с архивами безграничной ценности. К нам робкий человек приносил на продажу сплетенные в альбом или просто оставшиеся без призора письма Екатерины Второй и ее сподвижников, доставшиеся ему по наследству или им откуда-то добытые, — теперь уже никому не нужные, последний источник его пропитания; мы отдавали ему всю наличность кассы, чтобы после продать музею за символический рубль. Дома я разбирал пожелтевшие листки, забывая тухлую конину, морковный чай, вкус мерзлой картошки, готовя слова, которыми порадую друзей, рассказав им о своих открытиях. Лично я собрал исключительную по ценности библиотеку русских книг об Италии, преимущественно путешествий, от времен Шереметева до дней наших. По моем отъезде она осталась на хранении в одном из иностранных посольств в Москве; кто скажет, что стало теперь с моими сундуками? Все равно: да будет благословенна книга, давшая в жизни так много утешений и радости! Но и горя немало дает утрата любовно собранных сокровищ. Все, что было собрано в России, погибло, как позже погибло, украдено культурными бандитами накопленное мною в Париже.

Книга спасала по ночам, когда не спалось. Поблизости шум мотора; прошумит ли он мимо или замрет у нашего подъезда? Шаги на лестнице, отдаленный стук в дверь, новый ближе. Может быть, — облава, повальный ночной обход квартир; может быть, отдельные намеренные визиты. Уже прогремело имя улицы Лубянки, уже работает неустанно Варсонофьевский гараж, облюбованный для расстрелов. Нужды нет, что вы не чувствуете за собой никакой вины, кроме несогласия мыслить по чужой указке, — новая власть косит направо и налево, не слишком разбираясь. Днем случайный звонок, комиссар с солдатами, и часом позже, в полуподвальной камере московской Чека, я знакомлюсь с другими заключенными. Пожилой человек говорит: «Можно просить вас занять место на нарах рядом со мной? Вы — свежий человек, без вшей, в моем углу еще чисто; будете

желанным соседом». — «Где я нахожусь?» — «В Корабле смерти». — «Кто вы?» — «Я Поливанов, бывший военный министр». — «А другие?» — «Часть — бандиты, часть — люди разных партий, а почему взяты, не знаю, да и они сами не знают».

Проходят дни в ожидании. Есть несколько книжек, в их числе «Виктория» Кнута Гамсуна. Я облюбовал в подвале отдельную, пристроенную из досок комнатку, куда никто не заходит. Лежу на лавке и читаю Гамсуна. Какая нежная книга! Это — комната смертников, но сейчас пустует, так как пока все, кто нужно, расстреляны. На стенах прощальные надписи. Мой арест случаен. Бывают также случайные расстрелы; бывают и такие же освобождения. Союз писателей еще пользуется некоторым вниманием; я член его правления. Меня освобождает лично Каменев, народный комиссар, член Совета рабочих депутатов. «Маленькое недоразумение, — поясняет Каменев, — но для вас как писателя это материал. Хотите, подвезу вас домой, у меня машина». Я отказываюсь, вскидываю на плечи свой узелок и шагаю пешком. За пять дней в Корабле смерти я действительно мог собрать кое-какой материал, если бы сам не чувствовал себя бездушным материалом. На расстрел был уведен только один бледный мальчик с порочным лицом: его опознал «комиссар смерти», иногда приходивший взглянуть с балкона внутрь нашей ямы; сам бывший бандит, теперь — гроза тюрьмы и герой террора, он узнал мальчика, моего второго соседа, весело его окликнул, и затем заключенный был вызван «по городу с вещами». Мы знали, что он не вернется. Знаменитый гараж поблизости, но обходятся и без него, так как на нашем дворе есть также удобный подвал для быстрой расправы. В Лавке меня встретили радостно друзья и книги. Дома знакомые томы и томики стояли в оставленном порядке. Инцидент исчерпан.

Первое пятилетие революции, свидетелем которого я был, полагается делить на периоды — на эпоху Временного правительства, Октябрьский переворот, военный коммунизм, новую экономическую политику и что-то еще. Историки объяснят, как все это происходило, чьим радением, чьей мудростью; но не верьте на слово историкам, не верьте слишком и их документам, потому что они приведут в стройность то, что не было и не могло быть стройным, они в хаосе откроют гармонию причин и следствий, они преподнесут облизанную конфетку — и проглядят человека. Мы, родившиеся на больших реках, знаем, что в ледоход и разлив никто не направит течения палочкой, как мальчик струю воды в уличной канаве. Свершается то, что свершается, и кто-то приписывает это себе и придумывает событиям названия. Нас влекла стихия, а люди на стороне делили должности, кричали слова команды, стреляли в упор или мимо, тормозили спинами раскатившийся вагон. Дореволюционная Россия была домовита, запаслива, богата, и война ее не истощила. Мы долго доживали и доедали ее запасы, пока пришло время, когда остались только кремешки для зажигалок и пустые коробки от папирос «Ира». Стали странствовать на колесах и пешком на юг с мешками, привозить оттуда муку, крупу, иной раз и сало, толстые слои сала с мясными прожилками и коричневой корой. Приползала зимой замерзшая картошка, дома оттаивала чернилами, но все же шла в дело. Чаще люди перочинными ножами вспарывали шкуру павшей на улице от бескормицы ломовой извозчичьей лошади, приносили домой черное жилистое мясо на котлетки. Привыкнув к очередям, молчаливо выстраивались на улице в ряд, подбирали из навозной колеи просыпанную с воза клюкву и несли домой в горстке, как четверговую свечку: все съестное стало священным. Нельзя было в нижнем этаже вывешивать между оконными рамами недоеденный кусок, вывешивать не из боязни порчи (в домах было холод-

но), а чтобы спасти от крыс: нельзя, потому что прохожий человек бил кулаком стекло, хватал, что висит, и бежал за угол, уплетая на ходу. В каком-то переулке с меня сняли шубу и пиджак — не возразишь против револьвера, приставленного к затылку, и вот — незаменимая потеря. С магазинов содраны вывески, из них понаделаны печурки, гордость всякого хозяйства; растопка — номер «Известий рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», одного названия достаточно для разжига, а на дрова идет лишняя мебель и выковыренные дубовые плитки паркета. И все-таки мы ходили друг к другу в гости, прихватив свой сахарин к чужому чаю из листьев брусники. Хватало пшена, которое заправляли любым маслом: бобовым, кокосовым, минеральным, лишь бы не драло глотку. Мы были очень изобретательны, и мы не скучали. Многие умирали от голода, но иные, слишком полные, от него поправлялись, делались стройными и деятельными. Хоронить погибших от тифа или от расстрела посылали по наряду буржуев, а трупы назывались жмуриками. К весне торопились скалывать на дворах лед, вывозить снег и кухонные отбросы, чтобы не затопило грязью, вонью и болезнями; дружная работа всех жильцов, прекрасное житейское поравнение — нет больше барства, как нет и слуг. И всюду находились люди побойчее, бывший ли дворник или бывший адвокат, которые выдвигались и нами командовали. Как любят люди властвовать! И как любят люди подчиняться! У властного оказывалась и одежда получше, и за столом сливочное масло, а то и долетевший из Киева копченый гусь, отнятый у мешочника заградительным отрядом. Потом у властных появились на рукаве нашивки, дальше — форма, после появятся ордена и звания. У пояса кобура, под мышкой портфель, эмблема власти, — государственный строй крепчает, идеи стекленеют и становятся декретами и законами. Широко, во все скуластое

лицо, улыбается черт, придумавший государство. Труден только первый выстрел по приставленному к стене товарищу, дальше пуля сама знает, куда лететь. Рядом с нашей книжной писательской лавкой, в Леонтьевском переулке, был барский особняк с залой, удобной для больших собраний; туда приезжали правители совещаться, как им мудрить над нами дальше; все люди верующие, крепколобые, без лишней чувствительности. Вечером к окнам дома пробрался через сад неведомый отчаянный человек, тоже без жалости, и швырнул бомбу. В ночь расстреляли в подвалах Чека сидевших в Корабле смерти и других узилищах, для отместки и в острастку. Кажется, это и называется военным коммунизмом. Когда же скуластый лысый человек, читавший в Париже томительные доклады и по их тезисам строивший теперь наше бытие, честнейший теоретик, чистейший бессребреник, за цифрами не видевший людей, — пусть мир погибнет, лишь бы теория торжествовала! — когда он додумался, что время дать некоторый простор частным побуждениям, поощрить инициативы, тот же поток стихии стал называться нэпом — новой экономической политикой; и вдруг появился белый хлеб и пирожки с капустой. Был еще другой человек, с лицом шестиугольным, подправленным усами и бородкой, с огромным самолюбием, злыми глазами и прочной в душе ненавистью, и прежде всего — страстный ненавистник военщины, скрипевший зубами при виде военной формы. Судьба над ним подсмеялась, сделав его народным комиссаром войны и командующим войсками. Тот первый, скуластый татарин, хотя и русский дворянин, остался штатским в прежнем своем пиджачке; этот надел длинное военное пальто и славянский шишак с пентаграммой, округливший его шестигранное еврейское лицо. Она, судьба, и дальше его не оставит. Он высылал из России неугодных людей, и ему я благодарен за дальнейшие скитанья по Европе; он будет сам выслан и кончит жизнь запутавшимся в мемуарах эмигрантом; но

и в далекой стране его настигнет и убьет третий властитель России, толстый грузин в суконной полуформе, усердный убийца, услужливо прозванный отцом народов и мировым гением, сейчас — соперник в бессмертии и славе германского маляра. Мимо этих бронзовых фигур течет река жизни, то затопляя половодьем, то мелея, в ее воде мелкие рыбешки, шарахающиеся от щук и окуней, им тоже нужно жить, жрать и метать икру, и бежит река своим вековым руслом, а многодумные люди скажут: это мы приказали ей течь в берегах, левом — крутом, и правом — пологом, из гор в долины, мы, властители и направители ее светлых струй. И в истории опишется все иначе, прилежнее, аккуратнее, с догадками, выводами, именами и датами — в руководство будущим поколеньям. А солдата, продававшего из-за пазухи «играный» сахар, бывшую даму, поменявшую будильник на щепотку муки, нас, читавших ночью старинные итальянские новеллы, ожидая стука в дверь, вас, разметавших по чужим странам душевные богатства, история не припомнит за малостью и ненужностью на страницах ее соломенной бумаги.

Из великих революционных принципов, посеянных по русской земле, заглушены были скоро всходы свободы, но хорошо уродилось равенство — в благосостоянии и в рабстве. Единицы процвели особо, обеспечив будущему новое дворянство, но в общем жизнь создала желанное поравнение. Если класс неимущих выиграл мало, то стремительно к его уровню скатились те, кто раньше жили на его счет. Кто не успел бежать, прихватив свое добро в легконосных ценностях, тот попал под великий закон поравнения. Из богатых квартир, не очищенных прямыми мерами, потекло на базары и в хитрую деревню накопленное и сбереженное, стала торговкой бывшая барыня, теперь гражданка, деньги утратили ценность, отпали титулы, попряталась голубая кровь, и кто мог, называл себя детищем прохожего солдата

и покрытки, потомком крепостных дедов. Всех равно одолели голод, холод, вошь, заползшая за воротник, крыса, хотевшая быть сотрапезницей. Равны стали и в одежде, с одинаковым за плечами мешком, слабосильные с санками или детской колясочкой — на случай пайковой выдачи или неожиданной продовольственной поживы. Мешки срослись с телом, люди стали сумчатыми. Если кто мог одеться лучше другие — воздерживался, боясь косых взглядов; если мог лучше поесть — скрывал, ревниво пряча съестное, жуя его в одиночестве и в темноте, чтобы не подсмотрел сосед в щелку. Уравнялись и в возможности попасть под карающую руку, за дело, без причины, в общей облаве, по дружескому доносу или просто зря, по шутке неудачливой своей судьбы, по силе принципа «лучше казнить десять невинных, чем оправдать одного виновного», — так перекроили знаменитую фразу Екатерины Второй, специалистки по показной гуманности. Кто похитрее, поспешил опроститься и стать незаметным, кто половчее — пристраивался в новых учреждениях, росших, как грибы в дождливое лето. В новом строе, уничтожившем былое чиновничество, всякий, кто мог, становился чиновником, советским служащим, ответственным, рядовым, преданным или притворщиком, только бы числиться трудовым элементом и получать свою долю селедок, моркови, повидла, листовой резины на подметки, махорки, в которую подкладывался душистый колосок, — и получалась едва ли не гаванская сигара. Старые ученые с мировым именем, философы, врачи, нестроптивые писатели стояли в очередях у лабазов за получением академического пайка, усиленного лошадиной ногой или ребром: пшено, клюква, что-то вроде чая с запахом кофея, мука, горстка сахару — и непременно селедка. превосходная русская соленая селедка, великое спасение от голодухи и гибели — ей бы, благородной рыбе, поставить бы памятник! В обмен

на селедку можно было получить все, что еще не совсем исчезло, ею можно уплатить долг и обеспечить себе новый заем. Селедки поедались в виде натуральном, в вареном, в жареном, их коптили в самоварных трубах, чтобы иметь запас, не подверженный порче. И еще вобла, золотая вобла, порою с червоточиной; воблой кормили в тюрьмах, на первое блюдо в супе, на второе вынутой из супа разваренной трухой. Под селедку и воблу страстно хотелось водки, но монопольные заводы не работали, запасы были выпиты и вылиты революцией, и ловкачам оставалось гнать сивушный самогон. Пили денатурированный спирт, но от него слепли, если не догадывались процеживать его через уголь противогазовых масок. Привычные пьяницы пробовали пить бензин и керосин; фармацевты делали богатые дела, отпуская знакомым малыми флакончиками зубной эликсир, эфирно-валериановые капли и все, что приготовляется на спирту для наружного употребления, — теперь для внутреннего. Смельчаки пили одеколон, — и в людских скоплениях, в очередях и на базарах, пахло тонкими духами и разило эфиром.

Два явления развивались параллельно; небывалый раньше эгоизм — в дружных прежде семьях один прятал от другого кусок, садились за стол со своими съестными сбережениями, косились на материнскую и сестринскую тарелку, укрывали в кармане луковицу, ссорились из-за неравной порции. И в то же время сторонний человек, видя нужду другого, подкармливал его, лишая себя последнего. Рискуя жизнью, укрывали гонимых, хлопотали за арестованных, простаивали в длинных хвостах у тюремных канцелярий с кулечками для своих и чужих узников. Одни спасали свою шкуру любыми мерами, от виляньья хвостом до прямой подлости, другие шли на пропятие для ближнего и дальнего. Всякая жизнь была подвижничеством, и кличка «товарищ», одним ставшая ненавистной, для других звучала священно.

И было еще одно, что трудно объяснить человеку, не пережившему в России тех дней. И торжествующих и от их торжества пострадавших объединяла вера в то, что все эти страдания, лишения, вся нищая суета жизни, все это лишь временно, лишь страшный переход от прошлого к будущему. От революции пострадав, революции не проклинали и о ней не жалели; мало было людей, которые мечтали бы о возврате прежнего. Вызывали ненависть новые властители, но не дело, которому они взялись служить и которое оказалось им не по плечу, — дело обновления России. В них видели перерядившихся старых деспотов, врагов свободы, способных только искажать и тормозить огромную работу, которая могла бы быть — так нам казалось — дружной, плодотворной и радостной. Смотря вперед, верили или хотели верить, что все это выправится, и потому так мечтали о прекращении гражданской бойни, мешавшей успокоению и питавшей террор. Может быть, ошибались, но думали так. И по мере сил, каждый в своей области, старались наладить и личную и общественную жизнь на совсем новых началах, раньше недоступных. Наладили ли — не знаю. Отсюда, из Европы, Россию не поймешь. Я не видал ее почти двадцать лет. Сыновнее сознание не мирится с тем, что тамошние люди жили и живут в политической духоте, в ставшем привычным подданстве и робком послушании. Старшие приспособились (или лгут? или притворяются? или переменились?), младшие ничего другого не знали, никакими идеями свободы не заражены, от иного мира отделены непроницаемой и непролазной стеной запретов. То, что нам казалось и было важнее и дороже жизни, и по сей час кажется — вот хотя бы возможность эти слова сказать, написать, где-то напечатать, — им то чуждо, незнаемо, незнакомо, не потребно. У курицы какие-то предки, вероятно, летали, но она не мечтает ни о полетах, ни о плаванье. Животные в подземных пещерах, никог-

да света не видавшие, лишены зрения. Рабочий муравей, раб коллектива, безличная машина, не вспоминает об атрофированных органах, не знает силы пола, и он, по-своему, может быть счастлив. Жаль людей суженного кругозора и ограниченных духовных запросов, кастратов мысли, но если цель жизни — счастье, то возможно, что новые поколения счастливее нашего; мы целью жизни считали не счастье, а широту и благородство духовных стремлений, возможность их развивать и им следовать. Мы могли ошибаться, но тогда — какая прекрасная ошибка! Стоит ее всегда повторять, стоит и умереть, ей не изменяя.

В двадцать первом году мы, жители столицы, видели в неспокойных снах, будто горстями едим сахар и ломтями малороссийское сало; проснувшись, заедали горячий настой брусничного листа черным хлебом с привкусом пыли и плесени. Великой хозяйственной изворотливостью появлялась за обедом гречневая каша, хоть и без масла, но все же сносное питание. Иной делал чудеса: выкармливал в чулане поросенка, вскакивая по ночам взглянуть, не взломана ли дверь кем-нибудь из добрых соседей; у других на кухне, под столом, сидела на яйцах курица. На улице солдат-дезертир, побывавший на юге, показывал знаками проходящей хозяйке, что у него есть за пазухой нечто редкостное, — и хозяйка шмыгала с ним в чужие ворота или темный подъезд, где солдат распоясывался, извлекал из обмоток размякший шоколад, из шаровар мешочки с крупой; деньгам солдат предпочитал обмен на белье, на штатскую пару, на золотое колечко — торговля была сложна, опасна, все передавалось с оглядкой, из полы в полу. На базарах, которые то поощрялись, то оказывались незаконны-

ми и подвергались облавам, шел тот же сложный обмен буржуазного барахла на масло, картошку, пшено; высшей ценностью были сапоги, на них можно было запастись мукой на всю зиму; но неплохо котировался и будильник, треск которого нравился наезжавшим из деревень крестьянам. Толстая баба прикидывала на свой стан кружевную кофточку разорившейся барыни, бывший чиновник не соглашался дешево отдать граммофон. Вдруг появлялся отряд милиции и все бежали, стараясь унести свое добро, давя друг друга, проклиная свою горемычную судьбу.

Мы голодали, но это был шуточный голод; от него худели, хворали, но умирали не так часто. Настоящий голод был в приволжских губерниях, пораженных неурожаем, и описать его нельзя, хотя и пытались многие. Там начисто вымирали деревни и села, и дороги между ними зарастали травой. Там были съедены пощаженные засухой листья деревьев, содрана и сжевана мягкая кора, истреблены крысы, белки, хорьки, лягушки, сверчки, земляные черви. Лучшим хлебом считался зеленый, целиком из лебеды, хуже — с примесью навоза, еще хуже — навозный целиком. Еще ели глину, и именно тогда было сделано великое открытие «питательной глины», серой и жирной, которая водилась только в счастливых местностях и была указана в пищу каким-то святым угодником. Эта глина насыщала ненадолго, но зато могла проходить через кишки, и так человек мог прожить целую неделю, лишь постепенно слабея. Обычная глина, даже если выбрать из нее камешки и песок, насыщала навсегда, от нее человек уже не освобождался и уносил ее, вместе с горькой жалобой, на тот свет для предъявления великому Судии. Но великий Судия только досадливо отмахивался: он был завален серьезными делами о людоедстве, слух о чем докатился до Европы, кушавшей тартинки и отвергавшей Россию и русских за военную измену и за револю-

цию. С ужасом и презрением писали о «случаях каннибальства», не зная, что это были уже не случаи, а обыденное явление и что выработалось даже правило сначала есть голову, потом потроха и лишь к концу хорошее мясо, медленнее подвергавшееся порче. Ели преимущественно родных, в порядке умирания, кормя детей постарше, но не жалея грудных младенцев, жизни еще не знавших, хотя в них проку было мало. Ели по отдельности, не за общим столом, и разговоров об этом не было.

Я не видал голода, хотя к зиме страшного года был сослан в Казанскую губернию, где вымирали татарские селенья. Вернее, видел я только забредших в город Казань чудом выживших деревенских людей. Появлялась на улице человеческая тень в отрепьях, становилась у стены с протянутой рукой. Давали мало, хоть деньги ничего не стоили, да и не были настоящей помощью — тысячные, стотысячные, миллионные бумажки. Постояв на морозе столько-то времени, тень опускалась на снежную панель и замерзала, и тогда в упавшую шапку прохожие бросали, не жалея, мелкие бумажки. Это я видел. И еще видел детей, черемисов и татарчат, подобранных по дорогам и доставленных на розвальнях в город распорядительностью американского Комитета (АРА). Привезенных сортировали на «мягких» и «твердых». Мягких уводили или уносили в барак, твердых укладывали ряд на ряд, как дрова в поленнице, чтобы после предать земле. И еще раньше, до казанской ссылки, я видел в Москве коллекцию сортов «голодного хлеба», собранную на местах одним из членов общественного Комитета помощи голодающим, — замечательную коллекцию суррогатов, которыми пытались питаться миллионы умиравших от голода крестьян; ни в одном музее мира не найти такой коллекции разноцветных камней и неведомых пород, и то московское собрание погибло при аресте членов Комитета.

Я мало видел, но много слышал в Казани от очевидцев. Из всех рассказчиков самым остроумным был следователь, которому вначале были поручены дела о людоедстве; после, когда эти дела умножились, их предали забвению, тем более что большинство «преступников» явиться на человеческий суд уже не могло. Следователь, человек новой формации, без всякого образования, но уже успевший усвоить казенный «юридический» язык, возмущенно повествовал, как в большой крестьянской семье ели умершего собственной смертью деда, которого перестали кормить. В протокол по этому делу следователь записал: «Означенные граждане варили из головы суп, который и хлебали, даже не заправив его крупой или кореньями». Я запомнил эту фразу — она гениальна!

О, я мог бы привести здесь много рассказов о голодном годе — не для русского читателя, которого ничем не удивишь, а для иностранца, для того самого, который строго судил Россию за уход с фронта, а сейчас одобряет за отчаянное сопротивление. Мог бы, например, нарисовать жанровую картину, как кучка полуживых плетется по следам умирающего, который из последних сил пытается углубиться в лес, найти покой своим костям; так точно стая волков преследует раненого собрата, подлизывая его кровь на снегу. Да, мы люди дикие, лесные. Леса наши отромны, селенья редки; по Казанской губернии можно ехать на лошади две недели, не встретив по дороге ни дома, ни человека. Как же, вы полагаете, понятно ли было жителям тех мест, какими дипломатическими обязательствами была связана Россия, во имя чьих интересов должен был оставаться на фронте русский солдат, черемис, мордвин, татарин, вотяк, остяк, самоед? Уж и правда — не покривил ли он душой, бросив фронт и ненавистное ружье, истолковав по-своему «свободу»? И если сегодня он на тех же фронтах борется зверем, — не

случилось ли что-то особенное в России за истекшие годы?

В Москве, на Собачьей площадке, был скромный особняк, в котором приютился общественный Комитет помощи голодающим. Неурожай и голод — явления в России обычные, но ни одно правительство не могло справиться с ними. Настоящую помощь оказывала только сплоченность общественных сил; при Екатерине Второй с голодом боролись московские масоны, при Николае последнем — люди, созванные Львом Толстым. Правительство, вышедшее из Октябрьской революции, сильное в терроре, было бессильно спасти от смерти миллионы приволжских крестьян; и оно пошло на риск, допустив в Москве образованье общественного Комитета с участием и представителей правительства. Если кто-нибудь успел записать краткую историю этого Комитета, то он рассказал, как нескольких дней оказалось достаточно, чтобы в голодные губернии отправились поезда картофеля, тонны ржи, возы овощей — из центра и Сибири, как в кассу общественного Комитета потекли отовсюду деньги, которых не хотели давать Комитету официальному. Огромная работа была произведена разбитыми, но еще не вполне уничтоженными кооперативами, и общественный Комитет, никакой властью не облеченный, опиравшийся лишь на нравственный авторитет образовавших его лиц, посылал всюду распоряженья, которые исполнялись с готовностью и радостно всеми силами страны. Он мог спасти — и спас — миллион обреченных на ужасную смерть, но этим он мог погубить десяток правителей России, подорвав их престиж; о нем уже заговорили как о новой власти, которая спасет Россию. Ему уже приносили собранные пожертвования представители войсковых частей Красной армии и милиционеры. Екатерина Вторая разбила московское масонство, Николай последний преследовал работавших на голоде толстовцев; Октябрьская власть должна была убить

Комитет прежде, чем он разовьет работу. В Приволжье погибло пять миллионов человек, но политическое положение было спасено.

В доме на Собачьей площадке очередное заседание Комитета, но не приехал председатель, народный комиссар Каменев, раньше аккуратный. Я сижу рядом с В. Фигнер, знаменитой революционной старушкой, выдержавшей двадцатилетнее одиночное заключение в Шлиссельбургской крепости, строгой, серьезной, не утратившей веры в революцию. Говорю ей: «Вот сейчас явятся чекисты, и мне придется провожать вас под ручку в тюрьму». Было легко пророчествовать в те дни, и я втайне жалел, что не уехал по зову приятеля в деревню ловить рыбу; но я был редактором газеты Комитета, единственной независимой газеты, которая была разрешена; ее третий номер был набран, и гранки лежали в моем портфеле, — газета без тени политики, целиком посвященная информации о голоде и принимаемых нами мерах. Гудят у подъезда моторы, и впереди других черных фигур влетает в залу женщина в кожаной куртке с револьвером у пояса. Старушку Фигнер пощадили, нас повезли на прекрасных машинах. Один из спутников спросил на ухо: «Как вы думаете, это — расстрел?» Я кивнул головой уверенно. Иначе — какой же смысл в аресте? Чем его оправдать? Нас нужно объявить врагами революции и уничтожить! Тюрьма на Лубянке не приготовлена к приему столь многих гостей, и мы заперты временно в большой комнате, служившей раньше торговой конторой, вместе, мужчины и женщины, все — люди на возрасте или уже старые, общественные работники, кооператоры, профессора, писатели, врачи, инженеры, бывшие члены Государственной думы, бывшие министры при Временном правительстве, вообще — бывшие люди. Большинство впервые в тюрьме и не знает, что делать. Я знаю хорошо по прежнему опыту: нахожу уголок почище, ложусь на пол и засыпаю под воз-

бужденные разговоры. Утро вечера мудренее, если, конечно, утро придет.

Утро пришло. И было еще много утр в камере Лубянской тюрьмы, где до ссылки я просидел два с половиной месяца за посильное участие в борьбе с посетившим Россию голодом. Камера была одиночная, но сидело в ней то шесть, то семь человек разных званий и по разным делам: два члена Комитета, бывший морской офицер в продранных сапогах, которому ночью крыса искусала палец, старый крестьянин, продавший на базаре пуд муки, коммунист-комендант, не угодивший начальству, еще неопределенные лица, может быть, подсаженные слушать наши беседы. Сидели недели по две-три, потом исчезали, заменяясь новыми. Я пересидел других. Надзирателями были латыши, низколобые, грубые; дважды в сутки они выгоняли нас гурьбой в уборную, на что полагалось десять минут вместе с обязательной уборкой мокрыми швабрами, которую мы выполняли по очереди. Тюрьма была страшная, без всякой возможности общения между камерами и с внешним миром; в царских тюрьмах эта возможность всегда была. Не было книг, никогда не водили на прогулку. Нас кормили супом из воблы и воблой из супа; вобла гнилая и червивая; но допускалась передача пищи с воли, и родные и друзья выстаивали часами в очереди у конторы тюрьмы; иногда передача не принималась, и это обычно означало, что арестованный расстрелян, но прямо об этом не сообщалось. Не расстрелянный в первую неделю, я считал, что опасность прошла, и сидел спокойно. Иногда водили на допрос, но допрашивать было, в сущности, не о чем, отвечать на допрос нечего; никакой вины за нами не было, сочинить ее было трудно, так как Комитет старательно избегал всякой политики и вся деятельность его была открыта; но причислены мы были к разряду под буквами КР — контрреволюционеры; у половины арестованных членов Комитета было немалое революционное про-

шлое, но это дела не меняло. До ссылки я не знал, что был в числе шестерых намечен к «ликвидации», от которой нас спасло заступничество Фритьофа Нансена. Я никогда не видел этого замечательного человека, память которого чту независимо от того, что обязан ему жизнью. Вместо расстрела эти шестеро были сосланы в глухие провинциальные местечки; мне на долю выпал Царевококшайск, гиблое лесное поселение Казанской губернии, жители которого гнали смолу и по весне, когда вскрывались реки, сплавляли до Волги лес; доехать туда мне не привелось по болезни, задержавшей меня в городе Казани. Всякая ссылка лучше тюрьмы. В тюремной камере было холодно и сыро; отопление не действовало. Чтобы поправить его, прислали в камеру рабочих, которые, по неопытности, вместо починки затопили нашу комнату горячей водой. Пришлось просидеть сутки, подобрав ноги; затем вода просочилась под пол, и этим дело кончилось. Отопления так и не поправили, и у нас зацвели зеленой плесенью деревянные доски, служившие постелью, соломенные тюфяки, стены, одежда, обувь, легкие. Ноябрь был морозный, и я рассчитал, что в такой обстановке, если даже не приключится острой болезни, до весны не дожить; весть о ссылке была настоящим освобождением и радостью. Поздним вечером вывели во двор, посадили на грузовик и доставили на вокзал. В вагоне отвели отдельное купе троим ссыльным (со мной ехали два известных кооператора, члены Комитета) и пятерым молодым конвойным солдатам, которые ухитрились тут же, при отправке, потерять мешок с нашими и своими документами и всем продовольствием. Это тоже было удачей, так как теперь было неизвестно, кто кого везет. Были морозные дни, в вагоне отопления не было, стекла были разбиты, и меня, больного, товарищи уложили на лавку, прикрыв всем теплым, бывшим в нашем распоряжении; путь до Казани —

трое суток, и путь страшный: вагоны кишели вшами, по России гулял тиф. У моих запасливых спутников оказался нафталин, которым усыпали пол и самих себя. Несмотря ни на что, мы ехали весело, подсмеиваясь над конвойными, которых нам пришлось кормить своими припасами. Приехав в Казань, мы отказались идти с вокзала в местную Чека и направились в дом кооперативов, где были встречены ласково и предупредительно. И нас и конвойных накормили так, как мы давно не ели, — горячими щами, в которых плавали куски жирного мяса; спать уложили на настоящих кроватях, на мягких тюфяках, под простынями и теплыми одеялами. Наутро все же пришлось отправиться в казанскую Чека, где не знали, что с нами делать, — никаких препроводительных бумаг не было. Подумав, нас временно освободили, а конвойных арестовали для высылки обратно в Москву. Теперь уже мы проводили их на вокзал, усадили в поезд, щедро одарив деньгами и продуктами на дорогу. Недаром, по новой российской моде, мы все называли друг друга товарищами; слово «гражданин» еще не вошло в обычай. Я был слаб, но чистый воздух и некоторое подобие свободы сразу подбодрили и придали сил, и, преодолевая припадки ишиаса, я не без удовольствия бродил по улицам Казани, знакомой по прежним наездам. Недели через две мои спутники, сами раздобыв лошадь и сани, в сопровождении новых конвойных поехали дальше в Царевококшайск; мне было разрешено остаться в городе для поправки. С провинциальными властями вообще можно было ладить, тем более что они нас несколько побаивались: сегодня ссыльные, завтра мы могли бы оказаться господами положения; о работе нашего Комитета здесь, в голодной губернии, говорили с почтением. Слабо понимали, что произошло в Москве и почему мы высланы. Я был несколько поражен неожиданными визитами ко мне казанцев, в том числе молодого человека, преподнесшего мне свой «ученый труд» — тонкую брошюрку по экономическому

вопросу — с очень трогательной надписью; он оказался коммунистом, профессором Казанского университета. Навестили меня и местные поэты и художники — в Москве на это никто не решился бы. Немного поправившись, я снял комнату в полуразрушенном большом доме, где оказалась превосходная печь, купил на базаре воз березовых дров, соорудил из досок отличный письменный стол, устлал пол и завесил окна новой рогожей — и зажил барином. Кооператив, снабжавший меня всем необходимым, нашел мне и службу по книжной части, синекуру, за которую я после отблагодарил его устройством в Казани книжного магазина, — все прежние были разграблены и уничтожены.

Россия того времени была полна противоречий; провинциальный ссыльный город — тем более. Читатель будет удивлен, если я ему скажу, что мне удалось в Казани вместе с местными молодыми силами издавать литературную газету — лишь с видимостью цензуры, при этом частную, хотя бумагу она получала из каких-то реквизированных складов. Все хозяйство газеты наладил, пользуясь знакомством, двадцатилетний юноша, симпатичный и нелепый местный поэт с забавным прошлым. В первые дни коммунистического переворота он оказался пламенным деятелем — следователем Чека, облеченным огромной властью. Но он по-своему понимал революцию, и когда ему послали список арестованных, подлежащих допросу и, независимо от его исхода, расстрелу, он возмутился и приказал этих арестованных, девятнадцать человек, освободить; они успели скрыться, а его лишили должности. Он рассказывал об этом с возмущением: «Разве коммунизм не есть царство свободы и независимости?» Нам удалось издать десяток номеров, в которых уже появились статьи московских писателей, мною приглашенных. Редактируя газету, я не подписывался и свое участие скрывал; но какой-то номер попал

на глаза московских властей, и газету, конечно, прихлопнули — без личных для нас последствий. Ссыльный, я председательствовал на литературных беседах-митингах в Казанском университете, объявленном «свободной ареной», получил бесплатно постоянное кресло первого ряда в местном театре, где режиссером был мой московский приятель, и Медицинский институт имени Ленина, маленькое аховое учреждение, по моей просьбе выдал мне удостоверение о «болезни, требующей для поправки перемены климата желательно на климат московский как наиболее умеренный». Все это не мешало мне оставаться в звании «врага народа» и даже подвергнуться однажды ночному обыску. «Да что вы у меня ищете?» — «Предписано обыскать, а что, мы и сами не знаем». — «Кем предписано?» — «Из Москвы телеграмма. Вы нам дайте, что есть». — «У меня ничего нет вам нужного». — «Ну, делать нечего, мы так и ответим». Получили по папиросе и ушли. Вы скажете: странное добродушие. Не добродушие, а нелепость; со мной случилось так, но та же казанская Чека прославилась кровавыми расправами. В начале революции то же случалось и в самой Москве. Мне пришлось однажды как председателю Союза писателей хлопотать за товарища, сидевшего в тюрьме одесской Чека, которому грозил расстрел (хотя он был решительно ни в чем не повинен). Нужно было непременно добиться перевода его в Москву, где было легче его спасти. Для этого требовались какие-то подписи троих ответственных коммунистов. Две были найдены, для третьей мне указали на «комиссара» (всех тогда называли комиссарами) довольно свирепой репутации, из простых рабочих, который будто бы уважал литераторов. Я нашел к нему ход, и он пригласил меня прийти на квартиру в очень поздний час, почти ночью. Было очень противно, но я пошел. Квартира скромная, скорее бедная; «комиссар» в русской рубашке навыпуск, в кухне возится

жена. Стол накрыт (хотя и без скатерти) для закуски; в центре бутылка водки. «Комиссар» явно доволен, что принимает писателя. Прежде всего — выпить. Если бы он жил с тем шиком, как его высокопоставленные соратники, я бы попытался уклониться; но дело шло о жизни моего друга, ригоризм можно отбросить; притом скромность обстановки подкупала. Мы пили три часа отвратительный самогон; «комиссар» не интересовался, о ком идет речь; он рассказывал о себе, о том, как он уважает науку и литературу, как ему не удалось получить образование, и как теперь, после революции, все пойдет по-иному, всякий будет учиться и добиваться своего. Поздней ночью, красный от водки, но сознания не утративший, резко сказал: «Ну, давай, какая там бумага!» Я проглотил «ты» и сунул ему лист, который он подмахнул с тщательным росчерком. Перейдя снова на «вы», он прибавил: «Это за то, что вы негордый человек; а кого надо, мы не пощадим». С отуманенной выпитым головой я нес домой драгоценный документ. Была спасена жизнь писателя Андрея Соболя, впоследствии застрелившегося. Но, по крайней мере, он сам решил свою судьбу.

Я довольно усердно выдержал рассказ о своей ссылке в стиле хроники. Но, в сущности, для меня в то время всякая «хроника» прервалась. Я мечтал жить и работать в России, рвался в нее из эмиграции, верил в революцию, оправдывал в ней слишком многое. И вот я — враг народа, контрреволюционер; опять тюрьмы, опять ссылки, все, уже испытанное при царском режиме, в той же последовательности, с теми же знакомыми подробностями. Снова бежать за границу? Но она менее всего меня привлекала, и это уже не прежняя Европа, война неизбежно изменила ее лицо. В чем-то мы ошиблись. А может быть, это было неизбежным; не будь большевиков, было бы Временное правительство, которое, превратившись в постоянное, действовало бы точно так же, были бы аресты, были бы тюрьмы и ссылки, были бы те же гонения на сво-

бодное слово, только вместо пули карала бы за него традиционная веревка. Хроника жизни делается невыносимой. Если бы можно было уйти в мир образов, совсем не видеть того, что делается вокруг, совсем не участвовать в суете жизни! Невыносимо, когда история начинает повторяться.

Стояла в Казани суровая зима. На изразцы раскаленной печи я брызгал пихтовым экстрактом — воздух становился смолистым, и я видел себя летом в лесу, в деревне Загарье, куда меня возили в детстве. Буду писать роман. Буду как-нибудь тянуть жизнь. Но дорожить нечем и верить, кажется, не во что.

Какое прекрасное сентябрьское утро! Сияет светом наша улочка, огороды залиты золотом, за ними идет низина, по которой моими рыбацкими ногами протоптана тропинка к реке. Одинокая пара среди чужих людей, в чужой стране, сиротливые, нищие, мы в иные дни все же хотим улыбаться. Иностранцы, да еще русские, мы стали узниками приветливого французского местечка, куда спаслись беженцами в дни военной угрозы Парижу. Теперь лишены права и возможности передвижения. Но в любую минуту я могу взять свои удочки и пойти на речку Шэр. Она малорыбна, но очень красива; за рекой занятая немцами Франция — теми самыми немцами, которые сейчас стараются раздавить Россию. В мои записки о прошлом невольно вплетаются нити настоящего, но для читателя оно будет тоже прошлым, — для читателя, уже знающего то, чего я еще не знаю. Впрочем, мне некуда торопиться в этой книге, начатой до войны и все еще ее не догнавшей.

Жизнь — картинная галерея. По улице, на которую выходит окно нашей хибарки, скоро потянутся повозки с виноградом и те незамысловатые давильные машины, залитые кровавым соком, которые стран-

ствуют по дворам местечка в дни виноградного сбора. Однако по ходу моего рассказа естественнее смотреть из другого окна на засыпанную снегом, нечищеную Проломную улицу Казани. Там речки Казанка и Булат, обе впадают в широкую Волгу, отделенную от города семью верстами унылых песков, зимой – снежной поляной, изрезанной немногими дорогами. В теплом кожаном полушубке и валенках я брожу по казанскому базару, где прямо на снегу раскинулась мелочная торговля старьевщиков. Среди бытовой дряни – несчетные богатства, и я охотно накупил бы на свои гроши кучу музейных ценностей, если бы был человеком с будущим и с прочным пристанищем: томики бесценных уникумов, рукописных старообрядческих книг с цветными рисунками, чашки и чайники знаменитого поповского фарфора, бисерные вязанья, чудесные коврики, и все – почти что даром, по цене щепотки ржаной муки. Мой знакомый, не богаче меня, но здешний человек, завалил книгами две комнаты от полу до потолка, утонул в них в счастливом недоумении; он не искусен в отборе и бросается на все с одинаковой библиофильской жадностью. Полки кооперативного музея ломятся от новых случайных поступлений – образцов местного искусства и осколков любительских коллекций. Где бывшие хозяева этих разбитых сокровищ? Не они ли ушли в Сибирь и дальше с прошедшими через Казань добровольцами и чехословацкими отрядами?

На базаре пахнет эфиром и одеколоном, заменившими водку; до чего богата Россия! Бывший дворник дома, где я живу, теперь оказавшийся не у дел, так как дворники отменены и дома стали ничьими, ввалился ко мне божественно пьяный и насквозь проэфиренный, грохнулся на колени, поклонился до земли и промычал: «Прости меня, барин!» Я вижу его в первый раз, прощать его мне не за что. Пьяная отрыжка рабского духа. Толкаю его в бок носком валенка: «Встань, пьяная рожа, постыдись, ведь ты – гражданин!» Он

обиделся: «Чего же ты дерешься? Я по-хорошему пришел. Драться нынче не приказано». Глаза красные, в войлок свалена борода; хоть бы догадался ударить меня, все же было бы мне легче. Вытолкал его за дверь: «Ступай, проспись, проснувшийся народ!» Хожу весь день мрачный, не могу забыть оскорбительного «барина». Под вечер я зашел в открывшуюся дешевую столовую, целое событие для Казани, где нет, конечно, ресторанов, как и вообще частной торговли; как возникла эта — неизвестно, и почему ее терпят; вообще в провинции новый строй путается со старым, никто ничего понять не может. В столовой дали неплохую котлету, то ли мясную, то ли из чего-то напоминающего рубленое мясо; и дали ломоть хлеба, слишком черного, но словно бы настоящего. Чудеса! Под стол забралась собака, путается у моих ног. Хотел дать бедняге хлебную корочку, сунул под стол; «Эй, где ты там?» — и собака выхватила корку синими детскими пальцами. В ужасе отнял руку: это голодный татарчонок. Женщина, служащая столовой, говорит: «Ничего не могу с ними поделать, вползают в дверь, как клопы, забираются под стол, крошки собирают. Главное, очень вшивые они. Иди, мальчик, иди на улицу, здесь нельзя!» Маленький скелет выползает и ухмыляется. Я вышел из столовой отравленным.

С Казанью меня роднят семейные воспоминания. В Казанском университете учились мой отец, дядя и старший брат. Гимназистом я посылал свои первые статьи в казанскую газету и даже полемизировал с сотрудником другой здешней газеты, тоже прятавшимся под буквами; я был очень доволен и горд, узнав стороной, что это — прокурор окружного суда. Студентом я ездил из Москвы в Пермь и обратно на летние каникулы пароходом по Волге и Каме, и Казань была серединой пути. Старался попасть на один из мощных пароходов Ольги Курбатовой, тянувших за собой баржу; пароходы были прекрасно оборудованы, проезд на них дешев, буфет превосходен,

и шли они не трое, а пятеро суток — два лишних дня речного наслаждения. Я не люблю моря, оно скучно и однообразно; но плыть по большой реке с изменчивыми берегами — высокое наслаждение. В Казани было несколько часов остановки, и я ездил в город посмотреть на кремль и Сююмбекову башню; есть какая-то легенда о ней, не помню. С почтением смотрел на Казанский университет, питомцем которого был и Лев Толстой. Теперь я был частым гостем в стенах этого университета, хотя большинство его лучших профессоров ушло вслед за чехословаками в Сибирь; дальше их путь — на Дальний Восток, в Китай, в Японию, оттуда океанами в места российского рассеяния — в Америку, в Австралию, черт знает куда и зачем, а кто мог — в Европу. Великий исход, переселение народов, гигантская чепуха. Оставшиеся робки, запуганы, бесцветны и уже уступают место людям большой воли и малой грамотности, «красной профессуре», путающей науку с политикой, труды великих с пропагандными брошюрками. Новая страничка в истории многострадального города. Когда-то его разоряли междоусобия, он долго боролся с Москвой, был завоеван, спустя два века разграблен Пугачевым, много раз выгорал дотла. Его история любопытна, но это не значит, что жить в нем занятно, в особенности суровой зимой. И я мечтал вернуться в Москву; об этом хлопотали мои друзья. Гражданская война кончилась, может быть, наладится какая-нибудь терпимая жизнь. Мои бывшие спутники, члены нашего Комитета, тоже хотят избавиться от ссылки, а пока, вероятно, гонят смолу и готовятся сплавлять лес на Волгу по весне; они мечтали уплыть на плотах из своей ссыльной дыры — люди бодрые, здоровые, способные строить новую Россию. Ничего о них не знаю, мне не удалось больше с ними встретиться; но они, конечно, в России, а не в глухом французском местечке.

Весной мне разрешили вернуться в Москву «для лечения»; это было тем приятнее, что я был здоров.

Немногие казанские друзья устроили мне проводы и какими-то путями выхлопотали проезд в удобном «служебном» вагоне; преимущество огромное, так как несколько страхует от сыпного тифа, грозы путешественников. Вагон довольно опрятен, у меня отдельное купе, другие купе на затворе, и только еще в одном едут чины военной охраны. Выйдя на остановке на перрон, слышу за спиной шепот: «Ихний комиссар!». Возможно, что и стража считает меня тайно подсаженным для контроля важным чином, — сейчас ведь не разберешься, почему едет человек в вагоне финансового ведомства; смотрят почтительно, уступают дорогу. И только в Москве я узнал, что ехал в вагоне, нагруженном отобранными в церквах ценностями.

Московский вокзал. Какие-то заградительные отряды, заставы, проверка багажа. У меня ничего нет, кроме худого чемоданчика. На площади ни одного извозчика. Приятно прогуляться пешком через всю Москву по знакомым улицам. Был я преступником, мне угрожала смерть. Теперь как будто свободен. Немало прелести в революционной нелепости. Любопытно, что у меня нет никаких бумаг, и кто я — неизвестно; но квартира осталась, и в ней мои книги, собранные так любовно. На углах улиц «бывшие люди» и мальчишки продают что-то вроде белых булочек. В воздухе — «новая экономическая политика». По пути встречаются магазины с тщательно протертыми тряпкой стеклами и с подобием витрины: частные магазины! Но люди еще остаются «сумчатыми», с мешками за спиной, иные толкают впереди себя детскую коляску, очевидно, для перевозки продуктов питания. Улица, на которой я живу, переименована. Звонок не действует — стучу. Я дома.

Я пробыл в казанской ссылке всего полгода и не считаю это время в жизни потерянным; везде есть

люди, и хорошие люди, всюду — общения, о которых остается благодарная память. Комната с самодельной мебелью, поленница березовых дров в передней, сносное питание (я получал обильный «кооперативный» паек на своей службе), своя кулинария, великолепные казанские морозы, литературные беседы в Малой университетской аудитории, новогодние пельмени в кругу актеров местного театра, мирные вечера в семье соседа по квартире, ласка моих молодых литературных друзей, сотрудников по газете и по устройству в Казани книжной лавки, — мне решительно не на что жаловаться. Но оказаться в роли и в положении «врага революции» и политического ссыльного — мне, со студенческих лет включавшему эту революцию в программу своей жизни, со всеми последствиями, — это, конечно, не могло пройти бесследно. Я еще неясно понимал то, что твердо знаю сейчас, когда тем же словом «революция», которое для нас было не только священным, но и исполненным определенного содержания, синонимом политической свободы, стали прикрывать наихудший деспотизм и величайшее насилие над личностью человека. Какой диктатор не использовал этого краденого слова? Какие гражданские цепи не выкованы из понятия «свободы»? Мы были последним поколением чистых и цельных иллюзий, могиканами наивных верований. И это наша вина: нужно было внимательнее вглядываться вглубь истории.

Эта краткая исповедь не ради политических высказываний. Ею я хотел бы только пояснить, почему те дни стали для меня, как для многих, как бы пограничными в духовном состоянии: днями не полной утраты — далеко нет! — а кризиса прежних верований, неумолимых к ним реальных поправок. Но это не значит — духовной прострации! Мы оставались живыми людьми.

Несмотря ни на что, наша духовная жизнь была чрезвычайно богата, — или мне это кажется сейчас, по контрасту с копотью прозябанья в заграничн-

ном русском рассеянии, по еще пущему контрасту с сегодняшним днем сиденья в глухом французском местечке, в трагическом духовном одиночестве, в однообразии мелькающих дней. Нет, в те дни мы все-таки пили из полных чаш настоящее вино жизни. В нищете, в растерянности быта, в неуверенности дня и ночи, в буче важного, ничтожного, грозного, смешного, в грохоте разрушений и фантастических планах созиданий мы боролись за будущее, в которое, может быть, по инерции продолжали верить. Во всяком случае, мы жили необычайной, неповторяющейся жизнью — дух никогда не угасал. Не думаю, чтобы кто-нибудь из нас тогда мечтал променять эту жизнь на затхлость буржуазного покоя, на кофей с булочками, воскресный отдых, умеренные идеалы и их постепенное достижение. Вечно предстоя пропасти, мы все-таки жили в стране и в эпоху необычайных возможностей. Пляска смерти на богатейшей плодоносящей почве, великолепные грозы, разливы великих рек, неожиданности пробуждений — этого не выразишь ни словами, ни образами, это нужно было пережить в редком сознании каждым себя — страной и народом. Мне, европейцу, Европа вспоминалась безвкусным блюдом зеленого горошка под кисло-сладким соусом, старушкой в чепчике, чиновником на покое. Расширенными зрачками мы смотрели на нашу Россию, настороженным ухом ловили музыку будущего в дикой какофонии рычания, плача и восторженности. Именно тогда произошло первое отравление русских Россией, приведшее позже к изумительной слепоте, к убеждению в миссионерстве, к принятию учения о непогрешимости всех российских начинаний, от социального строительства до московской подземной дороги. Здоровое и радостное чувство, позже вытянутое хлыстом и ставшее официальным, претворилось в изуверство и самодовольство. Но если свобода стала политической карикатурой, с «отцом народов», заменившим «царя-батюшку», то виноват ли в этом сам народ, впервые

научившийся читать по складам брошенную ему книжицу с картинками и сразу почувствовавший себя студентом? Раньше делившаяся неравно на кучку высококультурных и миллионы безграмотных, Россия стала вся поголовно полуграмотной в изумительном поравнении сверху донизу, от властей до рабов, от писателя до писаря, от «рабочего у станка», до «служителя искусства».

Я пишу о переживаниях кругов избранных, об умственных верхах, но то же и большее испытывали слои, с ними соприкасавшиеся или раньше им чуждые, среда рабочая, обласканная обещаниями, среда крестьянская, впервые окрещенная в гражданство. О необычайном, широчайшем пробуждении сознания в этих слоях свидетельствует быстро развившийся в России спрос на книгу, при первой возможности показавшую миллионные тиражи, тяга к знанию, заполнившая школы и университеты, появление новой интеллигенции, еще малосознательной, но почвенной, с мозгом, взвихренным внезапностью пробуждения, с упрощенными методами мышления, с особым, ломаным, полународным, полукнижным языком, которым и до сих пор говорит Россия в быту и в покалеченной литературе. При огромных пространствах России это пробуждение и сейчас не завершено и не вошло в прочное русло. Издали оно нам кажется искусственным и как бы простецким, повторяющим на лету схваченные и заученные фразы, — в чем много правды, — но не может быть сомнения в огромности его значения. Им пытались и пытаются руководить сверху, завивая недоразвитые мозги марксистским штопором, сводя сознание к готовым формулам, иногда не без успеха, — но это не страшно при наших масштабах, это смоется в огромных потоках. Безгранична разница между европейским рабочим, удовлетворенным пропагандистской брошюркой и по ней строящим свое политическое сознание, и русским трудящимся человеком, жадным до знаний положительных, которые для него не приправа к быту, а откровение и

горизонты которого настолько же обширнее, насколько сама Россия шире, моложе, свежее, сочнее и богаче своей престарелой соседки.

Охотно отдаю страницы воспоминаниям о моей России, какой я ее знал, какой ценил и как воспринимал. Но это уже последние о ней страницы; сейчас оне оборвутся для меня, и жизнь не в первый раз швырнет меня за борт. Хочу, чтобы в памяти осталось как можно больше лучшего, что в России есть: зеленого шума и речных струй, земных испарений, мирного произрастания, неоглядных далей. Я пользуюсь ранним летом и бегу в деревню, на берег Москва-реки, речки-невелички, но извилистой и светлой, к соснам и лиственным рощам, к коврам озимых хлебов, к концерту июньских жуков, лягушек, мошкары и дрожащих листьев.

Уехать из Москвы в деревню Барвиху не так просто. На вокзал идти пешком, потому что извозчики разъехались по деревням на сельские работы; денег им не нужно, а не голодать можно только близ земли. Поезда существуют, но нет для них точного расписания. Добравшись до маленькой станции, шагай опять пешком два-три часа через поля, краткой дорогой через овраги, болотцем по кочкам, лесом по корням деревьев случайной тропой. То солнце, то лесная полутьма, то дух медвяный, то хвойный. Изба в деревне снята раньше, мы делим ее пополам с семьей моего друга философа, культурнейшего и превосходного человека, глубокого, терпимого, с судьбой которого и дальше совпадет моя судьба, лишь с той разницей, что он проживет двадцать лет в Кламаре, я — в Париже. В деревне я немедленно дичаю — в одежде, в повадках, в распределении времени; ранней зарей — на речке, сплю, когда сморит усталость, пишу урывками, поймав мысль на лету,

увлекшись образом. Он — как бы на подлинной даче, жизнь — правильным здоровым темпом, сам в светлом костюме, даже в галстуке легкого батиста, днем за работой, под вечер в приятных и полезных прогулках за ягодой, за еловыми шишками для растопки самовара; для шишек берет с собой легкий чемоданчик. Наслаждаясь природой, он разумно мыслит, — я попросту пьян лесом, рекой, полями. Будто бы я пишу свой роман, но роман сам пишется в голове, а я больше валяюсь на траве, слушая стрекот кузнечиков, объедаясь земляникой, брусникой, костяникой, сладко тупея от лодки и рыбной ловли, и вижу во сне речную рябь и ныряющий поплавок. Гуляет ветерок по волнам ржей, в лесу шорохи зверушек, в зелень ныряет беличий хвост, заяц удирает, прижав уши, с шумом вспархивают птицы. Здесь заповедный лес, не рубленный три века, стоявший еще в дни царя Алексея Михайловича. Кто помнит, как заповедовали рубку в русских лесах? Входили в них торжественно, с крестами и хоругвями, со священником во главе причта, служили заповедный молебен и пели «Слава в вышних Богу и на земле мир». В заповедном лесу по воле живут и умирают деревья, нет ни дорог, ни просек, валежник не убирается, невозможно пробраться человеку, и тем привольнее зверью. А попробуешь продраться вглубь — путь пресечет ствол павшей сосны толщиной много выше человеческого роста, настоящая стена, хотя от ствола осталась одна кора. Все в зарослях и лианах, не колючих, как в южных лесах, но с мягкой настойчивостью запрещающих дорогу.

Мое последнее русское лето... Оно связано в воспоминаниях со многим личным, что дорого и важно только для меня, — при мне и останется. И вся Россия останется для меня в образе деревни со светлой рекой и заповедным лесом — в самом ее лучшем образе.

В Москву не тянуло — был за все лето раза два. Однажды туда собрался мой сожитель — и в срок не

вернулся. Один из дачников, приехавший из города, рассказал, что там аресты среди писателей и ученых, почему — никто не знает и понять трудно. Значит — нужно готовиться. Ночью сюда не приедут, можно спать покойно, с утра ухожу с удочками на речку. Условлено, что в случае тревоги мальчик махнет мне платком с холма. Хорошо клевала на хлеб плотичка, на червячка попадался окунек. С холма махнули платком, и в то же время к перевозу подъехал по бездорожью автомобиль — явление в этих краях почти невиданное. За речкой местный «совет депутатов», куда, очевидно, за справкой, отправились на пароме приехавшие, оставив машину на нашем берегу. Все просто и понятно, и чекистская форма горожанам знакома. Один из приехавших остался с шофером в машине, но у меня нет выбора: по берегу одна тропа к лесу — мимо машины. Иду тихо и спокойно, загорелый заплатанный рыбак, смотрю на военных людей с любопытством. Дальше — в прибрежные кусты, где прощаюсь с удочками; рыбу выпустил на волю раньше — такое ее счастье. Взобравшись на береговую кручу, сразу углубляюсь в лесную опушку, мимо которой лежит единственная на Москву проездная дорога. В пяти километрах есть деревушка избы в три-четыре, где один домик снят моими знакомыми. Правда, там же, рядом, в бывшем большом барском именье летом живут общежительно семьи народных комиссаров — Троцкого, Каменева, Дзержинского, главного палача, и именье окружено высокой кирпичной оградой — дачное гнездо предержащих властей. Но это хорошо, в таком месте искать не будут. Добравшись до деревушки, сажусь под домашний арест, чтобы выждать, какие вести придут из Москвы. Все-таки трудно сидеть в избе безвыходно в чудесную осеннюю погоду, а в лесу, как нарочно, появились белые грибы — целые заросли, собирай хоть бельевыми корзинами. Выползаю с оглядкой на занятный спорт. На третий день узнаю, что часть арестованных еще в тюрьме, а часть выпущена

на волю с предписанием готовиться к высылке за границу. Ни причин, ни обвинений; взяты люди, от политики далекие, «религиозные философы», ректор университета, профессор финансист, профессор астроном, инженер, агроном, несколько писателей, литературный критик — никакой между ними видимой связи, случайный любительский отбор. Взят, конечно, и мой сожитель, но уже выпущен на свободу; он — московский профессор, из русских философов виднейший. Есть ли смысл скрываться дольше и до каких пор? В деревне у нашей дачи поставили стражу из местных парней, внушив им, что я — опасный преступник. Но парням ждать скучно, да и руки их нужны в хозяйстве. Зайдут, спросят, не вернулся ли, и уходят в поле.

Москва велика — приют найдется. Простившись с добрыми друзьями, покидаю свое убежище и иду на соседнюю с нашей станцию ждать поезда в Москву. Моим приютом будет в Москве частная хирургическая лечебница, где для меня уже готова койка в отдельной комнате и милый прием у владельца лечебницы, старого знакомого. Денек отдыха, на другой день беру телефонную трубку; я уже знаю фамилию следователя, которому поручено наше дело; не знаю только, что это за «дело».

— Алло, я такой-то, вы меня ищете?

— Да. Откуда вы говорите?

— Это безразлично, я могу к вам явиться. Но скажите, вы меня задержите?

— Я не обязан отвечать на такие вопросы.

— Но я хочу знать, брать ли мне подушку и перемену белья?

Молчанье. Затем голос отвечает:

— Можете не брать.

— Тогда я явлюсь через час.

Идти и самому сдаться неприятелю — как будто малодушно. Но долго скрываться невозможно и слишком хлопотно, не столько для меня, сколько для тех, кто дает приют. И бессмысленно: мне нечего делать

в подпольях, моя жизнь всегда была на виду. Быть высланным за границу, так недолго пожив на родине, хотя и успев вкусить ее пьяно и обильно, — совсем не улыбалось. Почему и за что? Но таких вопросов в то время не ставили. По ходячему анекдоту, в многочисленных анкетах, на которые приходилось отвечать гражданам нового свободнейшего строя, была графа: «Подвергались ли вы аресту, и если нет, то почему». Все же Европа — лучшая тюрьма, чем подвалы Лубянки, Корабль смерти и проч.

Поверив следователю, я не взял с собой ни подушки, ни белья, только добрый запас папирос, и отправился в страшный дом, мне уже достаточно знакомый, где прошлой осенью едва не кончил свои дни в зацветшей плесенью камере. Идти в тюрьму невесело — даже добровольно. Развеселить мог только новый анекдот. И вот оказалось, что даже на пути в тюрьму ждут гражданина препятствия. Помещение Чека, недавно переименованного в Гепеу (признак государственной устойчивости), тщательно охранялось, и смертному проникнуть туда было непросто. Первого часового я убедил соображением, что вызван по телефону, почему и не имею впускной бумаги, — ведь не доброй же волей приходят в тюрьму. Часовой смилостивился. В конторе, где у каждого оконца стояла толпа, я громко и настойчиво потребовал выслушать меня вне очереди ввиду срочности заявления; я мог возвышать голос — опасаться было нечего; и при обшей робости громкий голос действует. «По какому делу?» — «По делу о моем аресте». — «Но вы не арестованы». — «Я для этого пришел». — «Нельзя, гражданин, без приказа». — «Что же мне делать?» — «Это нас не касается, уходите домой». Чистая идиллия! Пришлось опять убеждать другого часового у двери, ведшей внутрь тюрьмы, где были и комнаты следователей. Долго объяснял ему, что нельзя из тюрьмы выпускать, а туда отчего же не пустить, ведь назад свободно не

выйдешь; пригрозил, что буду жаловаться. Пропустил и этот. Путался по бесконечным коридорам, пока на одной из дверей не нашел плакат с нужной фамилией. Следователь любезен: «Прежде всего подпишите бумажку». В бумажке сказано, что мне объявлено о моем аресте. «О каком аресте? Я не взял с собой подушки». Успокоительно говорит: «Вы только подпишите, я уж приготовил и другую». На другой значилось, что объявлено мне об освобождении, с обязательством покинуть в недельный срок пределы РСФСР. Любят новые чиновники бумажное производство. «И еще вот третью бумагу». На третьей значится, что в случае невыезда или бегства с пути подлежу высшей мере наказания, то есть расстрелу. Только улыбаюсь: «Предоставьте мне аэроплан, улечу хоть сегодня. Можно идти?» — «Еще заполните анкету». И действительно, как же можно без анкеты в канцелярском деле. Первый вопрос: «Как вы относитесь к советской власти?» — Вопрос ехидный, — как мог я относиться к власти, находясь в тюрьме и готовясь быть высланным? И я пишу: «С удивлением». — Следователь морщится, но говорит: «Пишите что хотите, все равно уедете». — «Теперь всё?» — «Вот только подпишу вам бумажку на выпуск отсюда». Возвращаюсь теми же коридорами, солдат отбирает бумажку и натыкает на штык. Дух канцелярский сменяется пылью летней московской улицы.

Значит — вот чем стала революция. Бури выродились в привычный полицейский быт. Ну что же, тем легче будет уехать из России. Вчера это казалось мне огромным несчастием, сегодня не нахожу в душе ни протеста, ни особого сожаления.

Мы обязались немедленно оставить пределы РСФСР (тогда еще не было букв СССР). Путь указан: Москва — Петербург (еще не ставший Ленинградом), оттуда пароходом в Германию. Легко сказать — мудрено выполнить. Германия — тогдашняя Германия! —

обиделась: она не страна для ссылок. Она готова нас принять, если мы сами об этом попросим, но по приказу политической полиции визы не даст. Жест благородный — мы его ценим, но пускай и нас попросят. И нас убедительно и трогательно просят: «Хлопочите в посольстве о визах, иначе будете бессрочно посажены в тюрьму». Мы сговорчивы, мы хлопочем. Буду справедлив к сегодняшним врагам — они были к нам очень любезны: и визы, и даже обеспечение приема в Берлине, где о нас позаботится какой-то комитет, встретит на вокзале, подыщет временное для всех помещение. Переговоры задерживают нас в Москве на месяц с лишком. Мы стали «организацией ссыльных», мы собираемся, мы совещаемся, имеем своих представителей, обсуждаем свои дела. Хлопочем об иностранной валюте, об отдельных вагонах до Петербурга, о каютах на пароходе; с семьями нас семьдесят человек. Пока — мы самые свободные граждане республики: терять нам нечего, бояться тоже, и уста наши не замкнуты. Нами интересуется иностранная печать, и Лев Троцкий, идеолог нашей высылки, дает журналистам интервью: «Высылаем из милости, чтобы не расстреливать». Не чувствует ли Троцкий, что и сам будет выслан из милости? Нам многие завидуют: как хотели бы они поменяться с нами участью. Некоторым образом мы — герои дня. Почему именно на нас, таких-то, пало избрание, мы никогда не могли узнать: включены в списки отдельные лица, почти никакой связи между собой не имевшие. Ссылка некоторых поражала: никто не слыхал раньше об их общественной роли, она ни в чем не проявлялась, и имена их известны не были. Троцкому принадлежала идея, но выполнял ее менее умный человек. Или менее злой. Мы знали, что готовятся и еще списки петербуржцев; но там взялись за дело вяло.

Лично я удивлен не был. Мы с моим дачным сожителем, профессором Н. Бердяевым, возглавляли в то время президиум всероссийского Союза писателей,

слишком дорожившего своей независимостью от партийных влияний. Нужно было напугать Союз — и он напугался. Накануне нашего отъезда из Москвы я в последний раз председательствовал на заседании правления Союза — хотелось проститься с товарищами, мы так хорошо и так дружно работали. Я был одним из организаторов Союза, писал его устав, перед отъездом передал Союзу последний дар нашей «Лавки писателей» — ценнейшую коллекцию библиографических, очень редких, изданий и набор изданий рукописных — уникумы переходных революционных лет. С нашим отъездом Лавка ликвидировалась, но нас заботила судьба Союза. Идя на это последнее заседание, я заранее заготовил самую краткую и самую сдержанную речь в ответ на прощальное приветствие, которое естественно ожидал. Ни приветствия, ни речи я не внесу в протокол, чтобы не повредить Союзу. Были на очереди небольшие, обычные вопросы организации, и мы их исчерпали в какой-нибудь час времени. Не было никаких споров, члены правления — пятнадцать человек — были сдержанны и несловоохотливы. Сейчас я объявлю повестку заседания исчерпанной, и тогда кто-нибудь попросит слова, на которое мне придется отвечать. Только бы его выступление не было резким и мне не пришлось бы просить воздерживаться от всякой политики. Повестка исчерпана. Двое-трое быстро встают и выходят — самые осторожные. Минута замешательства — никто не просит слова. И внезапно я догадываюсь, что никто и не попросит, что Союз уже достаточно напуган, что он уже не тот и будущее его предопределено. Я встаю — и все встают с облегчением. В передней молчаливо обмениваемся рукопожатиями, и я задерживаюсь, чтобы никого не вынудить идти по улице вместе с высылаемым преступником. Как я был наивен со своей заготовленной ответной речью.

Дома — прощальный прием, скромный прощальный ужин, и часть тех же людей, не нашедших слова в за-

седании, здесь не стесняется ни в чувствах, ни в их выражении. Я это ценю, — но еще никогда мне не было так грустно и так смутно на душе. Нужно очень долго жить, чтобы не удивляться и не ошибаться в оценках. В сущности, ничего не случилось, люди милы, отзывчивы, нельзя сомневаться в их искренности и их дружбе. Я не сомневаюсь даже в их памяти — ну, хоть на несколько лет; мы жили в таком тесном общении, в такой охотной взаимопомощи. Но я сомневаюсь в том, что все они сохранят свои лица, не отрекутся от того, что казалось нам священным, — от независимости мыслей и суждений, от смелости их высказыванья. Нелегко уезжать, увозя с собой яд сомнений. А может быть, я слишком требователен? Мы уезжаем завтра — кто придет проводить наш поезд? Вокзал — не частная квартира.

И здесь я опускаю железный занавес.

Железным занавесом отрезана Россия, земля родная, страна отцов. Отрезана на двадцать лет — я кончаю эти воспоминания в юбилейный год разлуки. Я уехал молодым, с чувством уверенности, что не вернусь; эта уверенность с годами укрепилась.

Россия — шестая часть света; остаются еще пять шестых. К сожалению, не всякое растение легко выдерживает пересадку и прививается в чужом климате и на чужой земле. Я чувствовал себя дома на берегах Камы и Волги, в Москве, в поездках по нашей огромной стране, на местах работы, в ссылках, даже в тюрьмах; вне России никогда не ощущал себя «дома», как бы ни свыкался со страной, с народом, с языком. Это не патриотическая чувствительность, а природная неспособность к акклиматизации. И, кстати сказать, неохота; может быть, впрочем, и гордость. Почти все мои книги написаны в эмиграции и в заграничной ссылке; в России писать было

«некогда»; но жизненный материал для этих книг давала только русская жизнь — и он казался мне неистощимым. Полжизни прожив за границей, я в своих воспоминаниях не вижу надобности говорить об этой напрасной половине; она слишком лична; и потому я обрываю свои записки на невеселой минуте расставанья с Москвой, моим последним «домом». Дальше будут иные оседлости, иные катастрофы и блужданья, — и вот я на берегу французской реки, имени которой прежде не слыхал. Но теперь уже совершенно безразлично, где жить и к чему еще готовиться: книга закончена, не стоит затягивать послесловие.

Во всех местах недолгой оседлости — в Москве, в Гельсингфорсе, в Риме, снова в Москве, в Берлине, в Париже — любовь к вороху бумаг накапливала архивы: житейские документы, записи встреч, дневники, тысячи писем. Часть исчезала при «катастрофах», часть сохранялась и снова разрасталась. Из Москвы нам не было разрешено вывезти ни одной писаной бумажки и ни одной книги; все мною собранное пропало. Но опять накопились «сокровища» в жизни заграничной — для новой очередной гибели.

В обществе этих постепенно желтевших бумаг и в обществе книг, которыми я всегда себя окружал, я жил, как в маленькой крепости, защищавшей от слишком сегодняшнего и, во всяком случае, чужого. Крепость пала, как пали многие другие крепости, казавшиеся достаточной защитой. Случалось так и прежде, но хватало жизненных сил, чтобы упрямо отстраивать заново свое убежище. Может быть, нашлись бы оне и теперь, эти силы; но случилось худшее — исчезло всякое желание.

И вот, подобрав обрывки прошлого, оставшиеся не на бумагах, не в документах эпохи, не в письмах, а в памяти, я их сплетаю в книгу, чтобы уж нечего было больше хранить и беречь.

Книга о детстве, юности, молодых годах. Старость не нуждается в книге — ей довольно эпитафии.

Происшествия зеленого мира



Представление

Автор многих книг, счет которым забыт и не стоит труда, издает еще одну, заботливо склеивая кусочки мыслей, рождавшихся в неизменной обстановке: у самой поверхности земли, в ее испарениях — над грядками и клумбами маленьких земельных участков, наемных и своем. Он издает книгу для себя и для сочувствующих чудаков, зараженных тягой к земле и страстной жаждой создать свой мир — без злобы, моторов, политики и удушливых газов.

Мы — только часть Природы. Нельзя ощутить и познать жизнь, не научившись слушать, как растет трава, и не пожав дружески (со всей осторожностью) лапку божьей коровке. Чистая правда только в куполе старой цветущей липы, где гудят пчелы. Можно, конечно, на нить выдумки нанизать сотню благородных героев и очередных пошляков, перепутать это ожерелье паутиной вымышленных или исторических событий, наказать порок, прославить добродетель и подать их под гарниром нравственных прописей или опасных парадоксов, — это вопрос техники, и я мог бы рассказать, как это делается. Но это неправда, и, обманывая других, себя не обманешь. Напрасно утомляя голову вымыслами необычного, мы не видим, что мечемся в сплошном кольце чудесного, неразгаданного, насыщенного прекрасной тайной — над нами, под нами, рядом с нами, вблизи и в бесконечных далях, и что жизнь «царя природы» есть только маленький и случайный феномен жизни мировой. И это не философия, а простой факт, известный каждому огороднику в заплатанных штанах и деревянных башмаках, который, правда, не всегда знает, что это не только важно, но и важнее всего на свете. Чистая линия горизонта закрыта от нас конурами и дворцами нашего быта, — и вот мы думаем, что только наши гнезда важны, только для нас светит солнце, источник живущего; вероятно, так же думает о себе, как о центре и смысле мироздания, каждый слон и каждая бактерия, и у них, носителей абсолютных знаний, для человека непостижи-

мых, больше прав на такую горделивую мысль, чем у нас, обладателей относительного разума. Но дело не в соотношении духовных сил, для которого у нас нет измерительных приборов, — дело в том, чтобы уметь ощутить себя не господствующей, а лишь рядовой единицей многомиллиардной семьи живых существ, среди которых наше человеческое место не ясно и не выверено; чтобы принять и полюбить сестру — травинку и брата — паразита, сулящих нам мир новых откровений и чувствований, чтобы не быть только бичами или жертвами, а настроить свой голос в лад мировой гармонии, потому что ведь в этом можно найти оправдание, если не подлинное великое счастье.

Миросозерцание не строится прочно на зыбкой почве отвлечений. Построим его на твердой земле, родоначальнице живущего, на любви к Природе, ничем слова «любовь» не заменяя. А как это выразится вовне — это не важно, чисто условно, опять же — вопрос техники. Мне ближе и роднее форма шутки и не злой усмешки, другому — пафос, третьему — крепость таблицы умножения. Но, дети одной матери-земли и одного отца-солнца, мы легко сговоримся и поймем друг друга.

И вот, автор идет к читателю с пробным словом, чтобы только установить язык взаимопонимания; и — кто знает? — может быть, за осторожной шуткой, доверчиво принятой, окажется спрятанным ключ взаимности, общий язык и вяжущая святость общего культа? А не случится, — пусть шутка останется шуткой и автор оправдан, если она не покажется скучной тому, кому предлагаются строки этой несколько случайно родившейся книги.

Автор

О зеленом луке и огородном пугале

Когда я ехал сюда со станции — на козлах таратайки под проливным дождем — заглавие будущих записей представлялось мне иным, более поэтическим: «Письма с зеленой лужайки».

Почему-то мне казалось, что нанятый мною домик, ветром шитый и бурей крытый, стоит в центре прекрасной зеленой лужайки, на которой резвятся козочки.

Теперь визу: козочки действительно резвятся, две козы взрослые и трое козлят. Но вместо лужайки — заросшая травой широкая дорога, а кругом огороды и огородики с молодой порослью. На одном из них — прямо против окна моей «студии» — поставлено огородное пугало, с растопыренными рукавами, но не в шляпе, а в платке; французы считают женское пугало страшнее мужского.

Еще бродят куры и крупные гусята под единым водительством умиротворенного петуха, который уже будил меня нынешней ночью в самые непоказанные часы сладчайшего сна. Если петух думает, что гусята станут тоже курами, то представляю себе его грядущее разочарование. Будь поблизости речка, — он уже и сейчас понял бы свою ошибку. Но речки нет, есть только колодец, на котором написано «нон потабль». Уверяют, однако, жители, что надпись эта относится к прошлому, а сейчас воду можно пить, хотя лучше не пить. Во всяком случае, другой нет, и все мы, соседи колодца, ею пользуемся.

Горизонта нет. Горизонт закрыт высокими и густолистыми деревьями аллеи, отрезавшей, шагах в двухстах от края и до края, наш огородный мирок от остального мира. Это очень приятно и прекрас-

но. Никакого горизонта не нужно. Очень много лет я прожил на берегу моря с бескрайним горизонтом. Это совершенно ни к чему: ничего не дает! Вместо того чтобы сосредоточиваться — мысли уносятся неизвестно куда и зачем; и после никак их не соберешь. Без горизонта лучше. Здесь мысли, отталкиваясь от деревьев, упираются в гряды огородов и в собачью будку под самым моим окном. Будка хорошенькая, но пустая. Мысли укладываются в ней на покой, а сбоку, на случай, прибита ржавая цепочка.

Есть на огородах несколько домиков, напоминающих цирковые фуры. Людей в них и рядом с ними незаметно, — кроме очень толстой старухи, которая целый день что-то выкапывает или сажает. Да еще доносятся голоса рабочих, итальянцев, строящих поблизости небольшой каменный домик. Слышать итальянский говор, хотя и плохой, пьемонтский, очень приятно; если бы не цепочка у собачьей конуры, мысли унеслись бы в Италию, страну, им достаточно близко знакомую; теперь же они только прислушиваются и внутренне улыбаются: «Svani per sempre il bel sogno d'amore...»*

Лично я также делаю уступку былому патриотизму: варю себе макароны на полупитьевой воде. Ничего, вкусно: во-первых — собственная работа, во-вторых — с пармезаном.

Думаю, что больше описывать нечего; не потому, чтобы все остальное было менее замечательно, а просто потому, что ничего остального нет. Разве что колышки с натянутой проволокой — границы собственностей огородных. Еще тропинки. Еще кучка хвороста. Там, где полагается, — небо, откуда вчера лил дождь, а сегодня светит солнце. Но это — не в программе огородных записей; я наметил себе ограничиваться

* «Навсегда рассеялся сон любви» (*ит.*).

грядками, земным, не залетая ввысь, откуда так легко низвергнуться обратно. Грядками, добрыми овощами и дурной, не выполотой еще травой. Разве этого недостаточно?

В местечке, где нет мясной лавки (как нет, впрочем, и табачной) вести собственное хозяйство нелегко. В основе хозяйства — зелень, в основе же зелени, по-моему, лук. Лишь увидав на маленьком кухонном столе пучок зеленого лука, я вполне успокоился.

Я подчеркиваю слово «зеленого». Многим, вероятно, ведомо, что латинская раса отрицает луковое перо, вполне признавая самую луковицу. Это издавна меня поражало. Много раз приходилось удерживать руку зеленщика, прежде чем он успевал оборвать и бросить в ящик лучшее, что есть в луке, — его зеленые перья. Затем следовало длинное объяснение, и различие рас вырисовывалось с ясностью. Одна раса за корешки, другая за верхушки; одна за едкую суть, другая за зеленую ароматическую внешность.

Из простой и естественной любезности я называю луковицу — корешком, а ее перья — верхушками. Знаю, что луковица не корень и что настоящие корни ниже, невзрачные и не имеют вкуса (картофель ведь тоже не корнеплод). Потому так охотно и предоставляю французу считать луковицу самым главным и пренебрегать перьями. Луковица есть обывательский «корень», общедоступное и жирное подобие сущности. Она наглядна, ясна, прозаична, вульгарна. Она — безошибочное благополучие. Ниточки, которые от нее уходят в землю, — подлинные корешки, истинные факторы луковой культуры, — кажутся ненужным и неважным придатком. Она кругла, бела внутри, определенно благонадеж-

на и буржуазна. Она — накопление, завершенность, — за счет невзрачных рабочих корешков и к ущербу поэтического оперения.

Как известно, даже и поэзия (самая бесполезная и смешная в мире выдумка) приносит иногда плод. С луковыми перьями это тоже случается: они пускают стрелку. И вот тогда хороший огородник, заботящийся о луковице и терпящий ее ботву лишь как необходимое зло, увечит красивую и стройную стрелку, надламывая ее и пригибая к земле, — чтобы она не похищала лишних соков. Стрелка вянет, а луковица от этого жиреет. И получается так: корешки работают изо всех сил, оставаясь невзрачными и хилыми на вид, перья временно красуются блестящей зеленью и воображают, что тянут луковицу за собою к небу, а на проверку и те и другие лезут из кожи, чтобы создать плотное и белотелое луковое обывательское благополучие. Схватив рукой ботву, французский огородник вытягивает растение из грядки, тащит на базар, и первая же хорошая хозяйка — если не сам он — посылает к черту и зеленую поэзию, и ненужные больше нитяные корешки.

Но мы — люди иной расы, так усиленно посылающей дряхлой Европе свет с Востока, мы, конечно, делаем поправку к вековой несправедливости. Мы задерживаем варварскую руку овощного торговца и говорим ему: «Ситуайень, не делайте этого! В луковых перьях есть свой аромат, особый, нежный, и своя изысканная вкусность. Не будьте слишком уверенным и слишком авторитетным; вы далеко не все знаете, Так, вы, очевидно, не знаете, как прекрасна яичница с зеленым луком, или пирожки с ним же, или — это уж должно быть для всякого убедительным — с ним же свежая осетровая икра».

Убеждение действует. В восемь с половинной вечера французские буржуа, плотно покушав, отправляются в концерты и театры слушать Мусоргского и смот-

реть гоголевского «Ревизора». И хотя Хлестаков хлещет французским бисером, но это не мешает любознательному французу познать то явление, которое именуется славянской душой. Душа эта еще зелена, поверхностна, но ароматна и безвредна до тех пор, пока, по недоглядке огородника, она не запустит в небо легкомысленную стрелку, тем самым ослабив плотную наливку луковицы. Поэтому, концерт — концертом, театр — театром, — а нужно глядеть в оба. В случае чего — легонько примять и пригнуть к земле. Сущности лукового благополучия это лишь принесет пользу.

Вам, вероятно, памятна картина (чья?), изображающая огородное пугало с сидящей на нем птицей: наглое отрицание действенности системы устрашения. Следовало бы использовать ее для виньетки на первой странице уголовного кодекса.

Огородное пугало — второй фазис творчества. Первый — сотворение человека по образу и подобию Божию; второй — сотворение пугала по образу и подобию человека. И, конечно, здесь, как и там, подобие сильно отличается от оригинала. На маленьких здешних огородах наблюдается и третий творческий фазис: создание образа и подобия огородного пугала. Посередине грядки втыкается палочка, а на палочку вешается тряпка. Дальше идти в искажении подлинника, по-моему, некуда. Дальше мыслима лишь дощечка с надписью: «Просят не клевать». Но это будет уже явной изменой божественной идее устрашения, жалким переходом к моральному увещанию и к опытам перевоспитания птичьих масс. То, что удавалось Франциску Ассизскому, умевшему ладить с птицами, вряд ли окажется доступно огородникам наших дней.

Но, с другой стороны, наблюдается и более вдумчивое развитие идеи огородного пугала. Неподале-

ку, где стоит колодец «нон потабль», выстроена из гнутых прутьев довольно большая беседка, сквозная, не затянутая зеленью, и в ней, на лавочке, в сидячем положении, помещена фигура человека в рваном пиджаке и в мотающейся на голове шляпе.

Если это тоже для отпугиванья птиц, то я в полном восхищении! Цель может и не быть достигнута, но как красива эта изобретательность, как последовательно проводится принцип создания «подобия», какая вера в натурализм, какое отрицание символа.

Я долго бродил вокруг домика на огороде, в надежде увидать его владельца, творца устрашающей беседки. Было бы интересно вглядеться в него, измерить взглядом высоту его лба, встретить взор его, несомненно горящий живой творческой фантазией и фанатической верой. Не удалось; очевидно, хозяин здесь не живет, считая сидящее пугало своим заместителем и достаточным охранителем своей собственности. Мне очень хотелось пробраться тайком в беседку и прикрепить к рукавам пиджака книжку с шелестящими на ветру страницами, а в карман положить подержанное удостоверение личности. Что еще? Написать на дырявой шляпе, что это — агент полицейской префектуры, а на беседке — что собственность священна, что клевать горох безнравственно, преступно, гадко, что за это воробей лишается права стать на том свете райской птицей.

Пугало в шляпе — единственное мужского пола: все остальные — в белых и серых платочках и в кофтах. Это делает наш огородный участок похожим на знаменитый Зеленый Остров. Когда вечереет, любопытно смотреть на эти молчаливые, странно широкоплечие фигуры, мигающие платочками таинственному гражданину в беседке. Уверенность, мир, прочность, законность. Горизонта нет, но зато полная надежность завтрашнего дня, а это чего-нибудь да стоит.

Не «чего-нибудь», а очень многого стоит. Когда под ногами не рождающая земля, а асфальт и камень, когда никакое живое пугало, стоящее на перекрестке, не может разогнать ваших черных и назойливых мыслей и вселить в вас уверенность, — бегите на огороды и отдайтесь созерцанию наливающейся соком луковицы. Здесь, в окружении молчаливых фигур с повисшими руками, временно исполняющих обязанности человека, вы вновь обретете ясность духа и тесную связь с землей. Ни тревожного шума города, ни мистики леса, ни рассеяния морской дали — все просто, определенно, покойно и разумно. Пусть это будет последним средством. И если даже оно не подействует, тогда...

О козьей бородке, аэроплане и артишоке

Огороды и огородики раскинулись на много километров кругом. Постепенно они завоевывают болотистую местность. Всюду пролагаются шоссе, роются канавы, вырастают однотипные домики. Людей мало, но очень много собак. Здесь, на расстоянии часа поездом от Парижа, никто не читает газет. В ближнем селении есть мелочная лавочка, на окне которой лежат «Матэн», «Пти Журнал» и книжка о приключениях Фифи Волляра. Но никогда не видал я газеты в руках огородника, а также и в своих собственных руках. Прессу нам заменяет собака, в особенности та, которая охраняет собственность моей соседки, толстенной женщины в сабо, владетельницы трех коз, трех козлят, двух многоженных петухов и утиного выводка.

Собака эта лает весь день, от шести утра до заката солнца; на ночь ее запирают. Лает она с упоением, до хрипоты, отмечая каждое событие в округе. Я уже не говорю о приезде угольщиков и почтальона или о проходе мимо незнакомого человека; это — события выдающегося значения. Но даже каждый вход и выход козы и козлят отмечается неистовым лаем.

Коза трясет бородкой и с любопытством смотрит на черного пса; с любопытством и без малейшего страха. Затем коза подходит вплотную к моему владению и ждет, не брошу ли я ей хлеба. Бросаю я или не бросаю — собака продолжает надрываться, подпрыгивая на передних лапах. Затем наступает очередь белого петуха с аристократической наружностью. Наконец собака хрипнет, высовывает язык и укладывается на отдых, оставаясь в полной боевой готовности. Минут через десять голос ее вполне восстанавливается.

Собакиной хозяйке я намекнул, что сойду с ума от непрерывного лая.

Она сочувственно покачала головой и ответила, что вполне меня понимает. Затем поговорила со своей собакой по-французски, но та ничего не поняла. Вскоре пришла коза, и все пошло своим порядком. Что было делать? Не приличествует интеллигентному человеку протестовать против гласности. Традиции сильнее нас.

Только здесь, среди огородов, начинаешь понимать, насколько мир принадлежит не нам, копающим картофель и пишущим на машинках. Оставляю в покое собаку (но, конечно, не она меня), — помимо нее как много кругом живых существ, настоящих хозяев нашего огородного мира! Прокукарекал петух и чутко слушает отклики повсюду. Не зря он кукарекает — у них сообщество, беспроволочная связь. О чем-то они извещают друг друга, зачем-то соблюдают часы. Белым горошком катятся за курицей крохотные цыплята, скребут лапками, что-то клюют в траве, что-то видят, чего мы не видим и чему не придаем значения. Свои у них разговоры, свои интересы, и мир их полон и осмыслен. Утки и гусята держатся особняком и очень напоминают не то матросов, не то морских кадетов: старательно показывают, что суша — не их стихия, что их тянет в далекое плаванье (а сами и речки никогда не видали); в дождь, когда вся остальная птица пря-

чется, не желая походить на мокрую курицу, эти, наоборот, выползают и топчутся в лужах. Все это, по-моему, показное, но любопытно. Ну а затем идут осы, мухи, всякая насекомая мелюзга, по праву заполнившая мир, в котором мы, люди, только случайные поселенцы. Специальность наша — вытаптывать траву и портить воздух каменным углем и бензином, а также отнимать у кур — яйца, у цыплят — жизнь, у козленка — молоко его матери.

Подошла к моей изгороди коза, тряхнула марксистской бородкой и сказала что-то среднее между «бе» и «ме». Козий язык для меня вроде финского или венгерского — почти ничего не понимаю. Думал, что она, видя, как я зарабатываю пишущей машинкой кусок хлеба, просит уделить немножко ей, безработной, и дал. Коза понюхала, но, вместо того чтобы есть, посмотрела на меня снова критико-литературным взглядом. Никак не мог понять, что нужно от меня этой бородатой женщине, да разъяснила ее хозяйка:

— Бедное животное скучает, мосье.

Недоставало, чтобы я стал развлекать козу!

— Она тоскует по третьему козленку, которого у нее отняли. С утра ничего не хочет есть.

Обладать физиономией, напоминающей черта средней руки, зелеными злыми глазами, прорезанными черной щелью, рогами и остроконечной бородкой, — и в то же время быть нежной матерью. Как обманчива наружность!

У меня был приятель, человек уже немолодой, с совершенно такой же бородкой и тоже марксист, очень ядовитый, съевший зубы в партийной полемике; и вот однажды он написал и смущенно дал мне прочитать нечто вроде повести, написанной им на досуге. Ничего сентиментальнее я не читывал, даже до тошноты, — но очень искренно. Думаю, что не на досуге писал, а ночами, и при этом лил слезы и глотал рыдания. Мне было даже стыдно потом в глаза ему

смотреть, и ему, вероятно, тоже. Вот как наружность бывает обманчива! С сегодняшнего дня я отношусь к козе иначе.

Очень хорошо — сидеть у окна и перевоспитываться.

С сегодняшнего утра в третий раз уже появляется под нашими облаками мерзостное человеческое изобретение, вонючка и трещалка — аэроплан. Хотя ведению моих зеленых записей не подлежит воздушный столб над грядами, но на отвратительный шум пропеллера реагируют и куры. Автомобили к нам не заезжают, — поломали бы здесь колеса и пропороли шины, — по воздуху же никак не раскидаешь битого стекла. Почему каждый авиатор считает себя вправе трещать на сто километров окружности и портить огородное настроение? И неужели мало заражать бензинным духом воздух на поверхности, — нужен еще не способный к измене и порхающим чувствам огородный однолюб.

Поэты проходят мимо него и воспевают розу, ландыш и прочие пустяковые, несложные, общедоступные цветы. Это потому, что поэты чувствительны и чувственны, но нечутки, угадывают, но не углубляются, понимают в ананасах, но не умеют отличить репы от сурепицы.

Заходит солнышко. Скоро собака перестанет лаять на козу, так как запрут и козу, и собаку. Хорошо!

Очередной вопрос: есть ли в лампе керосин, или придется пачкать руки? Но какое наслажденье жить без электричества, без телефона и без хороших знакомых!

О березках, парламенте и соловьях

Я решил заняться благоустройством пятнышка земной поверхности, на котором я живу. Еще весна —

многое успеется. Прежде всего я принес из недальнего леска две молодые аршинные березки. Нет ни одного русского человека, который на моем месте поступил бы иначе, даже если он чистокровный южанин. Затем я приступил к созданию зеленой лужайки.

Березкам расти не меньше десятка лет, пока они станут настоящими деревьями. Я проживу на этом участке один сезон до зимы. Будущей же весной некто, меня сменивший, уберет березки и затопчет газон. Ну, так что же из этого?

Соседка, суетливая и хозяйственная мадам Пуляр (подлинная фамилия, — ловко она ее выбрала!), подошла, посмотрела, криво улыбнулась. Думала — плодовые деревья сажаю, а тут — березки. Какой смысл и толк в березках!

— А что вы сеете, мосье?

— Сею я траву, мадам Пуляр. Простой газон.

Она подумала: «Чудак-человек, все траву выпалывают, а он сеет». Кстати интересно, как она подумала по-французски «чудак-человек»? Верно, все-таки что-нибудь не совсем так.

Действительно, здешние садики напоминают маленькие провинциальные кладбища. Клумбочки — как могилки, а кругом усыпано гравием, песком или известью, смотря по достатку владельца. Предложи им залить асфальтом или уложить изразцами — вот бы обрадовались!

Ну а у меня разрешается произрастать всякой траве, кроме колючей. Сад есть сад, а не газета и не общее собрание.

Цветы же у меня двух родов: родные дети и приемные дети. Родные — это те, которые вылупились из семечка, мною посаженного, а приемные куплены на базаре и пересажены из ящика в землю, в ямки среди травы. Из них сейчас хороши анютины глазки, махровые маргаритки и особенно незабудки.

Дальше вам не интересно: дело огородное. Лук пустил уже перья, редиска и салат только в проек-

те. Земля, по совести говоря, дрянь, какая-то тухлая глина. Черви в ней — как змеи, и много совсем готовых майских жуков.

В минувшее воскресенье прилетел утром аэроплан и швырнул в мой огород пачку избирательных воззваний. Догадался, куда бро́сить! Было холодно, пришлось к вечеру затопить камин, и бумага пригодилась. В конце воззвания было напечатано: «Опасайтесь избирательных трюков в последний момент, не верьте им». Так приятно было смотреть, как горят эти трюки; от трюков загорелись щепочки, от щепочек каменный уголь. А я придумал загадку: «Когда бесполезное приносит пользу?»

В нашем огородном быту ценности переоцениваются. Навоз, например, драгоценная вещь. Но настоящего навоза от аэроплана, конечно, не дождешься; хоть избиральные воззвания — и на них спасибо.

Потом я узнал: этот самый кандидат и прошел. Ну еще бы, всякий поддержит, бумага нам очень нужна, мы газет не покупаем, читать некогда. А за кого голосовать — нам безразлично; это только в Париже важно. Здесь люди живут серьезные, в игрушки не играют.

Если припомните — население на огородах мудрое. Представительная система здесь в уважении, но представители особые: от каждого дома ставится на огороде шест в пиджаке и рваной шляпе. Этот представитель отгоняет птиц, вместо хозяина, который занимается делом. Принцип, таким образом, тот же, но только представители вместе не собираются, а стоят порознь, и потому никакого голосованья не бывает. Но здешнее население считает, что так лучше: меньше возни и больше толку. А жалованье, сорок восемь тысяч, остается в кармане.

И избирательной горячки нет: просто, выберут кофту и колпак, которые похуже, порванее. Только бы рукавами пугало махало.

Ночью пели соловьи.

Французский соловей щелкает, пожалуй, не хуже нашего; нельзя отказать ему в отличном слухе. Но он не имеет представления о низкой трели. Вообще для него трель — лишь переход от щелканья к развитию темы, и он ее делает небрежно.

Наш же, русский, соловей тем и замечателен, что он не позволяет себе пренебреженья к деталям, для него каждое колено музыкально священно и изображает в звуке степень любовного чувства. Сначала фью-фью, то есть «слушай-слушай». Затем щелк-щелк-щелк (иногда шесть, восемь, десять раз) — «вот я лечу, лечу к тебе, хотя бы на край света». Конечно, — преувеличение, но без этого нельзя. Дальше — певучее коленце, в котором произносится имя возлюбленной и отмечаются ее физические и душевные качества. Тут — первая, высокая трель: «Я волнуюсь, я замер в очаровании». Опять — резкий прищелк, несколько быстрых маленьких любовных глупостей, и вот тут — низкая трель — дрожь страсти, хотя и переводимая на наш человеческий язык, но лучше не переводить; у птиц это гораздо откровеннее. Этой низкой (с крупной горошиной) трели у французского соловья нет, и высшее напряжение чувства выражается у него музыкальными перебоями любовных глупостей. Иначе говоря — любовь его проще и веселее, как бы антракт между делами, от пяти часов до семи.

Огромная разница! И так как французский соловей головы не теряет, то нет в его песне и изумительного финала наших курских соловьев, этой как бы незаконченной фразы любовного изнеможения (как в цыганской: «Не тронь меня» — заключительное: «Я вся твоя... ах... совсем твоя», — только тут поет мужчина).

Таково различие в деталях. Вообще же французская соловьиная песня короче, проще, тороплевее.

Наше щелк-щелк хотя и толкуется обыкновенно, как «лечу», но в буквальном переводе значит «иду» или, в крайнем случае, «скачу верхом»; у французов же щелк механичнее («спешу вторым классом на метро», «беру такси пополам с приятелем»). Торопливость французского соловья лишает его песню певучести, — тоже крупный недостаток.

Что касается соловьих, которые — вопреки распространенному мнению — принимают в пенье участие, то их ответный щебет довольно прост. Наши соловьихи, в общем, молчаливее; здешние словоохотливее. Характер же их реплик — один и тот же: «скажите пожалуйста», «ничего подобного», «ах, в самом деле», «ни за что», «кто вам позволил, дерзкий!», «ах, мне, кажется, дурно». Французские прибавляют: «Где вы служите?», «Я хочу непременно каминные часы с подсвечниками», «Можно и без ванны, но не выше третьего этажа».

Еще отличие. Французские соловьи болтают, врут, но не заливаются. Наш же иной раз так зальется, так заврется, так задерет голову, что едва не кувыркнется с ветки. А соловьиным девицам именно это и нравится — очень они это ценят, уж очень довольны. Потом, когда они поженятся, совьют гнездо, выведут положенное число будущих теноров и баритонов, — она, бывало, ему намекает:

— Помнишь, ты говорил мне в апреле...

— Э, матушка, на дворе август месяц.

— Значит, это были только слова?

— А-га.

— Вы — лжец и обманщик!

— Э-ге.

— О, я несчастная!

— У-гу.

Но это — разговор в августе. А сейчас — трр... фьи-фью... «т-так л-люблю, что с-спать не м-могу...».

А наутро пошел дождик, теплый и благоприятный. Мой колодец, под названием «нон потабль», довольно далеко. Пока несешь ведро, вода норовит выплескаться и попасть в завороты брюк. Поэтому дождик я одобряю, он поливает новые посадки, и родные и приемные цветочки, и луковое перышко, и зерна будущей травки.

Впрочем — какой дождик! Острый и холодный — ни к чему, от него только скука, насморк и тоска по родине. Если же дождик теплый, крупный, и падает он из легких облаков, прикрывших солнце, а само солнце глазом не смотрит, а светом дышит, — тогда пар от земли подымается, и в том пару преет семя, набухает, напруживается, — и так ему больно, и так ему радостно, сил больше нет никаких — сейчас лопнет. И как только треснула тонкая корочка, — лезет жирный белый росток, выпрямляется, буравит землю, скользит между песчинками, обходит камешек, — скорее бы на солнце посмотреть, что это за солнце такое, чем оно замечательно? От натуги же у белого ростка бросается в головку зеленая кровь. И как вылезет наружу, то сразу — на две круглые ложечки, точно раскрыл объятия: «Ох-ох, вот и я — горох».

Слыхали ли вы, как трава растет?

Я слыхал однажды летом, в другой стране, не в этой, когда солнце целый месяц не вылезало из пара, земля набухла, мхи стали - как трава, а трава — как деревья, а деревья тонули вершинами в облаке; такая была весенняя баня. И вот тогда вся живая зелень росла на глазах, и слышно было уху без прислушивания. Еще и до цветенья не дошло — а уж переросла трава всякое вероятие: иван-да-марья по грудь, лопух — двуспальной постелью, метелки шелестят по шляпе. Идешь по лугу, как по молодому лесу, и такая радость, что и рассказать нельзя. Мошкары и комаров народилось в тот год столько,

что ночью стоял гул; и жигали они, как хлыстом: хлопнешь себя по лбу — вся ладонь в крови. В то лето я лежал однажды на зеленом склоне, над малой речкой, в кустарнике, увитом хмелем, — и так был пьян от парного воздуха, от трав, от хмеля, от говора трав, что кружилась голова и забегал холодок со спины под мышку. А трава шепталась, шуршала, суетилась, торопилась, — то ли базар, то ли симфония.

Другого такого лета никогда не бывало, а зачем про это вспомнилось — не знаю. Было это в другой стране, не в здешней, — там и травы говорят на другом языке — и уж до чего знакомом... И с травами другим языком, не здешним, говорит человек. С вечера выносит старушка горшок рассады, кладет на него крапиву с корнем, переворачивает вверх дном и ставит на средовую гряду. А наутро рассаживает, приговаривая: «Не будь голенаста, а будь пузаста; не будь пузастая, а будь тугая; не будь красна, а будь вкусна; не будь стара, а будь молода; не будь мала, а будь велика».

А если горох сеют, то и для него есть свой приговор: «Сею, сею бел горох; уродися, мой горох, и крупен и бел, и сам тридесят, старым бабам на потеху, молодым ребятам на веселье».

Смотрю я на мою соседку, на мадам Пуляр, как суетится она на своем участке. Целый день одна — ужели она не умеет с травой разговаривать? Очень мне хочется научить ее причитать по-нашему: «Лягушка квачет, овес скачет» — «Сей меня в золу, да в пору» — «Понадеялся на май, да на сладимой ветерок, вот тебе и хлебец». А то еще говорят у нас: «Ай, ай, осударь май, тепел, да холоден».

И почему — «май»? Наши предки лучше называли этот третий пролетний месяц: травень, травный. Апрель же звали березозолем и брезнем. Однако и чужестранное имя «Апрель» приняли и поняли по-своему: «В апреле все преет».

Так вот... отвлеклись мы в патриотическую область. Да оно и понятно — какая здесь трава, разве это трава: дорастет до пояса — и высохнет в мочало. Скосят ее, спрессуют, а потом режут ломтиками, как рокфор: «Вам на двадцать су? Пожалуйте». И нет тебе никакого сеновала.

По этому случаю беру лопату и подкапываю разросшийся бурьян под самый корешок; все же глазу мягче будет без колючек. Останутся колючки только на кустах у самой стены домика, под окнами, лето придет — зацветут колючки прекрасным цветом шиповника. А я, глядя на них, буду повторять сложенную у нас про шиповник народную загадку:

Древо древоданское,
Листья лихоханские,
Цветы ангельские,
Когти дьявольские.

О маленьких домах и огромном мире

Страсть к маленьким домикам неодолимая! Чего же тут удивительного — вероятно, есть она у многих.

Первый домик рисовал, когда только что вышел из-под стола. Стены косые, сбоку окошечко, внизу дверь, а главное труба — и из трубы дым, витиеватый, штопором; далеко в небеса. И палисадник, и в палисаднике елка. Важно, что именно елка, а не какая-нибудь лиственница дребедень.

Вот, собственно, и определилось миросозерцание: тяга к северу, где елки, пихты, лиственница, клюква, рябчики и холодные лесные ключи. Свободный дух — смоляной, крепкий. В лесу медведи и подвижники. Подвижники — это люди, которые не любят городской вони и обязательных постановлений: святые, грешники, отшельники, беглые арестанты; они живут в скитах, молятся пенью, да и то с ленью, или волками бродят по лесным тропинкам и нюхают, откуда несет жильем и ды-

мом. Пища: сыроежки, кислица (щавель), заячья капуста, брусника, малина, смородина, пикань (такое сладкое растение) и если что можно украсть. Ненависть к форменной пуговице. Преклонение перед единой и великой властью Природы. Изумление перед чудесами ее. Вера в чудеса, очеловечение зверя, птицы, дерева, воды. Дружба с небом, особенно звездами, и притяжение к земле; ноги с ней почти срослись. Случайное пристанище — лесная сторожка без сторожа или брошенная изба. Такой домик — большая удача.

Нынешний мальчик рисует, пожалуй, небоскреб, автомобиль, аэроплан. И никакой елки, — его частное дело.

Летом жили в деревне, не на даче, а в снятой крестьянской избе. Опять домик. В пакле между бревнами клопов сколько угодно, под окном — лес крапивы, под другим — свинья в навозной луже. Большое наслажденье! Молоко крынками, грибы подводой. В речке щуки, на глубине сом; ловил на булавку уклеек. Ночью за стеной мычала корова. Хорошо и необыкновенно!

Потом начинается путаница жизни: к домику пристройки, этажи, елка срублена, рядом еще дом, подъемные машины, столица Европы, шум, бензин, палата депутатов, особое мнение, права человека и гражданина, электрическое кресло и вообще — прогресс. Но так как у каждого человека действительно есть что-то вроде души или отрыжки, то хотя бы иногда тянет его к маленькому домику, то есть к отсутствию окончательной гибели в обществе себе подобных.

Где он живет, все равно; например, на московской окраине в прочной, отлично сшитой деревянной избушке, без канализации, но с колодцем. Против окна — рябина, за изгородью пять гряд капусты и не считано, сколько картофеля; есть и репа, и морковь-каротель. В этот домик можно было убегать на не-

сколько суток, а дома от писем и газет лопался деревянный ящик со стеклышком: никто в стеклышко не заглядывал.

Капуста и репа не обязательны. Зимой гряды заносило снегом, а к домику вела непрочно протоптанная тропинка. Печка, в ней от жара свертывается и трещит березовая кора. Тишайшая тишина ночью. Призраки собственного изделия, дружба с тенями, уход из мира, право на самые неразумные мысли. Заботы: воды натаскать, пол подмести, дров наколоть и написать самому для себя самое лучшее и никому не нужное. Все — пока не придет час. А час пришел — дверь на ключ, шуба, перчатки, тропкой в улицу, улицей к трамваю, — домой, в большой дом на вскрытие опухшего от злобы ящика. Телефон, заседание, статья, тридцать восьмой параграф программы счастья проклятых будущих поколений. Если же кто-нибудь с этим параграфом не согласен, то он, натурально, негодяй, недомыслящий, ретроград, либерал, вообще — человек недостойный. Не подадим ему руку. Распнем его! Народ ждет, культура гибнет, серый пиджак вечером — неприлично. Сам не верую, но чужие убеждения уважаю и — бац по мордасам! Третейский суд — оба в высшей степени уважаемые граждане. Все дальнейшее зависит от того, ответственно ли правительство перед народом.

А народ продолжает жить в маленьких домиках.

Вы, которые устали и у которых горе от ума, — вспомните свой детский рисунок и ищите. Изо всех течений так называемой общественной мысли самым злым и завистливым было то, что осуждало келью под елью. Оно звало вас суетиться и непрестанно перебирать лапками в колесе. Но счастье и мудрость живут именно в келье под елью — горе и ум в больших домах.

Так говорил господин в белых штанах, поливая на клумбе сурепицу, которую он принял за всходы посеянной резеды. Но разве это чем-нибудь нарушило

его благодушие? Одним легким он вдыхал свежесть деревенского утра, другим — папиросный дым. Он был добрее, чем всегда, здоровее, чем обычно, красивее своей последней фотографии и наивнее собственного сына; впрочем, последнее часто случается с отцами.

«Строить воздушные замки» — выражение не русское, переводное. Итальянцам понятно назвать фантазию «испанским замком», мы же вообще о замках не думаем, а скорее думаем о хибарке. Замок — гордость, хибарка — смирение; но смирение не перед человеческими законами, а перед великими законами природы и человеческого духа.

Когда его нет, домика, его можно выдумать. Иной посадит в деревянный ящик с землей луковицу и смотрит на ее рост, другой огородит себя мысленной чертой и рычит на подходящих слишком близко.

Но как прекрасно, когда домик действительно существует!

Он стоит на земельном участке, сплошь заросшим колючим бурьяном. Кругом изгородь из деревянных колышков, покосившаяся калитка, и на палке прибита доска с надписью: «Берегитесь волчьих ям». Никаких волчьих ям, конечно, нет, и никто их не боится. Вероятно, «волчьи ямы» — ревность собственника, не желающего, чтобы на его землю ступала нога постороннего человека. Но такая надпись очень нужна: она придает вид маленькой крепости домику в два окна с черепичной крышей. Внутри железная кровать, стол и два стула. На полке дырявая и ржавая кухонная утварь, в углу угли для печурки.

Мимо проходящий заглядывает поверх частокола и видит человека на корточках перед взрытой грядкой, в которую натыканы горошины. Горошина дает

белый росток, который зеленеет и выпускает листики с мягким очертанием. Потом у юноши вырастают усы; и он цепляется ими за нитку или высокую палочку. Потом горох зацветает, и домику делается жить празднично.

Самодельной метлой выметается из домика всякая рождающаяся в пыли ложь, в том числе клочки писем, подписанных словами: «Примите самый сердечный привет». Для этого мусора рядом с объявлением о волчьих ямах выкопана яма простая. Но неправильно думать, что здесь живет мизантроп; напротив — самый благодушный человек, автор многих дружеских рецензий. Под группой деревьев разостлано одеяло, и одна нога лежащего воткнута в небо. К ней подлетает крошечная стрекоза и внимательно смотрит, застыв в воздухе. В это время где-то бегут поезда, люди повязывают галстуки, и некто в пенсне просит слова к порядку для или по личному вопросу.

Воткнувший ногу в небо думает о том, как хорошо он поступил, раздарив друзьям ко дню ангела и в память их бракосочетания незаменимые сокровища: климат Франции, том болгарской литературы, английскую самоуверенность и мечту об учредительном собрании. И им приятно, и ему небезвыгодно. Особым пакетом послана приятелю украинская самостийность. Лежащий хохочет, и нога его расшвыривает облака. Стрекоза и высоко летящий аэроплан кажутся одной величины.

Когда темнеет, лежащий перекочевывает на походную постель. По случаю луны на три километра кругом лают и воют собаки; лают они от страха, потому что пугаются теней. В домике шорохи, мыши, разговор ворсинок ссохшегося дерева. Под распахнутый ворот рубашки забивается карамора. Мирный и беззлобный сон.

Мысль человека тем свободнее, чем меньше расстояние между его головой и потолком. Бочка Диогена — великое приближение. Гроб — последнее достижение мудрости.

Кривить улыбку и отходить прочь — легко. Но не лучше ли подумать о том, что есть в отшельничестве и свое право, и своя красота. Сколько красивых сказок рассказано про жизнь святого Франциска! В сущности, маленький домик есть у каждого, — его комната, его письменный стол или хотя бы его постель. Для скупого — его бумажник, для любящего — его любовь. Но все это — полумеры и полуистины: бумажник пустеет, любовь проходит, постель делается двуспальной, и мысль господская делается рабьей. Для человеческого счастья нужен домик, окруженный зеленым миром, даже если весь этот мир зарос ежевикой и чертополохом.

В этом кратком перечне пропущен еще один маленький домик: карточный.

Возраст преимущественно ребяческий. Кубики надоели; потому у нас и мало хороших архитекторов, что в детстве мы играем в кубики. Карточный домик делать очень забавно. Одна карта накладывается на другую, и у нижней загибаются два края; из шести таких карт делается домик, а седьмая, согнутая пополам, образует крышу. Можно вырезать окна и двери. Еще можно в крыше проделать дырочку, а ласковый дядя наполнит домик дымом от папиросы. И если тогда щелкать пальцем в фундамент домика, то из дырочки вылетает дым правильными кольцами. Отличное занятие для детей и разочарованных. Легко может соперничать с пусканием мыльных пузырей.

Теперь, кажется, все, и можно перейти к общим выводам.

Выводы такие. Прежде всего — маленькие домики являются потребностью пытливого духа. Они могут быть реальными и могут быть надуманными — разница небольшая. Их главное значение — в отрицании небоскребов и в ниспровержении подержанных идеалов.

Они слишком малы для общих собраний, митингов протеста и юбилейных торжеств. Они — вне улицы и номера, и в них не доставляются письма.

Они свободны от квартирного налога. Они стоят на пустырях и окружены колючей ежевикой — для незваных. В них превосходно спится и отлично дышится наяву. Их лучшее украшенье — цветы душистого горошка у стены.

Поэтому они рекомендуются людям с малыми средствами на летнее время. Если здесь не указываются адреса и местности, то исключительно из боязни приобрести соседей. Но мир велик — ищите и обретете.

О грибах и теории горохового прогресса

Какая это чудесная вещь, когда с раннего утра (впрочем, как было и всю ночь) сыплет с неба мелкий холодный дождь, иногда переходящий в крупный и потеплее, а затем опять сменяющийся мелким и холодным.

Сыплет он длительно, безудержно, несомненно, определенно, без малейшего намека на просвет хотя бы в далеком будущем (после падения большевиков). Ближние деревья в косых серых полосках, а дальние деревья... впрочем, дальних не видно за ближними (житейский моральный закон). В комнатах сыро, вне комнат слякотно, в трубе воет ветер, двери хлопают, листы блокнота загибаются и мешают писать.

Хорошо и то, что в такую погоду решительно никто не может к вам зайти выразить соболезнование, так как калош во Франции нет, а лужи на дороге еще не обращены в судоходные каналы. И вы, с своей

стороны, никуда не можете выйти, так как зонтик забыли у друзей в ясную погоду. При этом пес не лает (он насквозь промок), куры уткнулись носами в стену, выставив на дождь только хвостики, а аэропланы не прогуливаются непрошенными над головой.

В такие чудные дни отлично работать, мечтая об открывающихся перспективах; скоро пойдут грибы. Это предрассудок, что грибы во Франции несъедобные, нужно только уметь в них разбираться, не путать белых с красными. Грибы — не политика, и без точных знаний этим спортом заниматься нельзя. Нужна голова, зрение, палка и нож; для занятий политикой достаточно лишь двух последних предметов.

Вообще о грибах стоит поговорить подробнее. Сопоставление грибного спорта с политическим можно продлить. Для успешной культуры грибов требуются приблизительно те же условия: палые листья, перегной и мох; затем образуется так называемая грибница, то есть плесень. Образуется она оттого, что старые грибы, распадаясь, обильно обсеменяют перегной. На плесени, при благоприятных условиях, вырастают грибки молодые, одинаковой породы со старыми (от белых — белые, от красных — красные, от черных — черные и т.д.). В хорошую, то есть дождливую, погоду молодые грибы чрезвычайно быстро превращаются в старые и проделывают ту же историю. Может быть, я и не совсем точно излагаю грибную физиологию, но я стараюсь быть популярным, что очень важно для воспитания молодежи.

Еще замечания и наблюдения. Красивая внешность гриба, как и величина его, еще не свидетельствуют о его высоких достоинствах. Самый большой и красивый мухомор (больше его только «зонтик», съедобный, но во Франции, кажется, не встречающийся). Мухомор столь же прекрасен, сколь ядо-

вит. Самый маленький и невзрачный — рыжик; он же и самый вкусный и ароматный (вспомните «бутылочные рыжики» в уксусе и со специями!). Легче всех грибов червивеет белый, несмотря на благородство породы; реже всех червивеет лисичка, гриб мещанской породы, хитрый, в масле и сметане приемлемый (особенно за неимением других). Гриб красный в изломе быстро делается сначала синим (бле-жандарм), а затем и черным. Самый обычный гриб, чисто демократический (то, что в человеческой среде называется «народ»), это — сыроежка. Интересна она тем, что часто принимает защитный цвет (синий, лиловый, бурый, красный), подделываясь под местные условия, впрочем, это ее не спасает от массового (иногда напрасного) уничтожения любителями спорта: не столько ее собирают, сколько просто, походя, сшибают ей головку палкой. Спокойно растут буржуазные валуи и так называемая авдотьина губа, или свинуха. Это — не ядовитые грибы, но уж очень грубые и безвкусные. Их неохотно едят даже коровы (страстные любительницы гриба белого). Более организованной жизнью живут опенки; обычно они выбирают старый полусгнивший пень, основывают на нем сначала инициативную группу, затем общество с выборным временным правлением, затем партию. Они счастливы, так как родятся в рубашках (весьма важное отличие от поганок того же вида). Назову еще прекрасный гриб — груздь; это как бы одиночка-мыслитель; но их во Франции я не встречал. Зато встречал волнушек, — порода грибной старой девы: платье с бахромой, влажность во взоре, солидное достоинство и неутраченная женственность.

Шампиньоны, трюфли, сморчки — все это не настоящие грибы, хотя гастрономами ценятся. Аромат — и гнильца; бывают такие поэты.

Неопытных любителей спорта предостерегаю от так называемой «бледной поганки»: хрупкая блондинка

на тонкой ножке, чрезвычайно ядовитая. Нечто от фокстрота и чарлстона. Многие ошибаются, принимая за добродетельную и сладкую сыроежку.

Грибов и еще бесконечно много; всех не перечислишь. Грибной спорт от спорта футбольного и некоторых других отличается тем, что не только допускает наличие мозговых функций, но и требует его. Бояться грибов, повторяю, не следует. Один профессор, лекцию которого о грибах мне пришлось слышать, доказал, что ядовитых грибов, в сущности, не бывает, так как наиядовитейший гриб можно есть в любом количестве, если выварить грибы в уксусе. Во время самой лекции профессор проделал опыт: съел до полуфунта мухоморов, тут же сварив их на спиртовке, и затем, закончив лекцию, благополучно отбыл в карете скорой медицинской помощи.

Молитва отшельника до Бога доходчива. Только что пожаловался вчера на дождик, — глянь, а сегодня и солнышко показалось, хотя большевики еще не пали. Кстати, никогда я не мог понять, как это и куда они падут, падать-то некуда! Приедут сюда эмигрантами? Но это уже было, и кончилось плохо. Сядут там в тюрьмы? Но ведь мы, вероятно, уничтожим тюрьмы, так как весьма осуждаем эти учреждения. Впрочем, на огородах о таких вещах не говорят. Вернемся к ботанике.

И бедняжки же вы там, которые в столице и в других городах! Конечно, у вас водопровод, а у меня лишь нонпотабельный колодец, да и то за полкилометра. Конечно, у вас удобства, в моем же особняке до удобств приходится шагать по травке. Но вряд ли вы превосходите меня комфортом, так как ни к одной уборной Парижа не лежит путь по такому яркому ковру, не нуждающемуся в пылесосе: основной фон — желтые цветы сурепицы, по краю протоптанной дорож-

ки — высокая зеленая соломка цветущей пшеницы (кем-то зерна брошены), за нею кустики маргариток и ромашки, пушинки одуванчика, мышиный горошек, красный клевер и та травка, цветы которой носят название «мужская верность», — дунешь — облетят, а не дунешь — все равно облетят. Так уж лучше не надсаживаться, не дуть.

Между прочим, — любопытны эти народные названия цветов. Например, — кукушкины слезки, — кто мог подметить сходство цветка со слезами этой нерадивой мамаши? Или иван-да-марья, лиловое с желтым; название очень хорошо, но может ли кто-нибудь решить, лилов ли Иван и желта ли Марья — или наоборот? А анютины глазки, прелесть полей! Кто, встретив Анюту с такими глазами, не убежал бы от нее за тридевять земель в справедливом ужасе? Приблизительно то же можно сказать о «волосах Венеры». Русскому же эмигранту следует задуматься над кличкой широколистой травы: мать-и-мачеха; это к вопросу о натурализации.

Я иногда опасаюсь, как бы, высказав наблюдательность, не обидеть кого-нибудь лично; какого-нибудь Ивана, Марью, Анюту, которые примут на свой счет размышления натуралиста и узрят себя и в цветке, и в бледной поганке. И тогда мысленно ищу такой злак или овощ, в каком никто себя узнать не захочет, — хотя мог бы узнать всякий.

Таков, например, горох, простой горох. Как поучительна его судьба!

Набухает в земле горошина — и лопается от любопытства познать мир и принять в его жизни деятельное участие. Она пускает жирный росток; упитанный влагой и пригретый солнцем, он зеленеет, рождает листики и цепкие усики. Его молодая зелень хватается за все, подтягивается, ползет вверх, обняв

палочку-подпорку, которая кажется ей прочной, солидной, неопровержимой правой. И вот — высший момент торжества гороховой мысли: прекрасное мотыльковое цветенье.

Но зреет юношеская мысль, красивая мишура спадает, рождается жажда действия. Вместо цветка — практический стручок. Стручок это — тюрьма, ряд одиночных камер, в которых каждый заключенный прикреплен к стене цепью. Уже нет больше и речи о свободных полетах свободной мысли. Стены давят, жмут, не пускают. Но и горошины зреют, грубеют, растут, — тоже давят на стены своей тюрьмы. Приходит момент — и Бастилия должна пасть. Происходит гороховая революция — стручок с треском лопается. Победа? Не знаю. Горошины перезрели, не способны к новым творческим полетам (это вам не зерна безответственного одуванчика). Много накопленного опыта, — но нет смелости и стремления ввысь: строить будут новые поколения. Грубые, твердые горошины падают на землю, зарываются и ждут новой весны, чтобы, погибнув, родить многочисленное потомство, которое должно продолжить их дело.

Так красиво получается в теории. На практике же совсем не так.

Во-первых, что это за «дело», которое бесконечно повторяется с одинаковым отсутствием положительных результатов? Идея — мысль — тюрьма — революция — крах, — и все сначала. Во-вторых (и это — самое главное), возрастания сил к будущей весне не происходит, так как, невзирая на огородное пугало, горох склевывают птицы, а потом приходит баба с лукошком и обрывает остальное. И теория прогресса ниспровергается практикой горохового супа.

Ах, как это неприятно!

О курином хозяйстве и семейной путанице

Погода ясная, и потому черный пес, привязанный на короткой цепочке, лает, надрываясь, с шести

часов утра, без передышки, до обеда. Нет оснований думать, что после обеда он прекратит это разумное развлечение. Лает он преимущественно на цыпленка, недавно вылупившегося из яйца и теперь старательно изучающего мир.

Цыпленок, по малолетству, думает, что мир чрезвычайно интересен; он не подозревает, что за последние 50 лет ничего особенного в мире не произошло. Изобретена, правда, лампочка накаливания, — но в огородной нашей жизни она применения не имеет. Трехколесный велосипед стал двухколесным, — но нельзя же считать завоеванием потерю одного колеса. Рак все еще неизлечим, насморк тоже. Войны и революции были и раньше, как будут и впредь. Изобретен еще инкубатор, — но цыпленок вывелся по старому способу, и ничего от этого не потерял. Вот если бы кто-нибудь открыл способ унять черного пса!

Не только интересным, но и непомерно огромным представляется цыпленку мир. Действительно, войдите в его положение: цветущий шарик клевера равен по величине цыплячьей головке, значит, по нашей мерке — арбузу. Червячок, которого нашла мать, — удаву. Гусь — жирафе, собака — мамонту, лай ее — грому в Ильин день. Трава — дремучий лес, лужа — Тихий океан, а обрывок газеты с объявлением о ваксе — вновь найденная «Илиада» Гомера. Не мудрено, что цыпленок носится по травке с писком крайнего возбуждения и неисчерпаемого восторга: какая культура, какие перспективы: какие заманчивые дали; а главное — какой рост сознательности в окружающей среде, какое упрочение петушиного законодательства, какие яркие лучи грядущего торжества свободы, равенства и братства! В этом пункте размышлений проходящая курица, не мамаша, а посторонняя, хорошо дает ему клювом по затылку: не путайся под ногами! Цыпленок пикает, шарахается в сладком ужасе и думает на бегу: «Вот, кажется,

началось и мученичество за идею. Пусть я погибну, но на смену мне мамаша высидит новое поколение».

Понятно, что черный пес глубоко возмущен цыплячьим легкомыслием. Если подобные идеи не пресекать в корне, — что станется с птичьим хозяйством?

И вот — смотрю — подходит прямо к псу девочка лет четырех, садится против него на корточки и пристально на него смотрит. Пес, разумеется, из себя выходит от такой дерзости: не хватало тут еще человеческого цыпленка. Тогда девочка начинает петь какую-то ее изобретенную песенку, притом по-русски, так как головка у девочки русая, а отец ее шофер из офицеров.

Она поет, прямо смотря на собаку, — и я вижу, как собака начинает страдать. Сначала она взвизгивает и скребет передними лапами, затем хрипнет, поджимает хвост, крутится на своей короткой цепочке, наконец прижимается к стене, вся дрожит, свертывается калачиком и нервно утыкает голову в лапы. Только ухо вздрагивает от страшного нервного потрясения. Любопытнейшая картина укрощения Цербера крошечной девочкой. Чем это объяснить? Одним, я думаю: уши французских собак еще не притуплены жалобной эмигрантской песней, еще реагируют на нее.

Теперь стоит только девочке показаться, — черный пес конфузится и умолкает, а я душевно радуюсь и отдыхаю.

Очевидно, куры заметили, что я наблюдаю их мир и про них пишу. Часто, проходя мимо окна, они задерживают свой степенный шаг и, поджав ногу, с подозрительностью на меня смотрят. Петух же однажды спросил меня прямо и в упор: «Как так и в каком смысле?»

И вот случилось, что, войдя в комнату, я застал в ней курицу, которая долбила клювом клавиши моей пишущей машинки. Увидав меня, курица издала восклицание и вылетела в окно.

На бумаге знакомым почерком дорожной «Короны» было отстукано:

«Сегодня я заметила, что хозяйка смотрит на меня особо ласковым взглядом и старается, чтобы мне доставалось больше корма. Это, конечно, значит, что скоро меня зарежут.

Я снесла бессчетное количество яиц и вывела пять поколений цыплят. Почти все нынешние жены моего мужа, за исключением моей матери, суть мои дочери. Мой муж, петух Василь Васильич, тоже мой сын и после всего этого — меня зарежут! И вы еще смеете писать разные сентиментальные слова о какой-то «человечности». Пакость она, ваша человечность, и чистейшее лицемерие. Все вы — рожденные палачи, черт бы вас...»

На этом месте курице пришлось прервать свое письмо, копию которого я сегодня же отправляю в соответствующую Лигу Прав.

Теперь, когда я смотрю на эту курицу, хладнокровно роющуюся в травке под окном, а особенно — когда она на меня смотрит, — я не знаю, куда мне деваться со стыда, хотя я ведь тут совершенно ни при чем: и курица не моя, и не я ее режу. Спокойствие она проявляет поразительное. Петух Василь Васильич стоит поодаль, гребешок набекрень, и думает, вероятно, о чрезвычайно запутанном семейном своем положении. Кем, например, приходится ему маленький цыпленок? И сын, и внук, и брат, и дядя. А может быть, когда цыпленок вырастет, он окажется курицей — и тогда придется на нем жениться.

Да и сам он кто, Василь Васильич? Высидела его мать, но из яйца, снесенного ее дочерью, его, следовательно, сестрой, хотя и теткой. В лучшем

случае, он — свой собственный родной племянник. Вот отчего у петухов такие задумчивые и удивленные лица.

Меньше всего Василь Васильич хотел бы оказаться в смешном положении, так как он носит шпоры. Кроме того, он является эмблемой республиканской Франции и служит представителем кинематографической фирмы «Патэ». Приходилось ему выступать и в пьесе Ростана. Женат он на матери, дочери, сестре, тетке и теще. Из них некоторые нынешней весной высидели утят и гусят, уверяя, что это тоже его дети. Потом заявили, что и сами ошиблись, — хорошенькая ошибка! Всю эту путаницу прав, обязанностей, прямого долга и совершенно посторонних занятий приходится нести на гордой петушиной шее, отказываясь при этом от лучших кусков в пользу фавориток.

И вспоминается Василь Васильичу его блаженная юность, когда он еще и сам не знал, петушок он или курочка, когда еще не носил огромной рыжей бороды и падающего на глаза гребня. То-то было чудесное время, пора иллюзий и детских восторгов! Ни хлопот, ни склоки, ни сцен ревности. За порядком смотрел тогда незабвенный и горячо любимый папаша, которому впоследствии он проломил голову и повыдергал много перьев, так как оба они ухаживали тогда за двоюродной бабушкой. Эх, невозвратная пора! А вот сейчас приходится бежать к курятнику, потому что какая-то там клохчет и объявляет, что снесла яйцо. Подумаешь, невидаль! Не успеешь управиться акушерскими обязанностями — приходится орать на весь мир, что наступил полдень. И ночью покоя нет — изображай из себя будильник. «Как так и в каком смысле?» Да, жизнь — штука хлопотная.

Покосившись еще раз на окно, Василь Васильич, не теряя достоинства и важной осанки, отправляется по делам семейным и служебным.

О любви к ближнему, о бытии и разных травах

Нынче на огородах тихо и благодатно. Утренний туман опустился на гряды, и теперь солнце выпаривает алмазы с капустных листьев. Куриная республика залегла в траву на припеке, причесывается и выискивает блох. Черный пес спит. Как рамкой, окружают щебетом своим тишину малые птахи.

Так хорошо, так утренне, что не хочется парадоксальничать и лениво злиться. Очень хочется быть приветливым, любезным и предполагать в каждом человеке искреннего друга, в каждой букашке — невинную забавницу.

Очень вообще приятно любить ближнего, как самого себя или лишь на чуточку меньше. Сейчас я вполне ясно представляю себе, как это делается: подходишь к ближнему, хлопаешь его по плечу, сильно, но ласково, и говоришь ему:

— Эх, и славный же вы человек! Отчего я вас так люблю — и сам не знаю.

Ближний смущенно улыбается и отвечает:

— Я и сам к вам питаю какое-то такое особенное расположение.

При этом ближний отводит глаза под предлогом умиленности.

Но тихо и благодатно на огородах. Хочется простить ближнему его жульничество и завязать с ним отношения на новых, самых честных и нежных началах. Сердце — как полная чаша, любви — девать некуда, все ею пропитано.

Хорошо! Вот так бы и жить всегда, любя всех любовью брата, а может быть, еще сильней, хотя преувеличивать не к чему.

Очень удобно любить ближнего теоретически, когда никакого ближнего поблизости нет, а есть собака, куры, да и те дремлют на солнышке. Но вот появляется первый ближний — почтальон, и любовь подвергается ряду испытаний весьма тяжких. Не случилось ли чего-нибудь отрадного? Только одно:

усовершенствовано электрическое кресло для ликвидации пороков, хотя еще не ржавеют топор, гильотина и наган. Росту культуры соответствует рост техники.

И все это — во имя высокой человечности и любви к ближнему. Жила-была старуха. Пришли двое юношей и угробили старуху, выручив на этом деле тридцать пять франков. Как теперь восстановить нарушенную справедливость и укрепить в сердцах поруганную заповедь любви к ближнему? Лучший способ — угробить обоих юношей, передав наследникам отнятые тридцать пять франков, за выключением судебных издержек.

А ведь хорошее выражение «угробить»! Как развивается русский язык.

Смутил почтальон душу — и удалился на велосипеде в небытие. Из небытия же, презирая калитку, появился совсем маленький и паршивенький котенок. Сам черный, мордашка и лапы белые, весь в коросте, грязный, но глаза чистые и невинные, еще молочные. Как полагается — сказал «мяу».

Выпили мы молока, он с блюдечка, я просто из стакана. Затем завязалась беседа. Котенок сказал (излагаю приблизительно; точно не могу):

— Не удивляйтесь, что я из небытия явился в зеленый мир. Хотя я мал, но преимущества небытия для меня ясны: простота, гармоничность, отсутствие вопросов, слиянность света и теней, тепла и холода и других контрастирующих явлений (он так и сказал: кон-трасти-рующих), Но есть у небытия один недостаток: надоедает оно! До того надоедает, что хоть на свет родись. Как ни приятно не существовать, но не существовать вечно — это уж утомительно. Поэтому я и решил родиться и вступить, поэтически выражаясь, на шаткий мостик, переброшенный между

двумя вечностями. Вы позволите мне еще лакнуть молочка?

Я ответил, наливая ему и себе:

– Лакнем, пожалуй. Я и правда несколько удивлен, почему вы омут жизни предпочли тому омуту, в который принято бросать слепых новорожденных котят. Небытие, вы говорите, надоедает. Но кто вам сказал, что бытие не надоедает еще больше, – нужды нет, что оно не вечно? Здесь ощущение, должно быть, гораздо острее. Скажите, пожалуйста, сколько вам... как это говорится... не лет, а...

– Мне сегодня исполнилось шестнадцать. Дней, конечно.

– А, чудесный возраст!

– Не скажите. Меня уже нещадно драли, и сейчас я на положении беспризорного.

– На что вы, собственно, надеетесь?

– Как все кошки – на месяц март.

– А вы не опасаетесь октября?

– Виноват, – сказал котенок, и, отойдя в сторону, сделал неприличность. – В моем положении беспризорного мне терять нечего и, следовательно, нечего опасаться. В крайнем случае – потеря бытия, но вы сами говорите, что оно тоже надоедает. И вообще заметьте: из царства пролетариата ничего не получилось, но не исключена возможность долгого и полного прелестей царства беспризорных. Пролетариат, на его несчастье, организован и подчинен диктатуре нетрудящихся. Мы же, беспризорные, в диктаторах не нуждаемся, и наш октябрь ни на какую свободу не посягнет. Разрешите лакнуть?

– Лакайте. Хотя у вас еще и то молоко на губах не обсохло.

Котенок улыбнулся немного старческой улыбкой:

– Молоко, конечно, еще не обсохло, но ведь не вы ли говорите: все надежды на молодежь! Так что же нам, – ждать, пока борода отрастет?

Он свернулся клубочком и немедленно заснул. Наш разговор, так меня взволновавший, не имел продолжения. Пока я записывал его, котенок исчез, допив все молоко, остававшееся на блюдечке, и оставив доказательство своей реальности.

Французы очень поздно косят траву, получается не сено, а солома. У нас крестьянин знает, что «до Ильина дня сено сметать — пуд меду в него класть». Настоящий «сенозорник» месяц июль, самое его начало, — а в августе уже какое сено. Однако вчерашней ночью, при молодой луне, славно тянуло сенным духом с недальнего скошенного поля.

Разучились люди любить травы. Кто теперь в Иванову ночь ищет цвет кочедыжника, кто тешится обладать пучком разрыва-травы, терлича, архилина? Кто собирает купаленку, медвежье ушко, богатеньку? Пучки богатеньки в былое время собирали по пучку на каждого члена семьи и высушивали: чей цвет завянет, тот в тот год умрет или заболеет, — судьбу важно знать заранее. А на Украине собирали голубые сокирки, красные пахучие васильки, пунцовые черевички, панский мак, желтый зверобой, ноготки разноцвет, канупер, полынь, колокольчики. Из этих трав свивали купальский венок, а полынь носили под мышками, чтобы отогнать обаянье нечистой силы. Одни названья-то — какая прелесть, какой аромат!

Теперь дамы покупают духи Герлена (кажется, эта фабрика уже устарела, другая модная); этими духами мажут себе бока, шею и под носом. В горах над Ниццей и Каннами туристам показывают фабрики духов: чаны для переработки цветов, прессы, перегонные кубы, всякие машины. Только никто никогда не видит такой фабрики в действии, так как давно уже не выделывают духи из цветов, а выделывают из



Мать – Елена Александровна Савина
Пермь. Начало 1900-х гг. Пермский областной краеведческий музей

Отец – Андрей Федорович Ильин
1879 г. Фрагмент групповой фотографии Пермский областной краеведческий музей

Пермь. Мужская гимназия, где учился Михаил Ильин
Открытка конца XIX в.
Пермский областной краеведческий музей



Михаил Ильин – гимназист. Пермь
Середина 1890-х гг.
Пермский областной краеведческий музей

Пермь. Вид на Кафедральный собор и реку Каму
Открытка конца XIX в. Пермский областной краеведческий музей

Пермь. Здание, где находилась редакция «Пермских губернских новостей»
В этой газете сотрудничал Михаил Ильин и работал его брат Сергей
Фото М.В. Фрадкина. 2002 г.





Пермь. Кама вечером
Открытка конца XIX в.
Пермский областной краеведческий музей

Окрестности Перми
Река Егожиха
Открытка конца XIX в.
Пермский областной краеведческий музей

Уфа. Дом Аксаковых. Ныне – мемориальный музей Аксаковых
Фото Л.В. Сатаевой. 2002 г.



Поручик Василий Борисович Нагаткин (1784/85 – после 1850), муж тетки М. Осоргина *(по отцу)* А.Ф. Нагаткиной, племянник С.Т. Аксакова



Александра Федоровна Нагаткина (1791/92 – после 1850), родная сестра отца Осоргина

Портреты неизвестных художников середины XIX в.. Национальный краеведческий музей республики Башкирия (портреты обнаружены в запасниках музея в 2002 г. научным сотрудником В.Н. Макаровой)



Марка Книжной
лавки писателей
Работа В.А. Фаворского.
Из собрания
Т.А. Осоргиной (Париж)



Марка Книжной
лавки писателей
Работа В. Фалилеева
Из собрания
Т.А. Осоргиной (Париж)



Экслибрис
М.А. Осоргина
Работа В. Фалилеева
Из собрания
Т.А. Осоргиной (Париж)

ПОМОЩЬ

БЮЛЛЕТЕНЬ ВСЕРОССИЙСКОГО КОМИТЕТА ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ

От редакции

Газета «Помощь» (1921 год. № 1), редактором которой был М.А. Осоргин

Пишущая машинка
М.А. Осоргина

Вещи М.А. Осоргина

Бронзовая карандашница, перьевая ручка, перочинный нож, треугольник

Карты для пасьянса



Коробочка
для хранения перьев

Рыцарь – настольная бронзовая статуэтка, принадлежавшая отцу Осоргина. Всегда стояла на столе писателя



Карманные часы на планшетке,
сделанной самим Осоргиным

М.А. Осоргин
в кабинете
Конец 1930-х гг. Париж.
Из собрания
Т.А. Осоргиной (Париж)



М.А. Осоргин
Шабри. 1940–1941 гг.
Из собрания
И.Г. Угримовой
(Москва)



М.А. Осоргин
Начало 1940-х годов
Из собрания Т.А. Осоргиной
(Париж)

Шабри
Из собрания Т.А. Осоргиной (Париж)

Вокзал в Шабри
Из собрания Т.А. Осоргиной (Париж)

Вид на реку Шэр
Из собрания Т.А. Осоргиной (Париж)



Дом в Шабри,
где жили Осоргины
Из собрания Т.А. Осоргиной (Париж)



Могила Михаила Андреевича Ильина-Осоргина в Шабри
Из собрания Т.А. Осоргиной (Париж)



Мемориальная доска М.А. Осоргину
в Перми, установленная в октябре
1996 г. на здании бывшей мужской
гимназии
Скульптор Алексей Кутергин,
архитектор Александр Шипигузов
Фото М.В. Фрадкина. 2002 г.

Татьяна Алексеевна Бакунина-Осоргина – душеприказчица писателя, издатель его последних книг, составитель его библиографии
Из собрания И.Н. Угримовой (Москва)



того, что полными буквами, да даже и сокращенно я назвать не решаюсь. Потом наливают в граненый пузырек — а мы нюхаем и мажем под носом. Бабушки наши, настоящие любительницы духов, плевались бы от таких запахов. Бабушки тонко понимали, что значит «букет». Есть у меня старинная любимая книжечка «Щеголеватая аптека», из которой ради такой науки и прелестных звуков выпишу здесь рецепт изготовления «Небесной воды». А свойство сей воды — «производить веселость, здоровый цвет, укреплять память, зрение и возбуждать разум. Употреблять оную по утрам, намазывая ею лоб, виски, веки, затылок и шею».

А вот и рецепт, с просьбой к корректору не исправлять милого старинного слога: «Выбери самых лучших сортов ниже следующих вещей: корицы тонкой, гвоздишних стебельков, мушкатных орехов, инбирю, растения, называемого галанга, белого перцу каждого по одному унцу; с шести цитронов кожу, две горсти лучшего или дамского винограду, столько же крушины, четыре горсти мужавеловых спелых ягод, горсть семени зеленого фенхелю, горсть базиликовых цветов, горсть цветов иипериковых, горсть цветов розмарина, горсть цветов маерана и травы полея, столько же самбукового дерева, роз мушкаду, руты, скабиозы или грудной травы, центавра травы и агримонии; два унца спиканарда индейской травы, два унца алойного дерева, два унца райского семени, два унца галмеи травы, два унца мушкатного цвету, два унца желтого сандалу, одну драхму Алоэ Эпатика, одну драхму душистой Амбры, две драхмы ревеню. Все сии вещества смешать хорошенько, иные изрезать другие истолочь, как способнее будет, и положить в стеклянный куб или колбу крепкого стекла, и на оное налить самой лучшей французской водки, чтоб оной было на два пальца выше смешения. Потом, закрыв и замазав плотно кубик, поставить в лошадиный горячий навоз на две

недели, а после, приставя трубу и приемник, перегонять через песочную баню, и перегнать два раза, тогда уже будет вышеупомянутая вода готова».

Вот что значит — любить травы и ценить их аромат! Кто усомнится, что «небесная вода», так приготовленная, не только производит веселость, но и укрепляет разум!

Любовь к ближнему, проблема бытия и рецепт притиранья наших бабушек, — как много важных тем родит огородная жизнь! И как трудно решить, что чего важнее. Маленький мой садик зарос травой, и я не знаю, что чему предпочесть: репейник настурциям или душистый горошек сурепице. Сорных трав не бывает: живущее не может быть сором. Человеку милее пшеница, бабочке-крапивнице — заросли бурьяна. Завидую тем положительным людям, которые знают, где кончается шутка и начинается серьезное и на каком слове нужно начинать недовольно хмуриться, чтобы не попасть в словесную волчью яму. Как удобно жить таким людям, и как пахнет от них камфарой и нафталином!

Что, впрочем, не предохраняет их от моли.

О чертополохе

После того как Владимир Андреевич рассказал мне о лично им удобренных тридцати грядах собственного огорода, — я понял, как смешны мои пять луковых перьев и мой салат, не достигающий двух сантиметров высоты. Больше я не заикнусь об огородных овощах. Каждому свое. В частности, мне — чертополох, ежевика и одуванчик: иной растительностью участок не богат.

Но не вообразите, Владимир Андреевич, что ваши успехи поразили меня в самое сердце. Конечно, мне

досадно, что я не собственник и не могу унаваживать с осени, так как зиму живу в Париже. Однако ведь и ваша фасоль – ничтожество в сравнении с рисовыми полями китайцев и виноградниками апулийцев. Повторяю, каждому свое; мне – чертополох. Я люблю чертополох. Я удовлетворен чертополохом.

Когда я прохожу от калитки к домику, чертополох колет меня сквозь одежду, за ноги цепляются заросли ежевики. Я весь изранен, исцарапан, кровоточив. Другой на моем месте бросил бы такой неприветливый приют или, на худой конец, повырубил бы с корнем сорные травы и колючие кустарники. Я этого не делаю, а наоборот – учусь понимать и любить чертополох.

Его ствол (ведь он – как дерево) покрыт колючим пухом; его листья вырезаны с таким расчетом, чтобы к ним не было подступу: каждый изгиб оканчивается иголкой. Бутон его цветка – как зеленый еж. Очень странно, прямо неестественно, что самый цветок розов и нежен. Любовь берет свое – каков ни будь характер. Я думаю, что природа, устраивая эти любовные фокусы, не столько умиляется, сколько ухмыляется.

Против нас чертополох достаточно защищен, то есть против Владимира Андреевича, меня, козы. Но есть у него враги посерьезнее: разные ползучие и летучие букашки. Тут напрашивается невольное сравнение. Чертополох, как отшельник, несомненный мизантроп. С близкими порвал, новых знакомств чурается, желает быть одиноким. Штыки во все стороны, крепость – первоклассная, издали смотри – близко не подвигайся. Но... «мысли, как черные мухи». Не вне себя, а внутри себя ищи причину, о ты, колючий и нелюдимый!

Оберегая коленки от иголочных поцелуев, наклоняюсь и смотрю. Что вижу – о том рассказываю, потому что надо же, наконец, хоть немного интере-

соваться природой и философией, иначе в жизни останется одна кислятина.

И на листьях, и на колючках, и на бутоне, и на цветке — целое население ползающих и летающих. Преобладает тля — но где ее нет! Тля — бытовое, житейское, самое неотступное. От мелочей быта никогда и нигде не укроешься: ни в храме, ни в ванне, ни в яви, ни во сне. Можно огородиться от льва, от носорога, от лучшего приятеля, но от тли не укроешься. У нас, у людей, тля — это непрестанно бегущая стрелка часов, потребность в соленом, привычка к чтенью и бритью, обычай начинать письма словом «многоуважаемый», мысли о смерти и о закате Европы, вообще — все обычное, изнуряющее, прилипшее к подошве конфетной бумажкой. И у чертополоха что-нибудь вроде этого. Тля родит тлю, та родит следующую, и все они семьей и поколениями сосут чужой жизненный сок.

В учебнике теории словесности, которую в наше время проходили в гимназии, приводился пример неблагозвучия: «Не тлит ли тля сребра и злата?» Я убежден, что она тлит и сребро и злато.

Тлит она и чертополох, и нас с вами, Владимир Андреевич.

Затем — отряд летучих. В их числе плоский зеленый клоп, из тех, которые иногда попадают в рот вместе с ложечкой земляники. Что делает клоп на чертополохе — не удается выяснить. Вообще удивительно, как он накалывается на иголки — он такой плоский и тонкий. Зачем он лезет? По отсутствию земляники, которая уже отцвела, отъягодилась и теперь пускает усики? Во всяком случае, клоп на чертополохе постоянен. К обычной бытовой тле присоединяется временно сосущее, как бы случайные неприятности одинокой жизни, очередные удары судьбы.

И наконец, особая муха, которую только на чертополохе и можно наблюдать. Изумительная приспо-

собленность! Среди иголок она — как дома: никакого на них внимания. И сама похожа на иголку — длинная, вытянутая, с двумя хвостами, тонкими, как ниточки. Это, конечно, не хвосты, но я не силен в естествознании: в мое время оно не преподавалось в мужских гимназиях. так как считалось, что природоведение наводит на революционные мысли. Сейчас уже не приходится опровергать этот вздор: всякому понятно, что наоборот — природа учит примирению с существующим строем, все равно каким. Итак, предположим, что мухина иголка есть не хвост и не жало, а яйцеклад.

Какая поразительная гибкость! Муха эта занята исключительно распускающимися бутонами чертополоха. Он цветет кистью розовых трубочек. В каждой трубочке есть, вероятно, и мед, и пыльца, и все, что полагается в любви и браке людей и сложноцветных. И вот муха неестественно выгибается, одну пику подымает в воздух, а другую вонзает в цветочные трубочки, быстро-быстро, в одну за другой. Жизнь насекомых так чудесна, что понять ничего толком нельзя, можно только любоваться и изумляться. Кто говорит, что знает и понимает — не верьте: хвастает или ошибается. Он знает — что, а все-таки не знает — почему. Начинаются слова: инстинкт, борьба за существование, стремление продолжать род. Инстинкт — слово, ничего не выражающее; больше ума, меньше мудрости, а в общем — неудачная выдумка умных, не способных к мудрому постижению, завистливая и презрительная отписка людей, смущенных и разобиженных весенним перелетом птиц, государственным опытом муравья и пчелы, непонятным бытием паденки, в которой много любовной страсти и нет органов пищеварения. Но, Владимир Андреевич, мы отвлеклись.

Предположим, что муха откладывает в цветок чертополоха яйца, — эксплуатация чужого любовного цветения, незваный гость на свадьбе. Что же тогда

остается от одиночества чертополоха, от всей его колючей крепости? Ровно ничего! Быт — налицо, временное и случайное присасывается клопом, и даже храм любви осквернен.

Так стоило ли, черт возьми, выращивать на самом себе иголки и колючки, надевать на себя проклятую личину отшельничества, расти на пыльнокаменной земле пустыря? Может быть, Владимир Андреевич прав, может быть, его картофельные гряды — гораздо высшая потребность духа, чем пустырь, эмблема не горделивого аристократизма, а рядовой бесталанщины?

Вот это и есть те самые — «мысли, как черные мухи».

Жили мы, когда еще не были несчастными, в своих губерниях, и там можно было с разбегу броситься лицом в траву и ржать, зная, что не уколешься. Здесь лучше этого не пробовать — наверняка занозишься и заржешь невесело. Это уж такая природа — камень, игла, строительный мусор. Садясь — подстели хотя бы носовой платок, если жаль пиджака и нет пледа. Но что за сладость, не будучи ни казаком, ни эсером из Земгора, всерьез садиться на чужую землю? Ведь только этим двум категориям по-настоящему присуще чувство земельной собственности. Мы же — люди попроще, без навязчивых идей и аграрной программы, — мы давно оставили жеребячьи повадки, не ржем, не ищем в Булонском лесу несуществующих березовых рощ, а относимся к колючкам так, как к колючкам нужно относиться: с подозрительной осторожностью и праздной наблюдательностью. Где можно — обходим, где нельзя — философствуем. Но за отсутствием более близких объектов любви — готовы любить и чертополох. Тогда, из вежливости и нежности, мы называем его не сорной травой, а «сложноцветным». В последнем размышлении содержится отдаленный намек на наше отношение к европейской культуре. И вообще тут,

что ни фраза — то скрытый символ: сначала пишется фраза, потом придумывается символ; автору удобнее, читателю безразлично.

Но по-настоящему чертополох есть символ гордости нищего. Изо всех растений он — самое философическое и углубленное. Трудно представить себе длину его корня, еще труднее этот корень вытянуть, не оборвав, из земли. Если же оборвать — трех дней довольно, чтобы появились новые побеги. Старый корень тверд, как древесина, молодой раз в десять длиннее зеленого ростка. Зато там, где все вянет и гибнет, — чертополох растет привольно, жирно и стойко, не боясь ни влаги, ни засухи. Неприхотливость — стоицизм — неприступность — самодовольство. Губит и сушит его только цветенье и плод, то есть отказ от одиночества и индивидуальности, уступка соблазнам мира, спуск с философических высот на рынок жизни. В этот именно момент на него нападают тли, зеленые клопы и черные мухи. Затем он сохнет, оставаясь колючим и в мумии. Жизнь, в общем, красивая. Из героев древности таким был Самсон Назорей, из поэтических образов — немецкий сверхчеловек Заратустра.

Было бы смешным притворяться, что жить в зарослях чертополоха и других колючих растений очень приятно и что 30 гряд, лично унавоженных Владимиром Андреевичем, не вызывают волнующих чувств. Но, вступив на скользкий путь зависти и соблазнов, можно покатиться стремглав вниз по наклонной плоскости и докатиться до полного приспособленчества. Я знаю, что, взрасти я репу, — мне до слез захочется повидать Звенигородский уезд; и тогда тля начнет тлить раньше времени. Поэтому я так ценю тропинку, ведущую от калитки к домику, по которой приходится проходить с великой осторожностью, зигзагами, охраняя руки, коленки, платье. А уж как достигнешь, наконец,

,уединенного крылечка и оглянешься на пройденный путь, — назад не потянет! Солнце и сюда светит, черных мух и здесь довольно, а вместо лишних дум можно углубиться в созерцание колючих листьев и зеленых ежей чертополоха. Под его охраной лучше думается и покойнее спится.

Не маните же меня, Владимир Андреевич, сладкой морковкой!

Лирика, которой не мог ждать читатель о великом кукареку

«Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день...».

Не люблю стихов и искреннейшим образом считаю, что эта устаревшая и надоедливая литературная форма годится только для латинских исключений и алгебраических формул (легче их заучивать), что Евгений Онегин, будь он написан прекрасной пушкинской прозой, несомненно, много выиграл бы, — и все-таки —

Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало...

Повремени же, о лето, остановись, о солнышко, не угасай так быстро, о блеск зеленый трав!

Так мало было ясных дней — и так длинна тут мокрая парижская зима. Зачем же холодные росы ночей, зачем туман, зачем спешить с сединами, какая в них прелесть — еще успеется!

Спаржу пустили на семена, и она колышется маленькими пышными деревцами, поздняя редиска лишена свежащей горечи и пахнет затхлой землей, морковь вся повыдергана, помидоры перезрели, ботва фасоли желта и грязна. Деревья еще зелены, но их верхушки качает осенний ветер, уже готовый сорвать с них красу наряда.

Повременило бы, правда, солнышко, а то уж и мыслям становится холодно к вечеру: что за спешка!

Растет на моих глазах за одно лето третье поколенье цыплят; последнее, осеннее, невзрачное. Оно появилось на свет, когда цветы уже утратили свой мед, травы — сладость и нежность, воздух — ласковость. Силы цыплятам набраться неоткуда, ноги их слабы, пушок и перо без блеска. Хилое будет поколение, переколет его хозяйка все целиком. Поколение по неволе практическое: без идей и без иллюзий. Не знало ни весны, ни мечтаний, ни сладких обманов. Прямо из яичной скорлупы — на холод, на твердые зерна овса, на кухонные отбросы, — ни живых букашек, ни сладких козявок, ни радуги в водяной капле. С первых дней — уже все в прошлом и все понятно: ни наивной детской веры, ни прекрасной чепухи, ни восхищенного изумления великой жизнью огородов, уже отцветших и поблекших.

Великую жизнь огородов оживляет куриное племя. Подойдешь к окну — и со всех концов, помогая себе крыльями, хлопотливой перевалкой хозяек, опоздавших стать в очередь, спешат к окну куры — потребительницы остатков моей скромной кухни. Почти все выросли на моих глазах, и некоторых я зову по имени и отчеству или по кличке: Анна Ивановна (мать последнего поколения), Василь Васильевич (главнокомандующий петух), Поганнинини (злючка с ощипанным хвостом), Большевик (здоровенный петушок, у всех из-под носу вырывает), Самостийник (лазит ко мне в сад без спросу, особняком держится). Я-то их знаю, а вот сам лично им совершенно не интересен. Ни на одном курином лице не видал я улыбки привета, хотя трижды в день кормлю их (даже сардинку давал). Смотрят серьезно, чуточку корыстно, даже требовательно, а до дум моих, до чувств моих — никакого им нет дела. Порою это очень обидно! Не то чтобы нужна мне была их ласка и признательность, а все же больно: и в обществе — и один; на голос отзываются, к окну бегут толпой — а что про

себя обо мне думают — черт их знает; вернее, что какую-нибудь неприятность. Гуси, те все же отзывчивее; подразнишь — шипят и смотрят глупо. Кто из них больше на людей похож — не знаю; бывают и такие, и такие.

Возможно, впрочем, что все это только кажется и что куриное сердце нежно и отзывчиво. Мы, люди, подозрительны, и там, где нет улыбки, — видим подвох и недоброжелательство. Не потому ли часто не видим готового подвоха там, где улыбка сияет и горит вольтовой дугой? Куриному лицу природой придана форма постоянной и неизменной маски; ни любви, ни ненависти, ни восторга, ни раздражения; человеку приходится не только натягивать маску постоянно, но еще делать это так, чтобы ее не было видно.

Родятся же такие грустные раздумья потому, что нет уже более прежнего солнышка, что воздух не ласков, роса слишком холодна и земля пахнет не травами, а тленом.

Если бы можно было остановить солнце! Но только раз остановилось оно в писаной истории, — по просьбе Иисуса Навина, и то для целей военных, для гибели людей, а не для любви. Память и мысль человеческая не могли удосужиться и придумать случай более радостный.

Огородные записи никого не хотят обидеть или огорчить — не в том их цель. Но есть слова, произносить которые просто, без прикрасы, в простом и точном значении, считается в обществе неприличным и неприятным. Например, слова «любовь», «человечность», «терпимость». Не таким же ли стало и слово «свобода», и уж, во всяком случае, слово «товарищ»? Не с ним ли и слово «дружба»? Не смешно ли, не глупо ли, не грубо ли пытаться выговаривать

их просто, без хитрого словесного узора, думая, что звук этих слов родит в слушающем и читающем связанные с этим звуком простые и ясные представления? Придите в гости к своим друзьям и заговорите о прелести и святости чувства дружбы. Справьтесь заранее об адресе ближнего врача, который сможет вправить им челюсти, вывихнутые зевотой. Я тоже, — если зайдете, предпочту сыграть с вами в шахматы; я не люблю юродивых и праведников. Нет, хорошие слова нельзя произносить просто: стыдно и говорящему, и слушающему.

Если же сказать хочется, — городите огороды и сажайте в них овощи. Огородный мир прекрасен и богат. Только спервоначалу кажется, что впечатления его примитивны; гряды, травка, куры, гуси, чучело в измызганной шляпе. В действительности же он полон оттенков житейского, жаждующего параллелей. Из вашего участка, обнесенного оцинкованной проволочной сеткой на деревянных столбиках, протянуты нити во все концы мира. Вначале кажется, что белый петух поет свое кукареку только для себя и для своих кур. Но это не так. Он поет — и слушает. Ему откликаются петухи с далеких участков. Им откликаются с еще более отдаленных. Радиусами от вашего петуха, во все концы земли, между морем и морем, передается в условный час нам непонятное кукареку. Петух об этом знает, и он слушает чутко перекаты волн мировой гармонии: в эту минуту он связан со всем живущим, истинным, куриным великой связью единений и взаимного признания. Сам удивленный и завороженный, он чувствует себя нулем в мире, единицей в ближнем хоре, многозначным в своем курятнике, — жрецом изумительного культа, бардом природы, подголоском солнца, свершающего свой неизменный кружный путь.

Я уверен, что петушиное слово «кукареку» есть простое и ясное понятие вроде нашего слова «любовь» или слова «счастье», одно из коротеньких слов, си-

нонимов «солнца», которыми мы небрежно кидаемся, которых мы не произносим серьезно в обществе, стыдясь их наивного и примитивного значения. Но птицы честнее нас и проще, они поют это слово и обмениваются им как условным паролем, чтобы оно могло опоясать мир восторженной передачей из уст в уста, из одной петушиной груди в другую. В этом кукареку вся их религия и их мораль: священное слово единения, гимн общения, восторг перед жизнью.

Петух поет всегда прямо к солнцу; но и ночью, на насесте, он продолжает верить в солнце. Миру спящему, видящему злые и беспокойные сны — продолженье злого и беспокойного бодрствования, — он посылает свое смелое уверение в том, что солнце живо, продолжает свой путь, вновь явится и засияет, — что дан тому залог в великом кукареку. Его слышат другие — и тоже откликаются. Слышим и мы и говорим себе: близок рассвет. Как будто и нам рассвет этот нужен, как будто прежде, чем трижды пропоет петух, — трижды, еще в полусне, не отрекаемся мы от заветов нашего человеческого кукареку.

И вот, если словесным кружевом облечь простейшую идею, если смешным словом «кукареку» заменить любое из воспрещенных приличием к свободному обращению маленьких и многозначащих слов, — можно говорить, не вызывая кривых усмешек. Читатель не хочет проповедей, он просит пишущего выкинуть коленце. Ну что ж, мы не гордецы, мы готовы. Вот — анекдот для среднего вкуса, вот — каламбур, вот — неожиданная шутка, цветная картинка, намек, выпад, двусмысленная фраза. Читатель пьет свой аперитив, глотая и подброшенную в него пилюлю. Если он еще молод и не съел зубов в практике злости, — будет сие ему на пользу.

В огородном мире есть добро и есть зло, но нет злопамятства. Вырвать вкусный кусок из-под клюва соседа — добро, получить крепким клювом по загривку — несомненное зло. Но в ту же минуту —

полный мир, добрые отношения. Огородным миром правит эгоизм, но он не оформлен статьями кодекса, не освящен голосованием подобранных представителей. У кур нет законов, нет суда и нет тюрем; первый среди равных, петух Василь Васильич, смотрит за порядком, уступает пищу несущимся и оплодотворяет. Он же — хранитель великого кукареку. Но он не царь, не господин, не начальство. Нет выборов, нет партий, нет склоки и клеветы. Прочная общественность, без речей и диспутов. Равенство возможностей при разности оперенья. Простор для талантов: нет надобности одному завистливо чернить другого (даже покойника). Нет почвы для религии ненависти, прикрытой набожностью. Отечество там, где хорошо: нет поводов считать помойной ямой утраченную родину и хоронить ее в памяти. Нет власти: значит, нет и террора. Прелесть глаз — зелень травы, надежда жизни — солнце, основная задача — непрерывный рост. Не борьба с природой, не уничтожение ее, а вечное с нею слиянье, жизнь в ней, в звучной гармонии великого кукареку.

Мимо изгороди, разгоняя кур, ждущих корма, проходят люди. Как повсюду во Франции, мужчины изранены, контужены, волочат ногу. Марна, Шампань, Верден, чужие фронты. Ранен кем-то, убивал кого-то. Успокоил ли их души огородный мир? Научил ли ненавидеть войны? Или раны требуют отмщения, кровь — крови, смерть — смертей? Впрочем, я не предлагаю людям жить идеалами и обычаями мира огородного. И это потому, что

— лучше быть плохим человеком, чем хорошей курицей.

Смерть Василь Васильича и о Большой Медведице

Белый петух Василь Васильич, о котором много раз я упоминал в огородных записях и к которому за последнее время искренно привязался, — приказал долго жить.

В обычный час, когда булочник привозит хлеб и я распахиваю окно на широкую лужайку, — куры явились грустной и нестройной толпой. В толпе были три молодых петуха с первыми бронзовыми перышками в еще не отросших хвостах, — но Василь Васильича не было. И я понял, что .это случилось: хозяйка осуществила свое священное право на жизнь и смерть граждан свободной куриной республики: она убила Василь Васильича как уже отслужившего свою службу. Позже на помойке я увидел его белые перышки.

Растут молодые, — зачем ей старый петух? Он отслужил свой год, ведя дела куриной коммуны, поддерживая порядок, умножая население, отмечая полдень и полночь своим кукареку. Он был еще крепок и мужественен, — но среди детей его нашлось сразу три заместителя, выбор среди которых хозяйкой еще не сделан; и из них двое обречены на ту же судьбу. Только временно в курятнике безначалие, скоро жизнь войдет в норму. И Василь Васильича забудут.

Это был петух джентльмен: спокойный, справедливый, полный достоинства, настоящий рыцарь. Грубая и безжалостная рука схватила его за ноги, другая ударом ножа отрубила ему голову. С ужасом и отвращением смотрю я на женщину-палача, отнявшую жизнь у того, кто своим кукареку объединял наш маленький мирок со всем миром, кто будил нас, напоминал нам о вечном круговращении солнца, о победе света его над ночной тьмой. Я с резким укором говорю хозяйке:

— Вы убили петуха, моего любимца!

— Да, мосье, было пора.

— Вы съели его?

— Да, мосье. Но я не знала, что он вам нравился. Если мосье угодно, я освежую ему одного из этих. Они совсем молоденькие, еще вкуснее.

— Я не ем своих друзей, — отвечаю я сухо хозяйке и вижу, что она удивлена. Но все русские — ужасные чудаки.

Широкая спина, седые волосы, красные рабочие руки... Я чувствую, что могу простить хозяйке ее преступление. Я ей прощаю потому, что она, убивая петуха во славу нормального куроводства, не ставила вопроса о его виновности или невиновности, не ссылалась на требования правосудия, не томила свою жертву долгое время угрозой казни, не обставляла кровавый акт торжественностью, не прибегала к помощи оплаченного убийцы в маске. Действуя, как вульгарный убийца, она не чувствовала себя ни отверженным, как «мосье де Пари», ни героем, как губернатор Фуллер, ни негодяем, как Имярек. Искреннее всех их, она просто — оттяпала сама голову своей жертве и съела ее тело, бросив перья и кишки в помойку.

В ее цинизме много наивности, но нет все же кретинической логики парижского журналиста, написавшего в одной французской газете по поводу покушения Ванцетти на самоубийство перед казнью, что «тюремной страже удалось вовремя помешать ему выполнить свой печальный проект». Ни один орангутанг в мире не додумался бы до такой фразы, после которой холодно и страшно ощущать себя человеком! Да, я охотно прощаю хозяйке за то, что она не судья, не лицемер, не блюститель правосудия. Когда-то в тюремной камере меня брил уголовный убийца, и за услугу я пожимал ему руку; когда же приезжал в тюрьму хорошо воспитанный прокурор, ничьей кровью лично рук своих не обагривший, я отодвигался, чтобы не задеть его полой пиджака. Молодость богата предрассудками. С годами мы научаемся протестовать умеренно, выдержанно, издали, не смешиваясь с толпой, бьющей стекла магазинов.

Сегодня я наконец решил для себя вопрос, который стоял передо мной открытым в течение всей жизни. Вот как это случилось.

До меня в домике среди огородов жил, вероятно, немец. В нижнем ящике комода я нашел немецкую брошюру и картинку идиллического содержания (среди зелени качается на качелях розовая девица, по непорядку одежды которой можно определить, откуда дует ветер). Там же я нашел плакат, раньше висевший у постели, с надписью, гласящей в переводе:

Кто вовремя ложится — вовремя встает,
Кто вовремя встает — вовремя засыпает.

Такой текст мне не очень подходит, хотя идея регулировать жизнь плакатами, несомненно, отлична. Я знаю страны, где плакатами заменена решительно вся действительность, где — если по ним судить — грудные дети мечтают о мировой революции, нетруждающиеся не едят, труждащиеся едят несытно, но зато обладают всей полнотой власти.

И вот я вспомнил, что за всю свою не весьма краткую жизнь не мог окончательно решить, когда, утром или вечером, нужно заводить часы: заводил то утром, то ложась спать, а так как не мог точно запомнить, когда завел, то заводил по нескольку раз и среди дня. Для часов же это очень вредно (хотя не понимаю, почему, но так уж принято считать).

Кажется — пустяк, а в действительности очень важно. Если бы, например, солнце забыло, где восток и где запад, когда вставать и когда ложиться, то во что бы обратилась Западная Европа? Это и другие соображения заставили меня на изнанке немецкого плаката начертать свое изречение: «Часы подобно человеку заводятся по утрам». И вывесить плакат у самого изголовья постели.

Вечером, ложась спать (в деревне ложатся спать вечером, а не под утро), я позабыл о плакате и завел часы. Проклятая национальная беспорядочность и непри-

вычка к системе! Пришлось, продолжая дело самовоспитания, вывесить на другой день плакат новый.

«Прежде всякого действия — прочти внимательно плакаты».

Теперь внимательно прочитав написанную страницу, я вижу, к какой путанице мысли привели меня немецкие обычаи. Решение я принял «сегодня», нарушил его сегодня же «вечером», а новый плакат вывесил «на другой день». Выходит, что сегодня — завтрашний день. Вот что получается, когда человек не вовремя заводит часы и когда русский пытается стать немцем!

Вышесказанное посвящаю тем, кто ревниво охраняет свои национальные качества, хотя и живет по латвийскому паспорту; на чьем камине красуется тульский самовар, в качестве обже-д-ара; кто считает «кнут» эмблемой национальной, а «серп и молот» — амстердамской выдумкой, кто за повешенье и против расстрела, за старый стиль против нового, за «ять» против «всем, всем, всем». Вообще людям прочной складки и широкой натуры. Я не шучу: без них жизнь так стремительно летела бы вперед, что — при неверии в прогресс и вере в круговорот истории — мы докатились бы до каменных орудий. А часы пришлось бы определять по солнцу, а не по «Мозерам» и «Омегам».

И с особенным национальным сладострастием я верчу пружину своей «Омеги», хотя время обеденное. Пусть я не немец, пусть мне не дается плакатное самовоспитание, — зато и картинка с девицей, распустившей по ветру свои кружева, не чарует моего глаза; подай мне васнецовскую Аленушку с мистическими глазами!

Темнеет здесь сразу, потому что некому подменять дневной свет электрическими фонарями и мига-

ющими вывесками. И, когда темнеет, обычные дневные облака уходят на отдых, а небо покрывается звездами. Нынешнее лето так уж сложилось, что хорошая погода бывает только по ночам. Звезды же тем хороши, что это те же самые звезды, что и у нас. Я думаю — понятно где — «у нас»? Не знаю, какое созвездие ищет на небе француз, русский же ищет (да и вообще знает) только Большую Медведицу, Стожары, Хвост, Голову, и по линии Альфы и Омеги — Полярную звезду. Здесь полагается вздохнуть, хотя Россия вовсе не на север, а на северо-восток. С большим правом могут вздыхать на эту звезду итальянские эмигранты.

Огородный мир покрывает тьма. Кусты кажутся лесом, легкие изгороди — каменной стеной. Год назад здесь были охотничьи болота, год спустя вырастет город. Пока наиболее культурные собственники карликовых участков развели у своих домиков сады, удивительно похожие на уютное католическое кладбище: клумбочки, напоминающие могилы, плотно утрамбованные дорожки, и только надпись у калитки, вроде «Мон Репо» или «Трианон» свидетельствует о том, что участок предназначен для живущих, а не для тех, кем они станут со временем.

Но сейчас, поздним вечером, не видно ни надписей, ни самих домиков. Огородный мир спит, переваривая съеденное за день. Его сон охраняют собаки излюбленной здесь волчьей породы. На Большую Медведицу смотрит со своего порога только русский, живущий без собачьей охраны. Охранять нечего: что было, то ушло, а что осталось — того никому не нужно. Да, того не похитит ни один вор, а похитив — не обрадуется! Но не похитит, нет! Похищают ценное. А кому нужны думы наши и наши ленивые сомнения?

И я живу без собаки...

Об осени, гостях и непостижимом

На огородах осень.

Надо с осенью бороться, чтобы она наступила как можно позже. Зима понятна и непобедима, зима — конец всему, тут уж нечего делать; а осень еще можно отсрочить, обмануть. Какое обидное и несправедливое время года! Здесь нет никакого «очей очарованья», никаких лесов, одетых в багрец и золото; только выгоревшая в засуху трава и летающий пух отцветшего бурьяна. Переросший салат пустил высокий стебель, кроты изрыли весь сад. Новыми длинными, жирными ветками шиповник, как паук, охватил стену моего карточного домика. Ласточки летают высоко над голым полем, и им, по-моему, невесело.

Чтобы бороться с осенью, я заново возделал цветочную грядку и засадил ее, жирно удобрив, резедой и душистым горошком. Посев взошел скоро, резеда стала зеленым островком, горох завил усики быстро, не в пример весеннему. Чувствуется какая-то торопливость в их росте, — боятся опоздать. Я тоже боюсь за них, особенно за резеду: успеет ли она зацвести? Вдруг прольется холодный послеобеденный дождик — и за ним придет осеннее ненастье; тогда цветов мне уже не дождаться.

Их было много весной и летом, — но их никогда недостаточно. Хотелось бы полянку жизни нашей так привесить к солнцу, чтобы оно влекло ее с собой и за собой и чтобы всегда было тепло и ясно, без непогоды и без сухих трав; молодая зелень никогда не наскучит, и нет ничего прекраснее и таинственнее прорастания зерна, рождения первых листочков и появления неожиданных красок в лопнувшем за ночь бутоне. На эти чудеса можно смотреть без конца, потому что это — самое удивительное и ни с чем несравнимое. Можно это очень точно описать, запомнить, назвать, сопроводив латинскими словами, цифрами, таблицами, — но понять по-настоящему

и до конца все равно нельзя, потому что это - совершенное, несомненное, неизреченное чудо. Вечность, движение светил, жизнь нашей мысли, — все это постижимо, хоть трудно и загадочно; понятен, пожалуй, сон зерна, как момент перерыва вечности, — но рост любой ничтожной сорной травки чудесен и непостижим; от разума нет и не может быть ему никаких объяснений. Ни от разума, ни от веры, еще более беспомощной. Какое счастье, что есть на свете непостижимое; было бы без этого нестерпимо скучно.

Очень редко, раз в месяц (реже, пожалуй), ко мне на огороды приезжает кто-нибудь из Парижа, в шляпе, в галстуке, с газетой в руках. Входит с улыбкой, размахивая руками, довольный, что прошел пешком от станции. Говорит: «Как у вас тут хорошо, как дышать легко». А у меня, в действительности, так себе, жалкий участок, некрасивый, только домик забавный и приятный. Но воздуху, правда, много.

И вот мы разговариваем. Я ему показываю резеду, хотя она еще маленькая, до цвета еще далеко; но у меня это сейчас самое главное. Он смотрит, говорит: «Да, замечательно!» Потом он рассказывает, что в Париже скука, что видел он на днях того-то да того-то, что тот книжку издает, а этот все носится с идеей какого-нибудь такого предприятия, вроде журнала, что ли, чтобы объединить... Я ему показываю:

— Вот, посмотрите, пчела на клумбе; я ее знаю, она прилетает раза три в день. И удивительно, как она помнит, на каком цветке была, а на каком еще не была. Лапками уцепится, тормошит цветок, мед выискивает, пыльцу собирает в желтый комочек, хозяйничает. Серьезная такая, домовитая, работ-

ная. Зрение отличное. Я к ней привык, к этой пчеле.

Он смотрит, но как-то недостаточно внимательно. Говорит:

– Да, любопытно. Хорошо вам тут жить. А вот в Париже духота, неизвестно зачем люди живут.

Как гостеприимный хозяин, я стараюсь занять гостя. Вот, например, два белых мотылька; только что летали порознь над полем, может быть, и знакомы не были, а сейчас, встретившись, кружат друг около дружки, и вдруг оба понеслись вверх, точно в вальсе, куда-то к облакам, и долго их видно, потому что их освещает солнце. И путь их вверх пересекся с полетом ласточек. Я говорю:

– Смотрите, это, по-моему, любовный полет. И как у них все внезапно случается, у нас бы сколько сначала разговоров, кокетства, всяких фокусов. Трудно, конечно, сказать, что лучше. Как вы думаете, ласточки их не склюнут?

Он посмотрел, сказал: «Удивительно красиво», – но на нем был крахмаленый воротник, шея затекла, неудобно смотреть вверх. Кстати вспомнил и рассказал мне маленькую парижскую сплетню про один «любовный полет»; рассказал незлобно, но с хитрецой.

Потом еще немного поговорили, он – о журналистском съезде, а я спрашивал, нет ли у него знакомых в Риге, чтобы выписать оттуда семена укропа, здесь никак не достанешь. Он говорит: «В Риге скоро будет выходить новый русский журнал, библиографический». Я говорю: «Я даже не знаю, как по-французски укроп». Потом показал ему, какая у меня редиска вкусная, выдернул одну, чтобы он попробовал.

– А как же ее мыть нужно?

– А вы просто платком землю оботрите, да и кушайте.

Он съел как-то недоверчиво и сказал: «Вкусная, совсем как настоящая».

Конечно, ему со мной скучно, потому что ничего-то я не читал за последнее время, ничего не знаю. Ушел на полчаса раньше, чем нужно к поезду, говорит: «Пройдусь». На прощанье долго руку жал:

— Эх, завидую вам, так бы и остался тут жить.

Осень на огородах.

Я думаю так, что примириться с осенью, вообще можно, но примиряться обидно. Разве что найти в ней, в поре увяданья, свой смысл. Мы говорим, например: трава увядает, трава желтеет. Но она желтеет потому, что созрела и отдала земле свои семена. Радость жизни и роста сменилась чувством исполненного долга. И вот, вместо живых соков, — хрупкая древесина, которая сгниет и пойдет на удобренье земли. Нет, никак нельзя на этом утешиться. Хорошо бы — никакого долга не платить, благородного чувства этого не испытывать, — а жить, и жить в зелени и вечном цветении. Наскучить это никак, по-моему, не может. Одной тайной — тайной смерти — будет меньше, но это не убыточно.

Сидя на крылечке, я наблюдаю такую попытку победить осень и смерть. Цвел махровый мак; ствол его был жирен, листья могучи, и всего два цветка, огромные, красные. Один доцвел, а другой я срезал для букета. Но жизни в корнях и зелени осталось еще достаточно. И вот, когда весь мак в саду уже отцвел, высох, в шариках своих наделал форточек и даже частью высыпался, — этот, у лесенки, решил не сдаваться. Уже при пожелтевших листьях он выпустил несколько маленьких, неуклюжих, мятых бутонов, в середке, на изломе, повсюду, и быстро-быстро начал наливать их жизненной влагой. Ему повезло, потому что погода держалась теплая и немного туманная, — отлично для роста. Теперь на нем

распустился пяток махровых оборвышей. Прежней красоты и в помине нет, главное, нет силы и уверенности; а все же какое-то подобие лета и молодости, упорство в борьбе с осенью.

Сидя на крылечке, я смотрю, как он мне кивает, — и сам ему киваю:

— Браво, молодец, нечего стесняться; вторая молодость все же лучше смиренного успокоения. Соседи над тобой смеются, а сами в душе завидуют.

Он отвечает:

— Рано срезали мой первый цвет; теперь доживаю недожитое.

Осень на огородах. Курица тоскливо смотрит на последний свой выводок: все до единого утята. Материнское чувство борется в ней с невольным презрением. Она осторожно обходит лужу, а дети ее толпой в эту лужу лезут. Ей нечистота и мокреть противны, она аристократка. И эти длинные желтые, плоские носы. Курица смущенно озирается и чувствует себя отверженной и одинокой. Бросить детей и уйти нельзя, они еще малы; но за что суждено ей воспитывать таких уродов? Не иначе, как шутка осени, и гадкая шутка.

Осенью на огородах я дописываю последнюю в этом сезоне страничку.

Вот она, эта последняя страничка огородных записей.

Если на самом плохом участке земной поверхности выделить и огородить колючей проволокой самый ничтожный клочок земли, лишь бы росла на нем трава, а в траве жил мурашик, — живой мир может считаться созданным.

Он включит в себя все малое, что мы знаем, и все огромное, что постигаемо, но до конца не постижимо. Его жизнь не меньше жизни большого нашего города, только гораздо ярче, красивее, многоцветнее и мудрее. Потому мудрее, что рост травы и суета мурашика согласованы только с природой и мыслимы

только в живом и в вечности; а Лувр и Палата депутатов — мертвое отложение незадачливой мысли и будут разрушены, как разрушена Бастилия. В человеческом городе мертвая вещь больше своего раба — человека. Совсем иначе на огородах, где нет вещей, потому что все живо, включая песчинку земли. И мудрость присутствует только здесь.

Вот почему так обидно и унизительно слышать шум пропеллера над огородами — эмблему ничтожества и бессмыслицы человеческих достижений — но горд и полон высокого значения полет паучка на длинной серебряной нити в бабье лето. Участок земли, огороженный проволокой, учит идти с природой, а не против нее; борьба с ней нечестна и бессмысленна, дружба с ней дает настоящую и полную радость. Ум, которым гордимся мы, ничтожен в сравнении с высокой мудростью мурашика (мы, в своей гордыне, называем ее инстинктом — словом, ничего не значащим). И счастлив вот этот мой мурашик, которому нечего бояться, не в чем усомниться и не нужно выдумывать себе своего мурашкинского бога; ему не нужна загробная жизнь ни в сказке, ни в потомстве, ни в памяти себе подобных, и единственное, к чему он стремится, — длить, доколе возможно, жизнь настоящую.

Осенью на огородах все живое и зеленое борется за лишний день и за лишнее мгновенье. Оно умирает зимой, возрождаясь весной в тысяче насеянных семян и отложенных яичек. Но смерть его есть смерть, а не сон; потому и жизнь его есть жизнь, а не призрак существованья.

Где-то, либо в траве, либо под крышей, есть осиное гнездо. Осы суетятся от зари до заката, ловят мух и осаждают банку с вареньем. Они тоже упорно длят жизнь, но не философствуют. Этим занят на огородах только человек, сидящий на крылечке.

ПИСЬМА ОБИТАТЕЛЯ

О своем саде, Всемирном Братстве Чудаков и неразрешимых загадках

Накручивая на валик пишущей машинки чистый лист бумаги, я бываю полон самых добрых намерений, — поговорить о предметах серьезнейших и злободневных; например — куда мы идем и чем все это кончится? Но я не знаю, куда мы идем, и не уверен, что все это чем-нибудь кончится. С другой стороны — я твердо знаю, это вслед за земляникой созревает красная и белая смородина, потом черная, после крыжовник, что в цветении установлена самой природой последовательность: крокусы, примулы, желтофиоли, незабудки, нарцисы, тюльпаны, сирень, жасмин, розы, лилии, астры, хризантемы, в промежутках — всевозможные летники, и этого порядка не изменишь иначе, как искусственной выгонкой. Беседами на садовые темы я могу заполнить и лист, и тетрадь, и целую книгу, не почувствовав в пальцах профессиональной тошноты. Только на этом фоне всякая мысль расцвечивается живыми красками, не застывающими в условность, и нет решительно ни одного житейского вопроса, который оказался бы чуждым тому, чьи ноги касаются самой прочной основы — голой садовой земли. Для мысли и слова нужна верная, бесспорная точка отправления, положение, в котором не может быть ни обмана, ни случайной ошибки; такой исходной точкой может быть только живая Природа. Это настолько же верно, как и то, что мы дышим воздухом и питаемся произведениями земли.

Вот почему, решив говорить только правду (то есть то, что для меня — правда), я прежде всего ищу для себя живой и неложной опоры. Я отказываюсь от сытного и сладкого, я надеваю кандалы и иду во временное рабство, я позволяю людям, которых не уважаю, быть работодателями и цензорами, я стискиваю зубы

и обслуживаю руководимую ими толпу, в глазах которой я — любимый приказчик хозяина, я проглатываю свое унижение старого работника, которому швыряет кредитки сиделец идейного лабаза, — и я вью себе гнездо на клочке земли, добытом моим трудом и моей кровью, моей безумной усталостью, моим отвращением одинаково и от господ, и от верных рабов.

Мне чужд дух собственника, — но нужна крепость, ворота которой я могу держать на запоре. И уж сюда — «да не входит не знающий геометрии!». Я бы не хотел даже, чтобы входил сюда не знающий юмора, потому что это — самая страшная порода людей.

Моя крепость — бревенчатый сарайчик, сложенный из срубленных лишних деревьев маленького участка. Но вокруг — мой сад, который сегодня еще мал и хил, но завтра посмеется над садами Семирамиды, потому что он мой и я могу украсить его и цветами живыми и цветами воображения. Завтра или позже — когда захочу. Пока я довольствуюсь тем, что вскопал, что засеял и что вырастил. Этого достаточно, чтобы избыть накопившуюся злость и обиду, отмахнуться от прошлых мыслей, забыть себя и даже свое крестное имя и стать только о б и т а т е л е м.

Между обывателем и о б и т а т е л е м начертательная разница только в две буквы; и филологически совершенно необъяснимо, почему эти понятия так несходны, даже прямо противоположны. Можно мыслить на луне обитателей, но ужасно подумать, что и там обыватели. Дон Кихот был обитателем, его оруженосец — обывателем.

Обыватель живет на земле с малой буквы, Обитатель присутствует на Земле с большой. Обыватель — член семьи, профессионального союза, партии, церкви, он выборщик, подписчик газеты, посетитель

углового кафе. Обитатель — член Всемирного Братства Чудаков. Обыватель — профан, обитатель — посвященный.

Чудаки подобны петухам: они перекликаются в ночи, среди дня и на заре, не видя друг друга. Как и петухи, они тоже иногда клюют всякую дрянь, полагающуюся личному быту. Но приходит момент, когда житейское исчезает — и накатывает волна великого «кукареку», объединяющего петухов всего мира священным трепетом в безмерно прекрасной мелодии. Волна опоясывает земной шар и возвращается к своему истоку. Символ вечного возврата «единого во всем», круговорота жизненной силы. Точно так же перекликаются и человеческие чудаки. Над ними смеются, но только их чудачеством светел мир.

Нас немало, одновременно в разных странах света сидящих на корточках перед муравейником и с великим интересом и великим ужасом наблюдающих жизнь, которая в лучшем случае предстоит и человечеству. Вместо живых существ — механизмы, которые, на заре заведенные, не могут остановиться до заката солнца. Рабы разума, действующие по канону, без малейшего отступления, строго логически, — и ни протеста, ни возмущения, ни озорства, ни поэзии, ни наплевательства, ни даже легкого уклона! Так вот в чем осуществление «неминуемого прогресса»!

Сидя так, на корточках, до боли под коленками, мы шлем друг другу через мировые пространства протестующие «кукареку»! Мы объявляем войну перспективе такого будущего, мы торжественно обещаем друг другу не сдаваться, делать всякие пакости обывательству, взрывать его быт и портить его моторы. В крайнем случае, мы найдем себе Атлантиду, окружим ее частоколом с узенькой дверью, в которую будет впускаться только знающий пароль и давший клятву оберегать его от непосвященных.

И когда все человечество обратится в муравейник с идеальным рабством под именем «свобода», —

в Атлантиде день будет называться ночью, ночь — днем, солнце — луной и наоборот, и каждая попытка создать закон будет истребляться в зародыше насмешками, шутками и пением «кукареку». Муравьи нас, конечно, съедят, но, наглотавшись яда нашего чудачества, они скоро пошлют свой муравейник в тартарары, потому что в стройности их здания каждый лопнувший винтик и прогнившая балка могут оказаться роковыми. Во всяком случае, мы погибнем с честью, не сдавши позиций, из века любезных и дорогих всемирному Братству чудаков-обитателей.

———

Разница только в две буквы, и ее не всегда легко уловить. Например, еще один Чудак решил на карликовом участке построить идеальный дом. Тысячи обывателей делают то же. Всю жизнь работая, они копят сантимы, покупают кубическими метрами цементные брикеты, возводят в этом году стенку, в другом — другую, через три года лепят крышу из розовых плиточек, через пять — вставляют окно и вмазывают раму двери. Тем временем земля родит капусту, лук и высоченные бобы. К старости они переселятся сюда на покой.

То же делает и Чудак. Пять дней он работает, как вол, в Париже; два дня проводит в деревне на своем участке. Но строит он не дом, а нелепую башню, — строит своими руками, привозя на тачке камень и брикеты. Нижний этаж будет жилым — в одну комнату, в комнате будет гамак, в гамаке — Чудак. Верхний этаж — библиотека, хранилище книг, которых никто, кроме него, не читает, не покупает и не знает: песенники, сказки, загадки, пословицы и прибаутки. Третий этаж — круглый храм с окнами на все четыре стороны.

На закате в каждое окно он будет выкрикать загадку — и ждать ответа. Ответа никогда не будет.

На рассвете отсюда же будет слушать, как сначала пикают и чивикают, а потом во всю голосовую трещотку гомонят птицы. Ночью будет спать в гамаке, ежась от холода и радуясь аскетизму. Затем он подарит свой дом первому встречному и уедет охотиться на бизонов.

Может быть, я что-нибудь перепутал, но приблизительно так. Я был на его постройке; мы вместе обсуждали мечту построить башню до самого неба, но так, чтобы она не скривилась. На это нужно затратить жизнь нескольких поколений. Неисполнимо, — но как было бы хорошо!

Соседи считают его слабоумным, хотя, конечно, он всех их умнее. Но ему невозможно поступать иначе: он — член Всемирного Братства Чудаков.

Шаркая тяжелыми сабо, я обхожу свой сад и свои гряды, снимая гусениц и опрыскивая кусты табачным раствором. Без этого погибнут розы, которые уже забутонились.

Вопрос нравственного порядка, потому что гусенице также хочется жить. Вопрос о сознательном убийстве — вдобавок к тысячам невольных и нечаянных. Заповедь «не убий» грешит тем, что она заповедь, приказ, начальственный окрик, кроме того, она противоречит природе живых существ и всей Природе. Природа — симфония убийств, живоглотства и взаимопожирания.

В припадке любви и раскаяния я осторожно снимаю гусеницу и бросаю ее на участок соседа, он разводит кроликов и сдирает с них шкуры. Я, так сказать, переношу на него ответственность, по возможности оставаясь святым. Ему все равно пропадать.

Так проходят часы в борениях совести. Одна из тех загадок, для которых мой знакомый чудак строит третий этаж башни. Обитатель завидует обыва-

телю, для которого таких вопросов нет. Шкура кролика продана, а мясо его нежно и сладко.

За такими размышлениями все кусты опрысканы. Обрываю усы цветущей клубники. Пропалываю редиску. Смотрю, как наливаются стручки гороха. Радостно вижу, что липа готовит цвет.

В эту минуту раздается пение петухов. Я понимаю: это — перекличка вопросов и загадок, искание ненаходимой Истины! Не ответы важны: важно то, что совесть не может не ставить вопросов. Это и есть недоуменное преклонение перед Природой, которая сама — загадка и сама соткана из вечных противоречий. И вот почему еще никто не видал, чтобы петух улыбнулся, как это, подражая человеку, делает собака. Петуху улыбаться никак не возможно, он удивлен и размышляет за всех, он — самое ответственное из живых существ, как человек — самое легкомысленное.

«И абіе петел возгласи — и изыде Петр и плакася горько».

В переводе на простой человеческий язык, все это означает, что даже и в отвратительную погоду в отвратительном климате хорошо жить среди зелени на вольном воздухе. Празднословия и праздномыслия никак сразу не сбросишь, — но уже намечается истинный путь Обитателя: путь незлобного созерцания.

Обыватель прочитает с неудовольствием — обитатель поймет и посочувствует. В этом и различие между ними, по виду — ничтожное, по существу — огромное.

Обитатели всех стран, соединяйтесь!

О видимом и невидимом, современной культуре, любви к ближнему и разных языках

Некогда здесь были непроходимые леса; упоминание о них сохранилось в названии местечка. Затем поселилась французская святая, о чем должна свиде-

тельствовать яма, выложенная камнем; яма могла быть и подвалом, в котором хранился картофель, но зачем разбивать иллюзии: я придерживаюсь сказа о святой. Потом завелся неизбежный феодал и выстроил башню, на которой не так давно водрузил большую доску с надписью «монюман историк», но впускают пока бесплатно. В башне живут нетопыри, а в окнах и бойницах лепят свои гнезда ласточки. Сверху вид на то, что сталось с лесами: на полное отсутствие лесов. Вместо них — расчерченная на крохотные лоскуточки болотистая земля. Каждый лоскуток — достояние яростного собственника, оправдание его трудовой жизни, перевоплощение его пенсии, покой его старости, гордость его жены, тюрьма его собаки, царство его граммофона.

Ближайших соседей у меня двое: Видимый и Невидимый.

Видимый приезжает по воскресеньям и занят насаждением высокой культуры: не только вырубает деревья, но выкорчевывает пни и обрабатывает суглинок под огород по системе перекопа на перевале (смотрите, профаны, курс огородничества И. Беттнера, а мне объяснять некогда).

Сосед Невидимый прошлой осенью блеснул и скрылся: явился полный решимости, размахнулся, повалил все деревья и больше не возвращался. Изгородь его участка упала и гниет.

С Видимым мы по внешности приятели («Ca va?» и «Ничего себе, ca va!»), но внутренне друг друга ненавидим. Я его — за то, что он оголил свой участок; он меня — за то, что я оставил все деревья. Он отнял у меня тень — я лишил его южного освещения.

Что такое культура? Вот что такое культура:

Стоит лес. Приходит человек и сносит лес на дрова (деревянный период культуры).

Однако лес продолжает расти, конечно, — пожиже и помельче. Рубить его больше не стоит.

Человек возвращается и спрашивает себя: «А нет ли под этим мелколесьем строительного камня?» Он копает и извлекает камень (каменный период культуры). Ямы он оставляет или слегка заваливает мусором. Затем уходит надолго.

О, земля, неустанная роженица! О, солнце, вечный источник жизни! О, земная влага, питающая оплодотворенное семя!

Из мусора тянутся кривые березки, кустистые липы, конский каштан, тонкостволый дуб; между ними акация, боярышник, сирень; все завито козьей лозой и колючей ежевикой; на камнях папоротник и плющ, в оставшихся ямах — гнилая вода с пиявками и головастиками. Раздолье кроликов, фазанов и мелкой болотной птицы.

Человек возвращается с ружьем, убивает кроликов, истребляет фазанов, изводит птицу от утки до последней пичуги (охотничий период культуры). Опять ни к чему мелколесье и болота!

Но в городах тесно, а в сберегательных кассах малопроцентно. И вот приезжает господин нового типа, соображает, вымеривает, ликует. Создается общество, прыскают во все стороны агенты, — и карликовые капиталисты попадаются на лакомую приманку.

Наступает период участковой культуры. На нем остановимся, хотя впереди еще периоды: капиталистический и городской.

Участки проданы. Перепроданы. Переперепроданы. Временные изгороди заменены проволочной сеткой, поставлены столбы с угрозами: «волчья яма», «злая собака», «капканы со взрывом». Конечно — вранье, но все же острастка. Ставится подобие дома для воскресных наездов.

И наступает золотое время участковой культуры.

Все живое, зеленое, ветвистое, цветущее, деревенское должно быть уничтожено начисто. Земля

обращается в пороховой паркет. Там, где рос дуб, тыкается в землю рассада ужаснейшей капусты, не дающей кочна и достаточной на два супа. Остальная площадь засыпается мелкой трухой каменного угля или заливается цементом с дырочками для клумбочек розы и георгина. Вот, собственно, и все готово: в домике граммофон, на окне занавеска, в будке несчастный пес, лишенный любимых запахов и радостей любви.

Проложена улица и названа «Авеню де Шен», — в знак того, что на всех участках не осталось не только дуба, но и единой лесной фиалки. Но зато есть склад угольщика и два бистро. В летний праздничный день — неумолчный вой граммофонов и озверевших от холостой жизни собак. У мадам Жирофле пропала курица — скандал!

У нас улица еще не проложена, хотя название есть. Но деревья у всех вырублены, — только мой садик торчит досадной бородавкой. Как же не презирать меня соседу Видимому! Как же не ненавидеть лютой ненавистью!

Из бородавки переименовываю свой сад в оазис.

Когда я снимаю замок с калитки, моими руками покрашенной, и вхожу в цветущее великолепие, — сад встречает меня словами: «Не будь несправедлив! Люби ближнего соседа по участку!»

Предположим, что его зовут Анри, и он двадцать третий год служит в транспортной конторе, из них семнадцать лет женат, имеет дочь и сберегательную книжку, а разумной экономией сколотил небольшую сумму на покупку участка в рассрочку. И вот свершилось: он помещик!

С какими чувствами он проталкивается в вагон субботнего поезда! С какой готовностью мирится с сыростью и холодом собачьей конуры, выстроен-

ной его же руками в ряд предшественников суббот и воскресений! Каким свежим и бодрым просыпается на заре, чтобы не пропустить минуты деревенского отдыха!

Кто бы он ни был, — его отдаленные предки, наверное, ковыряли землю. Весь пропитанный пылью и смрадом города, он о них не думает, но чувствует зуд в руках и страстную потребность тормошить, насиловать, копать эту землю, бросать в нее зерно, наблюдать рост побегов, волноваться нападением улитки, защищать, отстаивать, смотреть на небо, — друг оно или враг? — отгонять воробья, топтаться на квадратном метре, ощущать его своим, особенным, прекрасным, пространственно неизмеримым, культурно непревзойденным, возбуждающим общую законную зависть.

Время идет невероятно быстро, солнце непозволительно спешит описать воскресную дугу и погрузиться в тусклый понедельник, в транспортную контору, в двадцать четвертый год, из бытия в быт, из мира волшебного в тяготу длинной недели.

Снова одетый в городской пиджак, он бережно увозит с собой сверточек салата, — собственного, особо нежного, непередаваемого вкуса. Это только кажется, что таким же и лучшим завалены парижские рынки! Аромат своей земли, бледно-зеленый оттенок своего труда! Мягкость, ласковость! Его едят, как ценнейший и избранный экзотический фрукт, с благоговением и чувством благодарности судьбе за дарованное счастье.

Здесь, в городе, время ковыляет тихо, дни сменяются лениво, особенно медлительны четверг и пятница. Утром в субботу нервы едва выдерживают ожидание, — и вот опять поезд, плохо сдержанное нетерпение, осанка собственника, милая калитка, быстрый обход владений, солнце радости, тучи разочарований, щавель оправдал надежды, — но проклятые жучки начисто обглодали всходы редиски!

Человека надо любить, человека нужно понимать и жалеть, радостей у него мало, его фантазия ощипана, город выпил его кровь и съел его косточки. Чудесно это, хоть раз в неделю быть дикарем и ребенком!

Никогда не смейтесь над соседом!

В будни тишина — никаких соседей. Слышно, как растет трава.

Осенние посадки запоздали. Кусты сирени, здоровые, но еще низенькие, сплошь покрыты кистями лиловых и белых шариков.

Клубника, усердно вскормленная, бережно выведенная из прошлогодних усов, готовит выбросить вверх целые букеты. Молодая смородина в цвету, крыжовник так кудряв, что забываешь об иголках. Незабудки огромной шапкой, фиалки малыми шапчонками. Уже кончаются тюльпаны и нарциссы, им на смену ирисы. А что будет, когда вся прозрачная изгородь кругом сада затянется розами, горошком, вьюнками и ползучей настурцией! Газон в ландышах и полевых гиацинтах, дикий виноград выпустил, наконец, листочки.

И этот самый простодушный Обитатель читал книжки и играл в бридж? Невероятно! Если бы здесь услыхать слово «черви», — в ответ не раздалось бы ни «пас», ни «три», ни «без козыря», просто: «что за беда, скормите их курам!» Раз черви так жирны, — значит, земля была хорошо унавожена. Вреда от них нет, скорее польза.

Зеленый свод берез, лип и дубов. И птички, облюбовавшие оазис, орут без умолку в любовном настроении.

Все-таки пришла настоящая весна. Третьесортная, но все-таки. Пришла для нас с соседом, мучеником транспортной конторы.

Гость. В пальто, шляпе и перчатках. Говорит «чудесно!» и улыбается, как взрослый, попавший в детскую. Мы оба — люди увлекающиеся, и разговор сразу принимает оживленный характер.

Он: Дела-то какие творятся в мире!

Я: Из овощей у меня лучше всего взошла репа.

Он: По-видимому, война неизбежна...

Я: Против тли лучшее средство — опрыскиванье табачным раствором.

Он: В утренних газетах опять тревожное известие...

Я: Утренники, конечно, очень для огурцов опасны.

Он: Орудия невиданной силы...

Я: Я предпочитаю легкую мотыгу, а для клубничных гряд — цапочку.

Он: И кончится это, конечно, мировым пожаром.

Я: Вода у меня проведена и поливка обеспечена.

Он: А вы все о своем?

Я: Вы, кажется, тоже о своем?

Он: Да, но один снаряд удушливых газов — и вся эта ваша капуста погибнет!

Тут я сразу обиделся и резко заявил:

— Милостивый государь! Можно говорить что угодно, но принять помидоры за капусту — значит быть полным невеждой! И вообще, мы говорим на разных языках.

Из вежливости он еще потоптался, затоптал чудесные всходы махрового мака и извинился, что не может остаться дольше. Я выразил сожаление и посоветовал поспешить, чтобы не опоздать на поезд.

И опять — тишина, покой и ласковость наступающего вечера...

О сосущей лягушке и других видениях

Я могу оказаться несправедливым, но сильно подозреваю лягушку в злоупотреблении доверием. Приставленная уничтожать слизняков, она сама лакомится спелой земляникой. Это, конечно, не может

быть основой ее питания, а лишь лакомством, но все же однажды я застал ее за таким занятием.

К лягушке у меня совсем особое чувство. Во дни нашей молодости считалось обязательным, в целях самообразования, распинать лягушек на дощечке и резать их по всем правилам анатомического искусства. Вот — легкое, вот — кишки, а вот и сердце, маленькое, красненькое и бьется. Все — как у нас. И лягушку я привык мыслить маленьким человеком.

Маленькому человеку хочется сладкого, хочется спелых ягод. Он подбирается к самой крупной и румяной, становится на ноги, охватывает ее руками и, не имея зубов, сосет. Ягода сочна, прохладна и питательна. Две-три ягоды — и маленький человек сыт по горло.

Приходит человек большой (тоже — легкие, кишки, почки, бьющееся сердце) и ахает: кто ест его ягоды? Шарит в кустах, ставит выдолбленные картофелины — ловушки для улиток, навешивает на протянутых веревках белогвардейские тряпочки против птиц, а то созидает по своему образу и подобию огородное чучело. Наконец он догадывается, что во всем виновата лягушка.

— Это ты ешь мои ягоды?

— Да, я. По три ягоды в день, а у тебя их сотни.

— Но по какому праву?

— По праву голодного. По праву настоящего, законного обитателя этих мест, а не пришлого неврастеника, забавляющегося сельским хозяйством.

— Но это я вырастил клубнику из прошлогодних усов, унавозил гряды, пропалывал, окапывал, поливал.

Маленький человек отвечает:

— Когда тебя не было здесь, было лучше. Земля не была вытоптана, трава росла на воле, в зарослях была тень и влага, лесная земляника была не так крупна, но душистее. В ямах и овражках стояла

вода, мы купались и по ночам рыдали от любовной страсти. Твоя лопата испортила землю и испортила жизнь и мне, и полевой мыши, и кроту, и птицам.

Вот отчего так серьезны и злы глаза лягушки, и вот почему она всегда ехидно улыбается.

Мы приходим к соглашению. Я разрешаю ей съедать три ягоды и поливаю ее водой через ситечко лейки. Довольная, она делает прыжок, растягиваясь в воздухе длинноногим человечком. Если бы я умел так прыгать, то перескакивал бы через двухэтажный дом. Это было бы бесполезно, но забавно. Все-таки — бывший общественный деятель, и вдруг — гоп! — пенсне падает с носа, полы пиджака развеваются, одна нога в воздухе догоняет другую; видны лиловые носки и голубые подвязки...

Когда же к мирному и певучему гулу пчел, прилетевших посмотреть, скоро ли зацветут липы, примешивается металлический гул самолета, — Обитатель сам делается маленьким, обиженным, загнанным человечком. Его охватывает знакомое чувство тревоги, от которого он бежал из города в свой уединенный сад.

Даже не тревога, а настоящая тоска. Ужасная тоска! О Смертельная тоска человека уходящей культуры, вымирающего мечтателя и гуманиста, уже давно ненужного в своей стране, ненужного и в чужой, вообще на свете. И совершенно безразлично, было ли лучше прежде, будет ли лучше потом, все равно, мое умирает, и ничто не может его спасти. Его одинаково убивает самолет, пулемет, удушливый газ, телефон, граммофон, даже машина для окончательной и навсегда завивки волос.

Была своя прелесть в безмерных далях расстояний; больше этой прелести нет, как нет и далей: мир мал, и все близко, Над нами было небо — стала проезжая дорога. Исчезла трагедия разлуки и сла-

дость новых встреч. Нет больше неизвестных стран, ничьих островов, таинственных Арктики и Антарктики, людей с песьими головами, беспредельных высей и недостижимых глубин. Там, где жил прекрасный народ Грустины и где на тысячи верст простиралось Лукоморье, — летает английская барышня в желтых гетрах, и, летая, беседует по радио с лондонским женихом в часы, свободные от его банковской службы.

Нет больше тишины и уединения. Самое маленькое из законнейших прав человечка, никому не мешавшее и никого не обездоливавшее, — право быть с самим собой — отнято навсегда. В любую минуту и в любом месте, удаленном от жилья и огороженном колючей проволокой, вдруг к самому вашему уху подбегает невидимый певец с провалившимся носом и зызыкающим голосом, — и вы обязаны слушать его рулады, вы даже бессильны оскорбить его действием!

Столб воздуха над вашей головой — уже не ваш. Нет пространства, нет одиночества, нет отдыха, нет права на жизнь.

Этот самолет только высматривает; после он вернется и плюнет на вас снарядом, начиненным смертоносными газами. А я видал — как многие видели — отравленные леса и поля: оголенные стволы деревьев, мертвую траву, грязно-желтое лицо убитой природы, не оживляемой присутствием кашляющих, губами ловящих воздух людей, нечаянно выживших, чтобы до полной смерти остаться калеками.

Они говорят: война родит героев, война полирует кровь! Они говорят это за чужой счет, потому что война родит трусов и негодяев и полирует шкуру поставщиков. Они не видали оскаленных зубов мертвеца, лежащего на спине; с лицом, повернутым к солнцу, его проклинающей небо улыбки, синегубой и презрительной, — это называется славной смертью на поле брани!

Добродушный толстяк в темно-синей кепке с красным кантом, отыскав щелочку в калитке, просовывает сложенный лист бумаги. И немедленно, во фраках, визитках и пиджаках, и защитных и наступательных нарядах входят рядами берлинские расисты, нью-йоркские бандиты, холливудские звезды и агенты по распространению пылесосов и вернейших средств против мужской немужественности.

Участливо и жалостливо они смотрят на испуганного Обитателя и совещаются, как спасти его от мирового кризиса. Они завтракают друг с другом. Они вычисляют сумму долга, который не будет уплачен, и удобнейшие сроки для его неуплаты. Затем они обедают друг с другом, но уже в иных комбинациях, и единодушно решают, что единодушного решения не может быть. Так порешив, они приступают к деталям единодушного соглашения.

Когда, наконец, все они, жестикулируя и рисуясь, оставляют сад, я поджигаю газетой кучу сорных трав, колючек и мусора, сложенную близ помойки. Это — дезинфекция. Доносится удаляющийся голос правителя: «Плевать я хотел на народ! Я — драматург и древний римлянин?»

Ну зачем же вслух!

Теперь можно свободно пройтись по дорожкам сада.

Поздней весной, когда все в цвету, не должно быть споров о красоте и невозможно искусство.

Законы красоты не нами придуманы, а установлены природой. Роза не потому красивее сморчка, что так решили мы, а потому, что она действительно его красивее. Это знает сам сморчок, и знают все грибы и цветы. С этим ничего нельзя поделать.

Искусство в июне невыносимо, в особенности живопись. Не существует картины, которая, принесенная в сад, не показалась бы отвратительной

тряпкой или грязной доской. «Весна» Боттичелли хуже неметеной садовой дорожки, яблоки Сезанна даже не кощунство, а просто гадость и грязь. Не от несходства — искусство его не ищет — а просто это не краски. Красок в тюбиках, на палитре и на полотне не существует: вонючая мазь.

Это настолько бесспорно, что остается только примириться и вперед не важничать.

В природе удивительнее всего серьезность. Ходячие выражения: «утро улыбалось», «цветы благоухают», «птички весело порхают» — чистая бессмыслица, объясняемая нашим неведением и непониманием.

Благоухание цветов — сложная и кропотливая работа по опылению. Птички ни минуты не «порхают» без дела. Нет ничего нелепее стихотворения:

Птичка Божия не знает
Ни заботы, ни труда...

В действительности она не имеет понятия об отдыхе. И не хочет иметь, потому что между нашим идеалом и птичьим — разница непомерная и коренная.

Наш идеал — ничегонеделание и покой. Такого рая у птиц, растений, насекомых никогда не было. Их труд свободен и не носит в себе проклятья. Труд — радость! Удивительная вещь, совсем нам непонятная. Отсюда — обманчивое представление об их «порхании». Порхают поэты, кинооператоры и члены конференций; птицы делают важное дело: ловят бабочек и продолжают род.

Сорвав таким образом злость на кинооператорах, величайших врагах природы, культуры и человечности, Обитатель замечает, что сам он блуждает без дела. Поэтому, переменив туфли на сабо, он берет лейку и приступает к настоящему делу: к поливке огуречных гряд. К бесспорному, нужному, земному, приятному и приносящему плод.

История почтового ящика

Не думаю, чтобы их встреча и их любовь были совсем случайны; скорее всего они были знакомы с детства.

Нам представляется, что птицы, которых мы видим, без толку носятся по воздуху, сейчас — здесь, через час — за сто километров, неизвестно зачем. В действительности они, особенно малые пичуги, живут селеньями, придерживаясь знакомых деревьев, садов, крыш, в редких случаях залетая в дальний лесок (например, за мохом, которого нет поблизости). Иное дело — весенний прилет и осенний отлет, события особые и чрезвычайные, порядка не бытового, а мистического.

Таким образом, они могли вместе расти и не подозревать, что птичья судьба записала их имена рядышком на коре каштана, где она обычно делает свои пометки. А когда весна стала очень уж теплой и волнующей, они взглянули друг на друга особыми глазами, друг друга отличили и выделили, перестали замечать других, неотлучно держались вместе, и это кончилось необходимостью вить гнездо.

Он был исключительно красив: грудь серая, хвост и крылья коричневые, головка черная с белой шапочкой. За эту шапочку — его ненавидели воробьи, — сгорали от зависти! Шапочка — почетная отметина природы, и она на такие отличия не щедра. Ни за выслугу лет, ни за какие подвиги шапочка не дается: нужно с нею родиться!

В такого невозможно не влюбиться. И она влюбилась, — сама тонкая, легкая, немного мещаночка, серая с коричневым, с гладко причесанной головкой (на манер тургеневской девушки), но, по женскому положению, без шапочки. Оба они беспрерывно потряхивали хвостами, — то ли такой обычай, то ли особая нервность породы.

Натуралист сейчас же сказал бы: вид такой-то, род такой-то, а имя вот так. Обождите минуточку: не

в том дело! Мы тут говорим не о номерах, а о впервые зародившейся любви. Чудаки натуралисты — самого главного не замечают!

Подробности их любовных встреч скрыты разлапистыми листами высоких каштанов. Не скрылось только одно: как он принес ей зеленую гусеницу. Она стеснялась, отказывалась, он настаивал, и листья, ветки, просветы, солнечные блики добродушно улыбались, когда гусеница была поделена пополам: головка досталась ей, хвостик остался ему. Судьба записала на древесной коре: «Ну, дело ясно, парочка готова!»

Цвели-цвели и отцветали, образуя плод, полный молочных зерен. На закате она засыпала — он поблизости, на рассвете она просыпалась — он поблизости, днем куда она, туда и он, а куда он — будто бы и ей нужно спешно лететь туда же, конечно, — по делам. Он говорит «тиви?» — она отвечает «ти вити!» Это даже и мы понимаем. И вот однажды она ему тивикнула, что природа не прощает мимолетных увлечений и что ей, одним словом, хочется соленого и кислого. Он было полетел за муравьем, лакомством необычным, — но любимой ни в чем не откажешь! Она вдогонку ему крикнула:

— Какой ты глупый, не в том дело!

До удивительности эти маленькие женщины понимают все лучше красавцев в белых шапочках! Я и говорю: в детском рассказе все это как-то мало уместно, а взрослые будут нехорошо улыбаться. Ученые же именно всей этой поэзии и не замечают, для них она — праздная выдумка.

Тут начинается история с почтовым ящиком.

Почтовый ящик, самодельный, висел на калитке палисадника. В домах — собаки, а у почтальонов нет богатого запаса брюк. Вот он приносит номер

газеты и дружеское напоминание общества электрического освещения – и опускает в ящик. Просто и удобно.

Конец забавным полетам и любовному тивиканью! Она чистит нос, он присматривает помещение. И вдруг видит: узенькое отверстие, внутри чисто и удобно, полная изоляция, солнечное отопление, окно на восток. Осмотрел снаружи, заглянул внутрь, прицепился, одобрил и прямо от ящика, по прямому столбику воздуха, как аэроплан не может, а ему ничего ровно не стоит, поднялся на каштан:

– Нашел!

Она:

– Да нет, да как, да почтальон, да письма...

Он:

– Уж будь покойна! При нынешнем кризисе ничего лучшего не найдешь. Солнечное отопление, окна на восток, чистота, рядом колышки и прямо под каштаном, где, помнишь...

Ее доля женская – не переспоришь.

Утром на другой день смотрим: газета, письмо от водопровода, а под ними щепочки, травинки, мох и визитная карточка в виде перышка, в знак того, что «настоящее помещение занято под гнездо мною, белоголовым красавцем, для нужд моей супруги и будущих детей».

Что делать? Пришлось ящик перевесить с калитки немножко в сторону, а для почтальона сделать новый, прикрыв его отверстие отчетом за десять лет существования комитета помощи студентам. Сначала они ошибались: при чем тут отчет? Потом привыкли и уже прямо несли строительный материал в старый ящик.

А ящик-то на крючке – можно подсматривать. Видали мы чудеса, в музеях и на выставках, а такое впервые! Как так из сухих былинок и всякого растительного вздора выложить чашечку, ровно, как по циркулю, гладко, как вылито, и до того удобно

и приятно, что лег бы и лежал, смотря в дырочку, не идет ли почтальон с письмом, а в письме чек!

Когда же гнездо затянулось пухом — смотреть перестали: нельзя! Тут начинается тайна четырех голубеньких яиц. Присмирел и он, перестал прилетать, сидел на каштане в тени листвы и ветвей, такой серьезный, понимающий.

Все-таки мужчину невольно уважаешь, женщину жалеешь. Конечно, она и работала больше, и вот теперь сидит часами, вылетает на минутку, похудела, а он празден и в полном теле. Это верно. Но творец и хозяин жизни все-таки он! Нашел квартиру, теперь сторожит покой. В дремоте она слышит его голос: все благополучно. В голубеньких шариках от ее тепла пробуждается жизнь — им данная. Счет нужных дней ведет судьба на коре каштана.

Есть записи и в дневнике Обитателя:

19 июня. Птичка села на яйца в почтовом ящике.

21-го. Сняли ягоды смородины.

22-го. Последняя роза Эллен Вильмо. Как была красива!

24-го. Зацвели лилии и многолетний горошек. Жасмин отцвел. Сбор семян примулы (и сейчас же посеяны).

27-го. Первые ягоды малины. Она у нас запоздала.

2-го июля. Подсадил медно-желтую розу; пускай ползет навстречу Эллен, это будет красиво!

4-го. Птичка в ящике вывела птенцов. Какое волнение! В первый день не кормят — завтра начнется работа.

С утра до вечера гонка. Она с тремя букашками — он с червяком; она с кузнечиком, он с кучей комариков — она просит не забыть, что Пете и Наташе уже давали, а Миша и Леночка очень голодны. Из ящика на колышек, с кола на дорогу, с дороги на соседний забор — и обратно: из сада на ветку, с ветки на колышек, тут пережиданье, нет ли опасности, не

видит ли кошка, шмыг в отверстие, — а он уже готов на смену, держит в клюве целый запас провианта, столько-то витаминов, столько-то белка, все строго высчитано и соображено, потому — мужчина, сторонник рационального кормления и воспитания. Мы думаем: в гнезде-то грязи! А они чистенько прибирают за птенцами, меняют пеленки, слюнявчики, причесывают, приглаживают и одновременно читают лекции: он — по естествознанию, она — по домашнему хозяйству. Нужно все объяснить и рассказать, потому что вылетят птенцы прямо в жизнь и на борьбу и должны быть ко всему готовыми.

В дневнике Обитателя записи:

6-го июля. Одолела черная тля. Поливаю табачным раствором.

8-го. Ложатся плети огурцов. Виноград уже в горошину.

10-го. День пропащий (были гости).

13-го. Эллен будет снова цвести — бутоны на новых побегах.

15-го. Гроза с дождем. Завязалась тыква. Из Москвы пишут: «Испробовали здесь посланные вами семена репы. Оказалась цветунья. Как у вас?»

16-го. Событие: птенцы вылетели!

Птенцы вылетели, и старый почтовый ящик пуст — примятые остатки гнезда и прощальные перышки. Тайна свершилась. Голубые шарики живут сейчас самостоятельной жизнью, если их не съела кошка. Наташа и Леночка стараются быть тургеневскими девушками, Петя и Миша примеривают белые шапочки. Отец и мать равнодушны друг к другу, и даже не решено, улетят ли они вместе на зимний курорт. При встрече с родителями молодежь даже не кланяется.

Ящик висит день, два, три. На четвертый день, поздно вечером к нему подкрадывается фигура без пиджака и опускает в него письмо. На следующее утро та же фигура опять подходит и, притворяясь

удивленной, вынимает письмо, вскрывает и читает: «Дорогой Обитатель! Не подумайте, что я не оценила вашей внимательности и предупредительности. Сердечно благодарю вас за гостеприимство и любезную помощь. Признайтесь и вы, что еще никогда ваш почтовый ящик не играл такой высокой и полезной роли. Предназначенный обслуживать ваши отношения с миром вам подобных, он на этот раз послужил делу вашего общения с миром пернатых, не лишенных ни разума, ни сердца, но в разум не влюбленных и сердцем не швыряющихся.

В знак признательности прилагаю к письму перышко, которым вы можете, если пожелаете, заменить ваше ржавое и неуклюжее перо, вряд ли способное описать наше знакомство и последующие события. За папу, Петю (старшенький), Наташу, Лелю и Мишу (меньшой) уважаемая вами птичка».

Настоящее записано, и документ опубликован для взрослых, сохранивших способности быть маленькими.

О танце комаров и человечке с зонтиком

Поверьте, что напрасное брюзжанье, выпады против политиканства, намеки на тщету всяких конференций и приглашение уйти от злоб дня под сень садово-огородного «безответственного анархизма» не составляют основной задачи Обитателя. Он хорошо понимает, где находится и с кем беседует, и роль озорника и забавника его не прельщает.

Но нужен человеку отдых, а отдых — только природа (последний отдых — земля). И нужно чаще вспоминать, что есть совсем иная, от нашей отличная, огромная жизнь квинквиллионов разнообразных существ, среди которых полтора миллиарда человеческих особей исчезают, как горсть песку в пустыне.

Можно, конечно, с высоты собственного позвоночника отказать им всем во внимании, — как поступа-

ют и они по отношению к нам. Но разве не лучше возвыситься над ними хотя бы признанием высокого смысла их существования?

Сидите тихо и дождитесь, пока вы исчезнете, и ход жизни, нарушенный вашим приходом, восстановится.

Почему танцуют мошки в аллее, всегда в том же месте? Что за неутомимый марафон? Взлеты, падения, зигзаги, без устали и передышки, — зачем-то это нужно, какой-то есть в этом смысл, может быть, им ясный, а может быть, тайный и для них самих. Я склонен думать, что это религиозный танец мошек, переходящий у них из рода в род и из века в век. Мистерия, со своими ритуалами, основанная на легендах и преданиях, а в основе — поклонение свету и воздушной струе.

Что за гвалт малых пичужек? Совсем особый, тревожный! Несомненно, — случилось важное событие. Стайки и одиночки носятся от дерева к дереву, а одна летит по низу. И летит она с неистовым криком не птичьим, а человечьим, над самой спиной небольшого хорька, не упуская его из виду, пока остальные преследуют по верху. Что-то этот зверек напаскудил! Но почему он так спешно удирает от мелких пташек, он, знаменитый разоритель птичьих семей, перегрызающий горла даже курам? Боязнь гласности? Признание силы коллектива? Тема для передовой!

С липы, кружась в воздухе, падает совсем зеленый лист. Так рано, ведь еще июль, пора цветения? Поднимаю и вижу, что его стебелек подточен и почернел; и таких листьев, безвременно умерших, лежит много. Эпидемия? Налет вредителей? Это так грустно — безвременная гибель молодежи! И нечем помочь! А липа сейчас в полном цвету. Липовый цвет напоминает детство — его настоем поили, когда еще не было аспирина; лампу затеняли большой книгой, в комнате прыскали туалетным уксусом и ходили на цыпочках: мальчик болен. На другой день здоров — только еще слаб: липа вылечила!

Сколько тайн кругом — если сидеть не шевелясь. Под цветочным горшком, из которого весной был высажен розовый куст, полевая мышь устроила гнездо; материал — веревка, растрепанная ею в пышный ком пакли, вата, которой был обвязан порезанный палец, и — совсем неожиданно — клочки газеты, изодранные коготками, но так, что еще можно прочитать слово «репарации». Банка понадобилась — и гнездо выпало, а в нем четыре детеныша. Извинившись, положил обратно, но мать обеспокоена и бегает от банки к старому пню, мимо садового кресла. У самых моих ног останавливается и скребет себя лапкой — одолели блохи! И знаете — она приносит детям ягоды, клубнику, — ну с чем это сообразно! Один агроном мне пишет: «Вашу клубнику не лягушка сосет, а портят слизняки». А я говорю: и слизняки, и лягушка, и птицы, и даже полевая мышь — все любят сладкое.

Сколько тайн в саду, сколько скрытой жизни. В трех шагах вдруг поднялась, треснула и зашевелилась земля: друг огородника, но все же слишком надоедливый крот роет свои коридоры. Будто бы только перед смертью он выходит из-под земли — мы поступает как раз обратно. Оба думаем друг про друга: ну, что там у тебя интересного! Из того места, где поднялась земля, выполз и спешно улепетывает длинный червяк, — вполне своевременно, иначе была бы ему крышка. Это — тоже друг, рыхлит землю, а корней не трогает. За всю жизнь не было у меня стольких друзей, сколько сейчас в саду. Врагов не считаю — скучное занятие.

Желто-бурая толстуха облетает цветущую настурцию; я слежу очень внимательно и знаю, в каких цветках она была; прилетела другая — и не подумает залезать в чашечку, где уже была ее предшественница. Да что в самом деле — записки они оставляют друг другу? Или уж такой нюх? Или зрение? А какая ловкость и деликатность! Копошится

в хрупком цветке, пьет, скребет, катает шарик, распоряжается быстро и торопливо, как у себя дома; а вылетит — цветок стоит свежим и словно бы нетронутым, даже, кажется, обновленным. Он и правда обновлен: в его жизни произошло событие, сулящее ему плод и потомство.

Птицы, мыши, кроты, пчелы, мухи, мышки, мошки, под вечер гудящий жук-рогач, комфортабельная прогулка улитки с собственным домом на спине, — ну эту я лишаю удовольствия продолжать путь на гряды, и она, неожиданно для себя и вопреки наклонностям, летит по воздуху в соседний пустырь.

Чудесный мир! А так как всякий образ мы воспринимаем путем сравнения, то становится еще любопытнее и забавнее. Жук-рогач, летающий стоймя и тяжело, кажется мне банкиром, только что вылетевшим в трубу; мышка-норышка бегает по магазинам, выбирая полтора метра на кофточку: а всякие мухи, мошки, мушки, мурашики, комарики и букашки — это мы с вами, члены московского, харьковского, одесского землячеств, союза врачей, объединения адвокатов, общества не окончивших Пажеский корпус в Тмутаракани.

Плывет облако, откинув голову, животом вперед, — но важности хватает не надолго: расплывается в лепешку. Ни на одно мгновение ничто не останавливается в природе, — даже песчинки шевелятся, подсыхая после утреннего дождя. Вижу, как растет трава, — горожанин этому не поверит. Перед закатом на глазах блекнет и свертывается в трубочку цветок вьюнка; жития ему было двенадцать часов, чудесного жития, от восхода до заката. Его умирание происходит у меня на глазах в какие-нибудь полчаса, от пышной свежести до немощной старости; к утру вялая трубочка отпадет, а повыше распустится новый лиловый колокольчик с белым языком.

Сколько жизней, сколько движения, сколько красок. Этот самый вьюнок сплетает тычинку против

хода солнца — неизвестно почему; а подсолнечник слепо и послушно следует за солнцем. А почему наша рука, если дать ей веревку, оплетает палочку тоже по солнцу? И почему по ходу солнца навинчиваем гайку, и почему так же устроили стрелку часов? И как ни старайся — не отделаешься от связи с бегом светила, источника жизни и причины всякого движения. И вот вьюнок восстал: за это срок жизни его цветка так короток. Восстали и другие цветы: табак цветет повечеру, ночная красавица не выносит света. Но это — чтобы и сумрак и тьма были украшены. У совы блестят глаза, у летающего жучка зажигается фонарик, и, недаром, в сказке огоньком горит цветок папоротника в ночь на Ивана Купалу. У них договор со звездами, особый и таинственный.

Население моего сада, только видимое, исчисляется миллионами, — если даже не считать за живые существа деревья, растения, цветы, мох. А почему их не считать — никто не объяснит. Или в усатом горошке меньше жизни, чем в докторе философии и повивальной бабке?

Ранней весной почти ежедневно печатались в газетах предсказания летней погоды. С пророчествами выступали авторитетнейшие люди: гейдельбергский часовых дел мастер, сопрано миланской оперы, автор книги о Мадагаскаре и изобретатель беззвучного порошка против крыс. С ними соперничали метеорологические станции, но со слабым успехом у читателей. Все эти предсказания можно было разделить на три категории: 1 — лето предстоит холодное, 2 — лето предстоит жаркое, 3 — лето предстоит среднее.

Мы уже знаем, что одно из предсказаний изумительно оправдалось: лишнее подтверждение прогресса научных изысканий. Насколько помню, жаркое лето

предугадал именно гейдельбергский часовщик, тогда как сопрано более склонялась к морозам в середине июля.

Что касается метеорологической станции, то с детства — и до сего времени — она представляется мне чердачным помещением, где несколько наиболее изолгавшихся, потерявших стыд и презираемых людей меряют температуру, смотрят на небо и собирают в баночку из-под консервов атмосферические осадки. Время от времени один из них, охая, лезет на крышу, слюнит палец и по холодку определяет, откуда дует ветер. Если ветер дует с запада, то, значит, дует он на восток; если же с севера, то на юг. Потом все они совещаются и пишут бумажку с предсказанием погоды. При этом происходит такой разговор:

1-й Изолг.: Быть дождю?

1-й Презир.: Это почему же?

1-й Изолг.: Мне на нос капнуло.

2-й Презир.: Капнуло, да не то.

1-й Потер.стыд: Надо, ребята, по тучам смотреть.

2-й Потер.стыд: По тучам! Пока записку пишешь, туча-то и уйдет.

2-й Изолг.: А по мне — пиши не пиши, а все равно не угадаешь. Третьего дня написали «великая засуха», а лило, как из ведра.

1-й Пот. стыд (*мечтательно*): Давайте опять напишем: «переменно, облачно с просветами».

1-й и 2-й Презир. (*вместе*): Не любит этого публика. Уж предсказывать так предсказывать. Иной раз и угадаешь.

1-й Изолгавшийся (*он у них за начальника*): Ну, ладно, пиши, Федька: «В связи с уменьшившимся атмосферным давлением в восточной Европе следует предположить, что циклон повернул на юго-запад. В ближайшие дни ожидается во многих местностях ясная теплая погода с легкими бурями, засухой, снежными заносами и обилием атмосферных осадков».

Записка готова, один из презираемых бегом тащит ее в редакцию газеты и передает хроникеру, уклоняясь от удара.

В то же время ласточка летит по низу, комары танцуют в просвете аллейки, улитка выставляет рожки, петух стоит на одной ноге и смотрит глазом в небо, паук спешно кладет основу могучей сети, — и каждый из них великолепно знает, чего ждать на сегодня и на ближайшие дни.

В домике у соседа итальянца висит в кухне остроумнейший по простоте барометр. Изображена дверь, и из этой двери показывается господин, то с зонтиком, то с тросточкой. Если воздух влажный, то выходит фигура с зонтиком; а если сухо — с палочкой. Просто и хорошо.

Законная жена итальянца варит суп из тех кореньев, которые представляются латинской расе съедобными. Из кастрюли валит пар столбом — и прямо на «барометр». Небо ясное, жарко, ласточки летают высоко. Фигурка с тросточкой взволнованно удаляется, а вместо нее выходит господин с зонтом.

— Тереза, — кричит жене итальянец, — гляди, погода портится! Говерно ладро!

Вы, может быть, не знаете этого прекрасного итальянского выражения? Его можно перевести: жульническое правительство. Оно свидетельствует об отлично развитом в итальянцах духе государственности, причем правительство признается ответственным перед гражданами за все происходящее:

— Дождь идет! Говерно ладро!

Расставшись с родиной, мой сосед не расстался с любимым выражением.

Коренья съедены. Разопревший от кухонного пара человечек с зонтиком подсох и пятится обратно в дверь. После краткой беседы о преимуществах английской соли перед рицинным маслом, муж успокоительно говорит жене:

— Видно, тучи прошли стороной, — вон он опять с тросточкой!

Главное — нужно во что-нибудь прочно верить. Без веры — жить невозможно. Один верит в фигуру с зонтиком, другой — в конечный прогресс, третий — в представительство мéньшинств.

Мы, Обитатели, верим в полет ласточки и мистический танец комаров в тенистой аллейке.

О златорогом олене и обезглавленной курице

Получил письмо: «Дорогой Обитатель! Я думаю, что могу правильно объяснить, почему гуманисты массами покидают города и едут на огороды. Во всем виноваты Декарт и Кант. Они сообщили, что у Разума три категории: пространство, время и причинность. Между тем им вполне равноценна категория Истины, некогда столь же непосредственно сознаваемая, как ныне пространство — время. Сейчас же она сдана в архив Средневековья. Между тем мир можно описать не только в отрезках пространства и времени, как то делают ныне, но он весь, целиком и намного лучше, может быть размечен иными разноцветными категориями, из которых Истина — главная. Тогда настал бы конец царству предметов и началось бы царство душевных данных. Важно лишь, чтобы гуманизм умел влить в свои формы все то, что возникает из апофеоза скорости — и аэропланы, и радио, и архитектуру садов à la française* и хорошую franse des quatre saisons**. Пользуюсь скидкой на семена и растения. К вашим услугам».

Я не раз писал, что мы, огородники, великие чудаки! Вот представьте себе, что на первом же заседании общества сельских хозяев подымется вопрос о категориях Разума, — ну как тут обойтись без

* На французский манер (*фр.*).

** Ремонтантная клубника (*фр.*).

председателя с философским дипломом германского университета?

Не мне возражать философу-агроному, явно единомышленнику, хотя гуманизм Обитателя никак не может ужиться с апофеозом скорости даже с «ремонтантной» земляникой.

Но, как вы знаете, «гуманизм» — понятие растяжимое почти столь же, как и «категория истины». Лучше всего это сознают огородники. Отсюда и перехожу к событиям дня.

Арестуйте меня!

Мой день проходит в убийствах, подготовке убийств и жестоком обращении с живыми существами.

Уже не говорю об убийствах нечаянных: о раздавленном пятой муравье, о комаре, которого я прихлопнул на щеке ладонью прежде, чем мог взвесить свой поступок. Но сколько убийств сознательных, с заранее обдуманным намерением!

На побегах розы, на листьях мака и цветах настурций развелись семейства зеленой и черной тли. От нее страдает смородина, от нее совсем погибли мои любимые васильки. И вот я варю табачный настой, прибавляю зеленого мыла и опрыскиваю растения. Так же поступаю с личинками и гусеницами на кустах. Движением поршня моей машинки — убиваю сотни и тысячи.

Если снимать их осторожно и уносить за километр от дома — они все равно погибнут. Лицемерить нехорошо — и я иду на сознательное убийство. Менее жесток с улитками — их швыряю на соседний пустырь.

Но что делать с кротами? Эти «друзья огородника» в большом количестве обращаются во врагов, портят гряды, заваливают землей посевы, корявят и коверкают площадки газона. Можно подстеречь

крота, когда он роется, и проткнуть его в земле вилами, но на это я решительно неспособен, вероятно, потому, что крот теплокровен, имеет позвоночник и на миллион раз больше тли.

Какое страшное испытание для гуманиста огородника, притом прекрасно знающего, что и растения испытывают боль; и что редька тоже не хочет, чтобы ее нарезали ломтиками и ели (вкусной), а предпочитает жить, пока растется, и умереть естественной смертью.

Если бы в каждую минуту Обитатель ставил перед собой вопрос о праве лишать другого жизни, — ему оставалось бы только лишить жизни самого себя. И вот он низвергает вопрос о праве как лицемерие и нелепость и ставит вопросы об Истине. Право — догма, Истина — отрицание догмы, вечное искомое, прекрасное тем, что оно никогда не будет найдено.

Сказочный охотник гонится за сказочным златорогим оленем. Он вечно его настигает — и никогда не догонит. Бегут минуты, проходят дни, текут года, — охотник и жертва не замечают больше пространства и времени, и в этом весь смысл сказки. Настигнуть, убить — и сказке конец, а дальше — кровь, мясо, шкура, кости и поваренная книга.

Из уважения к поваренной книге мадам Шарль (от меня налево, на повороте, угловой участок) спокойно оттяпала курице голову и отцеживает кровь над помойкой. Я — тонкая нервная организация — поднимаю щепочкой червяка и бросаю на гряды соседа (на его ответственность). Мадам Шарль не изверг, а я не лицемер: я просто не могу. Она успокоена своим «правом», а я, черт возьми, ищу истину! Ей удобно: она верит в свод законов, а мне еще на университетской скамье втолковали, что норма закона, утверждая прошлое, стареет и теряет смысл в момент ее установления. Нам друг друга не понять, хотя у нее есть против меня тяжкий

аргумент: я тоже ем курицу и люблю особенно крылышко.

Конечно, мадам Шарль, рыхлая, коротконогая, в синей подоткнутой юбке, немыслима верхом на коне в погоне за златорогим оленем; но на осле она могла бы удачно сопровождать огородного Дон-Кихота.

А если попробовать предпринять такое путешествие?

С маленькой спринцовкой, распыляющей гуманистическую ересь, верхом на кроте, огородный Дон-Кихот выезжает за пределы своего участка бороться за культуру против цивилизации, за справедливость против права, за категорию истины против категорий пространства, времени и причинности. За плечами — легкая мотыга, за поясом — сажальный кол, в петличке — огуречный пустоцвет.

Следом за ним — оруженосец, мадам Шарль, с базарным ридикюлем для сбора доброхотных даяний, на случай, что слава и бессмертие не прокормят в трудном путешествии.

Они проезжают город за городом и страну за страной. В Париже июльская пустота, в Берлине торжество нибелунгов, в Швейцарии опыты европейского разоружения, в Испании неоправданные надежды, в Перу и Мексике, неизвестно где находящихся, восстания по неизвестным причинам, в неизвестных целях. Весь мир настолько явно сошел с ума, что Дон-Кихот оказывается нормальным человеком: ему не с кем спорить и не за что бороться; его принимают за фильмовую фигуру, и с ним охотно соглашаются в чем угодно. Хуже всего, когда у человека, полемически настроенного, нет враждебной аудитории. Ему ничего другого не остается, как отправиться домой и раздраженно прихлопнуть калитку.

Вот эту трагедию не все ясно сознают. Раньше люди делились на идеалистов и реалистов, на богатых и бедных, победителей и побежденных, праздно ликующих и погибающих за великое дело любви. Теперь все перепуталось: безработные получают содержание, а короли разных трестов кончают самоубийством, должники торжествуют, а кредиторы в ужасе, «реальные политики» мечтают, а мечтатели заняты реальной политикой. Башмаков стало так много, и они так дешевы, что все ходят в дырявых; съестные припасы приходится уничтожать, чтобы люди не умирали от голода; обнищание населения настоятельно требует повышения налогов; старые идеи настолько обветшали, что ничем не отличаются от новых. Член общества покровительства животных так хлещет лошадь, что ломовой извозчик не может скрыть своего отвращения.

Иными словами — ересь стала невозможной, за отсутствием ортодоксии.

Нижеследующее случилось с моим приятелем, на ответственности которого и оставляю этот рассказ.

Он посеял красный лен. Лен цвел прекрасно и был оставлен на клумбе дозревать. На другой год лен вырос самосейкой — и расцвел голубым.

Будто бы это оттого, что красный лен — искусственно выведен садоводами. Побаловавшись им в угоду, он вернулся к своему настоящему обычному цвету.

Вот в чем очарование природы — и вот что влечет нас из города в деревню!

По всяким причинам окрашивается и человек в разные цвета. От ежедневного умывания искусственная окраска, собственно, могла бы и сойти, но в жизни городской и разумной она постоянно поддерживается

новой подмазкой, — как руж и римель у поблекшей женщины; потому что непременно нужно кем-то быть или казаться, чтобы другие не спутали, а сразу отнесли к такой-то категории.

А от природы каждый человек, конечно, серовато-пестренький с переливами: в мирное время — буян, в буйное — охранитель, на досуге — анархист, в деловой жизни — законник.

И вот, стоит только добросовестно и с охотой умыться росой и пощекотать кожу солнцем, — краска лупится, и проступает здоровый и естественный цвет, каким он и быть должен. Пестрый так пестрый, а рыжеватый — ничего не поделаешь. На лице чисто, на душе хорошо, и совесть не страдает от обязательных противоречий.

В частности, красный цвет отличается исключительной неустойчивостью и линючестью... какой простор для личных воспоминаний и намеков на ближнего!

Сначала удлинялись тени, потом солнце зашло, и в саду полумрак и вечерняя свежесть. Пора уходить.

Если бы уметь молиться и было кому молиться (а о чем — всегда найдется), тогда пришлось бы стать лицом к западу, куда ушло солнце, а руки простереть, как это делают ветки деревьев. И, вместо всяких слов, дышать ровно и глубоко.

И тогда исполнилось бы, о чем молишься: руки покрылись бы листьями, ноги пустили корни, тело вытянулось, одежда превратилась в кору. Прибавилось бы в мире еще одно дерево, потерянное в счете и никому не помеха. И так остаться до восхода — лучший сон без подушек и порошков!

А с восходом солнца — возврат в мир двуногих, не из предпочтения и не по привычке, а из любопыт-

ства. Потому что хочется досмотреть, не чем это кончится (этого не дождаться), а хотя бы как это продолжится.

Будет ли радость, будет ли горе, — кончится возвратом к точке исхода. Солнце завершит бег, циркуль очертит круг, змея мудрости закусит свой хвост. В чем другом сомневаясь, — только это и знает твердо каждый огородник!

О пупырышках и колючках

По причинам, языковедами не исследованным, большой огурец называется огурцом, а маленький — корнишоном.

Превращение корнишонов в огурцы совершается невероятно быстро: пройдет ночь — младенец становится подростком; еще сутки — и он взрослый; чик его ножницами — и на салат.

Есть такие сорта огурцов (нежинские, берлизовские), на которых и в довольно зрелом возрасте остаются на пупырышках приятные колючки; но, как правило, в почтенном возрасте кожа натягивается, сглаживается, желтеет, и не только колючки, а и самые пупырышки исчезают.

Было бы непростительным не использовать этого явления в публицистических целях, в частности для развития хода наших непрестанных дум о молодом поколении, которому, конечно, принадлежит будущее. Как хороший хозяин, Обитатель каждодневно обходит огуречные гряды: здесь подставит рогульку, там поможет усам завиться о высокую палочку. Это лучше, чем волочить цвет и плод по земле. Деловито соображая, сколько уже снято и сколько предстоит собрать, он ведет с корнишонами и готовыми огурчиками легкую благоразумную беседу.

Ты, маленький, матовый, светло-зеленый, колючий, — пользуйся недолгими днями юности! Имя тебе — пионер, волчонок, цвет жизни, надежда общества. На остром кончике еще торчит подсохший цвет. Сейчас ты

пользуешься всеми правами всезнайства и глупости; через денек посолиднеешь, потемнеешь, станешь комсомольцем, младороссом. фашистом, а на плохо унавоженной гряде даже и социалистом; а еще через день — прощай юность, здравствуй начало неверия и сомнений. Жизнь — серьезная и недобрая штука: нарежет тебя на ломтики, посыплет солью и начнет трясти между двумя тарелками, разбрызгивая сок. Это неплохо под рюмку «гарсон рюс» и совсем хорошо под польскую монопольную.

Итальянского шута Маринетти, бывшего футуриста, я знавал молодым скандалистом. В те дни он писал в своих манифестах, что после сорока лет человека нужно выбрасывать на помойку, так как он протухает и никуда не годится. Сейчас, на шестом десятке, Маринетти стал академиком или сенатором, — вообще чем-то для футуриста неприличным; от прошлого в нем сохранилась только высокая некультурность, в свое время доставившая ему мировую славу. Ошибаются, кто думают, что идея активизма родилась в послевоенное время; еще молоденький Маринетти предпочитал действенность олуха медлительности интеллигента. Тогда это было вредной ересью, сейчас стало религией корнишонов.

Обитателю не пристало быть старым брюзгой: он за молодежь — ей принадлежит будущее. За неимением своего будущего не мешает присоседиться к чужому. Обходя гряды, он ставит подпорки под огуречные плети, приветствует желтый цветок, ласкает пупырышки и колючки, считает пятерки и десятки. Юность так мимолетна! Сдваивай ряды, блюди дисциплину, следуй за вождем, почитай императора и чуждайся истории, чтобы не повеситься преждевременно. Судя по русским сказкам, Иванушка-дурачок имеет больше данных сделаться королем, чем его умные братья. А главное — колючки отпадают, пупырышки сглаживаются, лысеет черен человека и вот уже мечтает он о месте пензенского губер-

натора, временно в заграничной командировке. Лето быстротечно, грядут дожди, и огуречные плети в судьбой установленный срок лягут в основу высокой кучи перегноя.

Спорить безнадежно: дети непременно победят родителей, они всегда их побеждают; затем они стареют, и их презирает и колошматит следующее поколение, во всем похожее на дедов. Раньше это считалось залогом прогресса, теперь — обеспечением правильного круговорота истории.

Вероятно, так будет всегда. Но одно необходимо отметить: жизнь усложняется, и если прежний юноша мог по двадцатому году выступать в некотором приличном вооружении знаний и опыта, — теперь ему приходится или ждать первой лысины, или, убоявшись премудрости, положиться на силу мускулов, развитых футболом. Он предпочитает, конечно, последнее, потому что добивается не моральной, а физической победы.

Но бывают и исключительные случаи, когда кадры корнишонов готовы, а побеждать им некого. «Войска рвутся в бой», а неприятель нагло спит у себя дома. Это оскорбительно — но ничего не поделаешь. И вот тут наступает то, что Обитатель ежедневно наблюдает на своих огуречных грядах: корнишоны быстро теряют колючки на пупырышках и самые пупырышки, взрослеют, успокаиваются и благоразумно идут на салат. В летописи «истории идей» прибавляется не то чтобы страница, а все-таки сноска: «Это движение, в основе своей жизненное, не имело развития за отсутствием реальной почвы. Его вдохновители впоследствии получили места пензенских губернаторов, временно в заграничной командировке».

Ограничиться подпорками и поверхностной критикой — значит быть плохим хозяином. Корнишоны требуют удобрительной поливки. На огуречной плети апельсины не растут. Что вам не нравится в молодежи? Чем она провинилась?

Отцы жили высокими идеями свободы и народо-правия; за эти идеи, в возрасте корнишонов и молодых огурцов, они полагали свои головы и свои животы. Естественно, что их огорчает отступничество детей.

Но дети отвечают, что и они тоже живут высокими идеями, только более отвечающими духу времени; за них готовы положить свои головы и животы, хотя предпочли бы положить головы и животы чужие. У ныне взрослых огурцов было достаточно времени, чтобы осуществить торжество своих идей; отчасти это им удалось, и чепчики взлетали; затем чепчики прилетели обратно. Теперь — отойдите в сторонку, так как пришла пора новых корнишонов.

Буря на грядах! Из-под старых листьев возмущенные голоса: «Но наши идеи вечны! Их торжество может быть отсрочено, но внутренняя сила не угасла!» Из-под молодых листьев небрежный ответ: «Ждите, а нам некогда, мы живем во времени и пространстве». Старики: «Лучше погибнуть с честью, чем отступить!» Молодежь: «С нашей стороны ни малейшего к тому препятствия, но не рассчитывайте на памятники!» — «Вы проповедуете насилие и рабство!» — «Для вас, но не для себя!» — «Вас заклеймит история!» — «Посмотрите в зеркало на собственные лбы».

Спор переходит за рамки огородного приличия. Обитатель хватает лейку и умеряет бушующие страсти холодной водой. Спор не окончен. Он начался в дни, когда от первородного греха несдержанных прародителей расплодились потомки Каина и Авеля. Тувалкаин основал первую кузницу, а Тувалавель (если и такой был) — первую лигу прав человека и гражданина; и тогда началась меновая торговля железом и идеями, время от времени приводящая к потасовкам. Но товары давно перепутались, и уже не отличить право от насилия и хирургический нож от гильотины.

Скверная привычка выражать мысли путаными символами, оставшаяся от времен свободы печатного слова, смягченной цензурным попечением!

Говоря без символов — очарование политических программ современной молодежи в призыве действовать не рассуждая. Отсюда и необходимость в вожде, единственно рассуждающем и отдающем приказы. Идеал чисто солдатский, чрезвычайно удобный, дающий право на праздность мысли и невежество, допускающий отбор по признаку физический силы и способности подчиняться беспрекословно чужой воле.

Для личности мыслящей такой идеал глубоко отвратителен. Но если эта самая личность действительно «мыслящая», то ей трудно не признать, что в данный момент всякая иная политическая программа годится лишь для архива, если только цель ее — победа, а не «страничка истории».

Из такого положения логический вывод прост: мы переживаем время военное, унизительное для человеческого достоинства, убийственное для живой мысли. Это очень тяжело для тех, кто знал времена лучших верований и надежд, но это совершенно незаметно или безразлично для родившихся и выросших за последнюю четверть века. И, по-видимому, тщетно убеждать их в том, что не всякая победа приносит счастье и честь и не всякое поражение унизительно. Воины, убившие Архимеда, даже этим не обессмертили своих имен: в истории они мелькнули и исчезли в звании варваров.

Огородная философия печальна и пассивна. На трубный глас она отвечает изложением участи корнишонов, их колючек и пупырышков; на крик о помощи — цитатами из Экклезиаста. В свое время это называлось «сиденьем в келье под елью». Но, отказываясь от участия в драке и от маршировки под барабан, Обитатель тем самым отказывается и от участия в прибылях военных операций: от гражданских прав в странах бесправия, от фельдфебельских

нашивок в наемном отряде, от удовольствия мазать дегтем ворота храма мысли. Величайшими идеологами огородничества были: Сократ, убеждавший жену бить его по чему угодно, но не по голове, так как это мешает ему мыслить; Диоген, просивший полководца отойти к сторонке и не застить ему солнца; Галилей, будто бы продолжавший твердить «а все-таки она вертится», и, конечно, вышеупомянутый Архимед, за своими чертежами не заметивший вошедших убийц. Имена, во всяком случае, почтенные! Вероятно, они что-то такое знали и, кажется, не ошиблись. Не делая их вождями, Обитатель не может отказать им в глубочайшем уважении, хотя в практической деятельности больше руководится курсами садоводства и огородничества. В этой практичности — несомненное влияние идей современной молодежи: в момент критический, не тратя время на собственные изыскания, лучше всего следовать указаниям опытных вождей.

Занимающиеся культурой огурцов часто упускают из виду, что нельзя слишком полагаться на чужие, случайно добытые семена, а нужно заботливо выращивать свои семенные огурцы, доводить их до перезревания и даже до распада, а семена выдерживать до посадки года три, а то и все пять. Такие семена не дадут бурной зелени, но дадут лучшие плоды.

К вышепоставленному вопросу это имеет то же отношение, как и латинская поговорка «спеши медленно», далеко не такая реакционная, как кажется на первый взгляд.

Нет ничего обиднее кратковременности нашего существования; даже пять лет кажутся большим сроком. Но подлинная культура требует терпенья и выдержки, и опытный огородник предпочитает

пять лет любоваться на полотняные мешочки с семенами, чем засевать недозрелыми и недошедшими любовно взрытые гряды.

Думаю, что на этот раз под символическими картинками не требуется разъясняющей их смысл подписи; нужно, чтобы дети приучались сами разбираться.

Описание ряда событий

Не буду останавливаться на внешних событиях, на гудронировании дороги, появлении новых соседей и постройке двух домиков на нашей «аллее кленов»; все это — явления наступающей на нас вплотную цивилизации. Тем временем розовая изгородь разрастается, кусты спиреи, туи, лавров подымаются, и понемногу между мирами внешним и внутренним вырастает необходимая зеленая стена.

Что касается мира внутреннего, то он всегда полон событий, в том числе и неожиданных. Последним событием была черепаха; но до нее было немало посетителей, о которых стоит рассказать, а именно:

Визит змеиный.

Ежики Митька, Вася и Аделаида.

Крот Кротович и мышиная мамаша.

Красногрудая поэтесса.

И, наконец, — соперница Ахиллеса в свипстейке.

Змеиный визит был, пожалуй, самым таинственным. Дело происходило осенью, перед вынужденным возвращением в Париж. Тогда еще были заросли ежевики и вообще бесхозяйственность. Солнечный закат, тишина и грусть. И вот к порогу домика подползла и заглянула внутрь змея около метра длины: «Здравствуйте и до свиданья!»

Может быть, впрочем, не змея, а уж. В гимназиях конца прошлого века естествознание не преподавалось, так как считалось наукой, революционизирующей молодые неустановившиеся умы. Изучали пре-

имущественно языки, греческий и латинский, благодаря чему мы до сих пор помним первые строки Илиады и военных мемуаров Юлия Цезаря, а крокодила от клопа отличаем только по силе укуса. Но змея ли или невинный уж, — важно то, что мы прожили лето бок о бок, не будучи знакомы, и только в последний день она сочла нужным откланяться: «Здравствуйте и до свиданья!» Удобный случай сказать: «Вот так часто мы ходим по краю пропасти, не подозревая о смертельной опасности, или же проходим мимо существа, которое могло бы сыграть в нашей жизни выдающуюся роль!» Ваш пароход отплывает в дальнее плаванье, и в последний момент вы видите на пристани женщину со змеиными глазами, которая снилась вам с юношеских лет и ради которой вы свернули бы с любой дороги. Вы бросаетесь к борту парохода, вы готовы броситься в воду, но вас останавливают: «Будьте благоразумны!» Почему она явилась так поздно! Пароход прибавляет ходу, — и за кормой седая волна. Все кончено.

А в прошлом году явились ежики: Митька, Вася и Аделаида.

Сначала появился Митька, в виде серого комочка на клумбе настурций. Он был колюч и неприветлив, но совсем не робок. На все приветствия он отвечал: «Ф-ф». Но когда ему дали молока на блюдечке, он его оценил. Едва Митька был уложен спать в старую кепку коммунистического образца, как на дорожке появился Вася, несомненно, — его брат. Вася был меланхоличен, не фыркал, долго не хотел пить молока и предпочитал оставаться колючим клубочком. Он попал в ту же кепку и сразу заснул.

Третьей и последней явилась Аделаида. Сначала предполагалось назвать ее Клитемнестрой, затем Варсонофьей, но она откликнулась и улыбнулась только на имя Аделаиды. Характер прекрасный и полный добродушия. Молоко так ей понравилось, что она залезла в блюдечко и выкупалась. Ее можно было

брать руками, не накалываясь, и она не прятала мордочки. Она была младшей из близнецов, что видно по росту, по деликатности сложения и по наивности. Ей также нашлось место в кепке.

Они жили в комнатке три недели, доставляли множество хлопот и немало наслаждений. Они забавно фыркали и топотали ногами. Когда им в первый раз дали сырого мяса, оказалось, что они давно о нем мечтали; утащив по куску в кепку, они целую ночь сосали и чавкали, и наутро сделались злюками и зверюгами, в особенности Митька. Вообще Митька был невозможен, кололся, кусался и отрицал культуру. Когда их проверяли, все ли налицо, для чего тыкали пальцами в бока кепки, Митька отзывался громче всех: «Фу-ф-фу!», Аделаида же отвечала просто «фу!».

Подрастая, они делались прожорливее, но не приветливее. Приходилось думать об их будущности. Хорошо воспитанные, они могли бы сделать ежовую карьеру. Посоветовались с соседом-французом, не выпустить ли их? Сосед с ласковым упреком сказал: «Ну зачем же, они очень вкусны!» Тогда мы решили отнести их как можно дальше в лес.

Уже опадал лист, осенняя природа была прекрасна. Лежа в корзинке, Митька на каждый шаг отзывался фырканьем. Я забыл сказать, что Аделаида оказалась также мальчиком, хотя сохранила женскую миловидность. Вы не можете представить себе, как трудно расставаться с ежиками, — с людьми гораздо проще и легче. И переписываться с ними не придется!.. Мы выбрали для них удивительное место: пуховый мох и заросли вереска; можно спрятаться в тепле, — ведь они были так молоды и так хорошо воспитаны!

Из корзинки они выпали серыми колючими комочками, причем Митька тотчас же расправился, фыркнул и пополз, Аделаида улыбнулась и поползла в другую сторону, а Вася, меланхолик, засел под мох и выходить не желал.

Короче говоря, они расползлись, не попрощавшись друг с другом и не сказав слова привета своим воспитателям. Родители поймут, как тяжело испытывать неблагодарность детей. Их дальнейшая судьба неизвестна. Но вот здесь, под пиджаком и рубашкой, в человеческом сердце, они оставили неизгладимый след. Были ежики — не стало ежиков. И часто, в часы задумчивости, вспоминается: «Где наши ежики? Где злющий Митька, Вася-меланхолик и милая, приветливая Аделаида, хотя и оказавшаяся мальчиком?!»

О Кроте Кротовиче расскажу как-нибудь в другой раз; он не гость, а местный житель. Я отношусь к нему, как к дамской литературе: признаю его неизбежность, но не ищу встречи. Жильцы двух разных этажей, мы не можем побороть чувства классовой розни. Откладываю разговор также и о мышиной мамаше — за недостатком места и времени.

А вот поэтесса-красногрудка наделала мне немало хлопот. Что-нибудь одно: или поэзия, или материнство. Моя гостья стихов не пишет, но в припадке семейственности она решила свить гнездо над калиткой в зарослях розы. Это получилось слишком красиво, как на открытке с надписью: «Привет от далекого друга». Пока выводились птенцы, приходилось осторожно приотворять калитку и старательно срезывать бутоны прекрасной «Офелии», чтобы кто-нибудь из прохожих, любителей чужих цветов, не потревожил нечаянно молодой матери.

Она просидела в гнезде две недели; на третью у нее было двое детей, которых она почти не кормила. Трудно представить себе более легкомысленную мать! Она пропадала по часам в обществе таких же легкомысленных, флиртовала, клевала семена отцветших незабудок, лакомилась полузрелой земляникой и, усевшись неподалеку на липе, щебетала:

«Видите ли, ви-ди-те-ли, де-ти». Дети ничего не видели, пищали и просили есть. Мы были уверены, что птенцы погибнут с такой матерью.

Но они оказались вполне современными птенцами, детьми мирового кризиса: они быстро встали на лапки и постарались сами снискивать себе пропитание. Через неделю один из братьев выкарабкался из гнезда, сел на ветку розы, потерял равновесие и довольно неуклюжим парашютом опустился на траву. Матери не было, и пришлось заняться его судьбой. У него были уже довольно сносные крылья, но еще совсем неприличная головка. Суровостью взгляда и тремя волосками на голом черепе он напоминал Бисмарка; кажется, теперь принято сравнивать с кем-то другим, но я держусь сравнений классических. Он пыжился, как человек, в первый раз едущий в вагоне первого класса. Еще не отличая добра от зла, он принял мою ладонь за сносное гнездо и попытался задремать. Со всяческой осторожностью он был водворен в собственный дом в зарослях розы.

Днем позже оба брата решительно отказались оставаться в гнезде. До смешного похожие на орлов, они истуканами сидели рядом на веточках, пока не стало очевидным, что мать считает их совершеннолетними, а себя еще молоденькой и хорошенькой красногрудкой. Тогда они полетели, как будто это — дело привычное и наука незамысловатая.

Чудеса! В три недели яичко с крапинками стало готовой птичкой! Попытайтесь представить себе человека, который в начале мая родился, а в конце мая — готовый младоросс, с правами, преимуществами и знанием назубок закона о престолонаследии и других необходимых научных дисциплин. Пушок на голове примазан щеткой, и уже пробивается щетинка на округлости щек.

Поразительная поспешность! Должен сознаться, что такой ударный порядок невыносим для старого интел-

лигента, привыкшего размышлять и ставить вопросы на обсуждение, и загодя, и в момент боя, и, в особенности, после поражения. Это не дает счастья данному поколению, но обеспечивает торжество идеи в веках. Поэтому к подвигу поэтессы-красногрудки я отношусь, в общем, отрицательно.

И вот тут-то и произошло последнее событие обитательской жизни: явилась черепаха.

Спорно, водятся ли во Франции черепахи. Однако, по справкам, оказалось, что эта была найдена в лесу одним из соседей, принесена домой, неоднократно пыталась бежать, водворялась обратно, наконец, в последний побег, подползла к калитке моего сада. Сосед окончательно от нее отказался, и ничего не оставалось, как оказать ей гостеприимство.

С быстротой, черепахам не свойственной, она исправила впечатление от предыдущего события. За первый час она проползла полметра, за второй — полметра обратно. Утомившись, она отдыхала до заката солнца, а наутро оказалась шагах в пяти.

Если не ошибаюсь, черепахи живут лет по тысяче с небольшим; моя была еще совсем молоденькой, на вид — лет двухсот-трехсот. Рассчитывая во всяком случае дожить до повсеместной победы социализма, она не имела оснований слишком торопиться. Когда ее трогали, она прятала голову и ноги в собственный дом и всем видом выражала полное согласие провести в таком положении лет пять-шесть, пока наблюдателю не надоест ее беспокоить или он не состарится. Пускаясь в путь, она точно знала, что достигнет намеченного пункта лишь тогда, когда у внука, состязающегося с ней в беге Ахиллеса, вырастет седая борода, а вместо вылетевшего одновременно с нею аэроплана изобретут что-нибудь еще более нелепо-быстрое.

Тут-то и сказалось непостоянство обитательской натуры. Только что возмущался излишней ударно-

стью созревания красногрудок, их легкомысленной поспешностью, — и вот пример медлительности, не дающей душевного успокоения. Скажу больше — до крайности раздражающей. Ощущение такое, как будто ждешь визы в иностранном консульстве. Черепаха может ждать, — но мы устали от ожиданий! Решительно отказываюсь иметь перед глазами олицетворение теории медленной эволюции, беру черепаху в мешок и революционным шагом отношу ее в ближний лес доживать отведенное ей тысячелетие.

Так среди событий разнообразнейших и поучительных проходит летняя жизнь Обитателя, ищущего в природе мудрых указаний на златую середину между бурностью житейских отношений и печальным прозябанием. Средняя не найдена — но лето еще впереди.

О любви

Ночью была гроза, сейчас ярчайшее солнце. В утренний час легкости воздуха и совершенной радости Обитатель просит разрешения поговорить о любви.

Это — самая необходимая тема в наши дни, отмеченные общей тревогой и избытком недобрых чувств. Кто бы вы ни были, человек ли в довольстве или нищий, политик или обыватель, деловой или бездеятельный человек, — вы не можете не чувствовать ущерба в добрых человеческих отношениях и не ощущать потребности в примирении с миром. Главное, — не стыдитесь в этом признаться! Сейчас весна, пора простительных увлечений, соломенных шляп и цветов в петличке. Нужды нет, что дома строятся из камня, железа и стекла, а сквозь асфальт трава не пробивается; сами мы — из прежнего материала, и когда заходит речь о людях тридцатых годов, нужно прибавлять, какого века, иначе легко спутать.

Местом беседы, как обычно, избираю свой сад, куда вы приглашаетесь с поклоном и сердечнейшей

приветливостью. Сегодня его калитка распахнута настежь — редкий случай; это значит, что хозяин победил в себе боязнь вторжения постороннего мира и не нуждается в затворничестве. Он хорошо вооружен: на его стороне все цветущее и обновленное. Он даже не может исчислить весь свой арсенал весенней роскоши произрастанья. Во всяком случае, по обе стороны входа тянутся стены будущих роз, — пока они только наливают бутоны, а почетная стража — сотня ирисов. В бутонах и жасмины, но сирень, конечно, в полном цвету. Полянки ландышей, незабудок и лиловых лесных гиацинтов, гряды анютиных глазок, звезды барвинков, тень лип и берез, бисер первых смородинных ягодок, слишком незрелых, чтобы ими отвлечься от нашей главной темы — темы о любви.

Любовь есть чувство, которое не укладывается в изречение. Мало книг, в которых прямо или косвенно не говорилось бы о любви; кажется, только в атласах машинных частей, расписаний железных дорог и в книге логарифмов. Но слова ее не определяют. Вот передо мной Словарь избранных мыслей авторов всех народов и всех веков — и слову «любовь» в нем посвящены страницы. Мудрецы и остроумцы мира хотят определить ее, как небесную каплю, влитую в горькую чашу жизни, как «обмен фантазий», как болезнь, как продукт безрассудства или любопытства, как неизбежность, орудие защиты, сновиденье, проклятие, благодать, высшее и низшее в человеке, наиболее вечное, наиболее временное, как величайшее зло и величайшее благо. Ее классифицируют — и путаются в делениях; ее превозносят — и утопают в пошлости, возвеличивают — и сводят к низкому, отрицают — и попадаются в сети. Чтобы дать ей определение, замешивают чан

мудрости ведрами соли и щепотками иронии, заправляют дрожжами чувственности, подсыпают крупы благоразумия, дают вскипеть на огне страстей, остуживают рассудком — и получают грязное и тягучее варево.

Был счастливее путь восклицаний — и до сих пор не сказано лучше: «Положи меня, как печать, на сердце твое, как печать, на мышцу твою; потому что сильна, как смерть, любовь. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением».

Слова исчерпаны — возможны только их повторенья. Но, как всегда, открыта зеленая книга природы — и читающий да разумеет.

«Сестра моя, невеста, запертый сад, замкнутый колодезь, запечатанный источник».

Любовь проще слов — она проста, как сад. На голову сыплются красноватые чешуйки липы — ненужные больше оболочки почек. Газон и дорожки усеяны белыми лепестками отцветших кустов и плодовых деревьев, все это — возврат земле ее расходов на украшение брачных дней. Любовь — не мгновенье; цвет ее переходит в крепкую завязь, в люльку будущего зерна. На розах слеплены листочки — тоже люльки будущих поколений вредителей; для кого вредители, но жить и им хочется — и спят в пуховых кроватках зеленые червячки, пожиратели листвы и бутонов. Парочками, в обнимку, сидят красные жучки на разлапистых одеждах лилии, которой до цвета остался еще месяц. Два мира — растений и насекомых — соображают сроки свадеб, так, чтобы к моменту образования плода — готовы были и личинки, которым этот плод будет пищей. Тут возможны ошибки, промахи, упущенья, и недаром мак готовит тысячи семян на один цветок, а мелкая бабочка соответственно тысячу яичек. Любовь нерасчетлива, и неудачу поправят щедрые запасы.

Ошиблась и птичка, свив гнездо слишком близко к дороге; гнездо брошено, и спешно создается другое — такое же круглое, так же заботливо выложено пухом. Любовь — страстная жажда вечности, продления своего в породе. Может быть, и не сознательная. То, чего не понимают, объясняют не более понятным словом — «Инстинкт». Человек обставляет свою квартиру — ум; птица вьет гнездо — инстинкт. Разница в размерах и названиях.

«Положи меня, как печать, на сердце твое!»

Может быть, именно так и говорит на своем языке красный лилейный жук своей жучихе, встретив ее впервые на листе или в легком полете. Ему кажется, что его соблазнила черная крапина на ее крыле или ее стройная ножка. Он сам считает себя легкомысленным повесой, как она воображает, что ее руководит одно любопытство и желанье нравиться. Случайна ли их встреча или предопределена в книге жучьих судеб? Столько крыльев пронеслось мимо, столько возможностей отнесло ветром в сторону, — и вот в весеннем мире, перенасыщенном любовью, два кровавых пятнышка скатились в лопасть широкого листа. «Положи меня, как печать, на мышцу твою!»

Замыкается цепь прошлого и будущего. Жук, живший в ушедших веках, посылает кровный родственный привет жуку далекого будущего. Любопытно, что только живой связью поддерживается в их мире это общение: они не оставляют по себе памятников жучьей культуры, сфинксов, пирамид, музеев и дворцов правосудия. У них, по-видимому, нет и библиотек, в которых хранились бы мемуары. Они каждый раз живут заново и умирают начисто и совсем, — если только опыт веков не откладывается где-то в твердых крылышках или в плодотворящем семени, переходя в яйцо. Тогда это прочнее библиотеки и каменной кладки исчезнувшего города.

Одни и те же слова шепчет весь сад, и в нем нет скептиков и неверующих, кроме нас с вами. В нем

каждый малый цветок, едва видный глазу, — свидетель и участник великой мистерии любви, вскрыватель тайны. «Сестра моя, невеста, запертый сад, запечатанный источник». Много странного и необъяснимого, но нет уродливости и уродов, потому что все так, как быть должно. Носится дух невидимого художника, прихорашивает, щекочет, возбуждает. Если вы наблюдали весной листья конских каштанов, вы знаете, какими изнеженными и безвольными тряпочками они висят до поры цветенья. Но когда из цветочных пазух выпирают белые и красные султаны, вытягиваются, крепнут и приступают к творческой работе, — тогда и листья подтягивают прожилки, наливаются соками и проявляют присущую им жизненность, — ловят свет всей поверхностью. Потому что наступил праздник любви, в котором участвуют все и всё: и цвет, и лист, и кора, и корень, и воздух, и почвенная влага.

«Ранним утром пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли цветы, расцвели ли гранатовые яблоки; там я окажу ласки мои тебе».

Дурной глаз видит во всем войну и борьбу за существование; дурное ухо не слышит гимна взаимной помощи и сотрудничества.

Это правда, что плющ душит дерево: они не сумели сговориться. Но только слепому не видно, как мудро и согласно делят землю и воздух растения. Их помощь друг другу беспредельна до самоотверженности. То, что мы называем пораженьем, там только добровольная и разумная уступка.

Я густо посеял мак; он вырос зеленой щетиной. Нет надобности его полоть; он сам выбросит вверх столько стволов, сколько может вырасти и окрепнуть на отведенном ему месте. Из тысячи ростков

он выбрал десять-двадцать, которые продолжат его род; все остальные, не развившись, заглохнут и погибнут, удобрив землю. Это не борьба — это уступка. Была бы борьба, — неужели сотни обиженных не объединились бы против преуспевших единиц и их не свергли бы, погибнув затем и сами? Это — сочувственная помощь, естественная в среде, где нет ни накопленья, ни принудительного труда. Помощь чужой любви своею смертью, гармония двух сил, — «ибо сильна, как смерть, любовь».

Садовник знает, как в земле переплетаются корни разных растений, стараясь не мешать друг другу, делая причудливые изгибы. Но если нужно, — слабое уступает сильному, потому что нет такого писаного закона, чтобы мешать более живучему и способному к большей творческой любви. И если плевелы заглушают пшеницу, — то кто сказал, что пшеница благороднее плевел? Здесь нет гербов и понятия о голубой крови и нет деления на нужных и ненужных; пшеница знает это и уступает с достоинством и самоотверженьем.

Галки добивают своих больных; крысы загрызают; муравьи уничтожают; голодные волки съедают. Для нашей морали это невыносимо: мы строим больницы и ставим безногих на костыли. Мы поддерживаем слабых, — и они плодят слабых. Но в этом нет противоречия, это — тот же закон любви, та же уступка, но иной силе: силе красоты духовной. Мы поступаем так не для них, а для себя — для своего нравственного роста. Когда нам тесно на земле, мы все-таки стремимся поделить ее для всех равно. Мы гибнем физически — и растем духовно. Затем уже не мы, а кто-то, бесчестный и низкий, вероятно, рок, устраивает войну между нами или революцию. Нас меньше, нам свободнее, пока не нарастает новый приплод. Но в мире растений и животных нет ни войн, ни революций, у них нет ни нашей красоты, ни нашей этики. Они просто — меряются силами и добро-

вольно уступают наибольшей напряженности творческой любви. Они не считают это ни преступлением, ни заслугой. Но прав и тот, кто истолкует это иначе, — ведь мы ничего не знаем в мире тайн.

Проводив гостей с поклоном и извинением за малое, Обитатель возвращается домой задумчивым и недовольным: то, что хотелось сказать, не удалось выразить ясными словами. И так бывает каждый раз, как пробуешь очеловечить природу. Она прекрасна и понятна только в подлиннике, — никогда в переводе. Она благоухает лишь до тех пор, пока о ней не говорят. Она, как символ, непонятна непосвященному и непередаваема, как тайна.

Такова и любовь, все равно — мошек, слонов, фиалок, крапивы или людей. Любовь к ней, любовь к ближнему, к дальнему, к человечеству, к самой любви. Может быть, потому это слово стало смешным и это понятие почти неприличным в воспитанном обществе?

И, вернувшись в свой бесстенный и бескрыший храм, созданный содружеством зеленых ветвей и вечереющего неба, Обитатель уже для одного себя повторяет слова Песни Песней: «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то был бы отвергнут с презрением» —

«потому что сильна, как смерть, любовь!»

О вопросах, не по-летнему серьезных

В своем саду Обитатель приветствует и терпит все цветы, и такие, которыми любовался в садах подмосковных, и такие, каких там не росло. Но в своем огороде он строг: только русские огурцы, русская репа, русская редька, русские хрен и укроп. И семена из России — здешним нет доверия. Это не из сладенькой грусти по родине, а из гордости и п р о т е с т а.

Смешно считать свой квас лучшего чужого шампанского; еще смешнее щеголять в сарафане на евро-

пейском балу и думать, что спасала Россию нагайка, а погубили ее суд присяжных и «Капитал» Маркса. Вообще быть глупыми нехорошо, — но быть гордыми необходимо.

Мы — народ добрый, покладистый и чувствительный. Только у нас могла из модной сделаться народной такая песенка:

Трансвааль, Трансвааль, звезда моя,
Ты вся горишь в огне,
Под деревом развесистым
Задумчив бур сидит.

Это потому, что мы очень жалели буров, с которыми расправлялись англичане. Точно так же мы жалели славян, пели «Шуми Марица» и бегали добровольцами драться против турок. Был у нас Бакунин — тот вообще сражался за любую угнетенную народность; он думал, что он — интернационалист, а в действительности был типичным русским. И если уж за кого мы заступались — меры знать не хотели: и рублями, и головами отсыпали миллионы. Сказать, чтобы эти головы отсыпались с большой охотой, — было бы преувеличением; но их, во всяком случае, уверяли, что они отсыпаются очень охотно и что это называется патриотизмом.

Таким образом, по чужим делам мы всегда были вне упрека. Когда же пришло время заняться делами собственными, — тут мы оказались изменниками. И действительно: можно ли думать о себе, когда еще не закончены дела ближнего? А еще христианский православный народ!

С тех пор русский человек в глазах Европы стал эндезираблем в обоих своих естествах, в советском и эмигрантском. Невозможно совершенно изъять его из обращения, но невозможно и ставить вровень с порядочными людьми. И стали мы клеймеными, одни — красной, другие — нансеновской печатью. Не то что бы

полное отрицание или осуждение, — Боже избави, Европа культурна! — а лишь презумпция подозрительности, как презумпцией бесспорного благородства пользуются, например, англичанин во Франции или француз в Англии, если только в каком-нибудь поколении он не орижин рюс. Кроме того, мы не заплатили наших долгов, а это отвратительно; правда, другие тоже не платят своих долгов, но они делают это по-благородному, после долгих разговоров, по выработанным планам, а не грубо, как мы: раз-два — и пошел к черту!

Как личность, изо всех сил старающаяся мыслить государственно, Обитатель находит разумным такое обращение с ним и его белыми и красными сородичами. Действительно — аховый народ! Достоевский знал, что пишет! Но, как личность болезненно самолюбивая, Обитатель дал себе слово отныне не сажать в своем огороде никаких арико, а сажать только мартовскую репу, нежинские огурчики и черную зимнюю, самую горькую на свете редьку. Зла от этого никому нет, а на душе легче.

Вот путь, которым от патриотизма солдатского (страстное желание отдать тело и душу за чей-нибудь частный интерес) мы докатились до патриотизма интеллигентского (горькая, но горделивая редька).

Выпалывая с грядок сорную траву, думаю: «До чего же любит она приспосабливаться и притворяться благородным посевом! И лист, и цвет тот же — без очков и не отличишь».

И тут, конечно, опять аналогия и скачок мысли: как бы патриотическую обиду Обитателя не приняли за тот национализм, который, во имя старого русского хрена, готов заключить союз с японскими бобами! Или гордость его не довела бы до смешного, — до любования пируэтами малолетней балерины

и до перечня русских кавалеров ордена Почетного легиона.

Нет, тут дело идет не о козырянье талантами, а о простом человеческом достоинстве. Плясать-то я, пожалуй, и не умею, но и учиться плясать под чужую дудочку тоже не хочу.

Обитатель, конечно, беззащитен, любая соседка кричит ему: «Nous sommes chez nous»[1] и на этом основании пускает кур в его огород; но у него готов ответ: «Мы, милая женщина, ерунда, мы понемножку вымрем, вместе с нашей репой и редькой, вымрем естественной смертью, счетов не сведя, долгов не уплатив и с благодарностью за ласковый приют. Но дело не в нас и не в детях наших, привыкших набивать желудок всякими видами арико и быть этим сытыми. Есть, милая женщина, большая страна, где мартовской репы целые поля, а укроп так и растет самосейкой и где мы также не «chez nous», так вот об этой стране подумайте попристальней!» Соседка, конечно, ответит: «Чем это меня касается?» А Обитатель ей: «Мало ли что кого не касается, да вдруг коснется! И с нами то же было». Обычная соседская перебранка ради чесанья языков. Курицу она, однако, отозвала на французский манер, как мы кличем котят: «кись-кись-кись». И курица пошла, нисколько не обидевшись.

Курице что! Она даже не понимает, что «кись-кись-кись» для нее оскорбительно. Ну а нам труднее: мы за довоенное и военное время привыкли к иному обращению: и сами были везде «chez nous», и каждому гостю предлагали располагаться у нас, как дома. И не каемся: это было прекрасно!

После полудня жара делается нестерпимой даже в тенистом саду. К зависти соседей, у меня прове-

[1] «Мы у себя дома» (*фр.*).

дена вода прямо под липовую сень, и каждые двадцать минут я подставляю голову под кран и не вытираю, чтобы вода не стеснялась затекать, куда ей заблагорассудится. У решетки сада мое мокрое и блаженное лицо встречает взгляд черных глаз, не злых, не завистливых, но отрицающих меня с ног до головы.

У нас строят дорогу, и работают, конечно, итальянцы. На пятидесятиградусном припеке они скапывают землю, нагружают и опорожняют вагонетки с каменными глыбами, разбивают камни молотом, укладывают с удивительной ровностью, засыпают щебнем, уравнивают песком, а один из них укатывает дорогу тяжелым паровичком: значит — прибавьте к температуре припека еще жар паровика. Вот с его глазами я и встретился.

Отрицать именно меня он не имеет веских оснований. Ему известно, что я такой же «сан-патри», как и он, а это служит извинением. Разумеется, я блеснул перед ним своим римским выговором и успел неодобрительно выразиться о Муссолини; он шутливо поддакнул на пьемонтском диалекте. И все-таки он должен отрицать меня, барствующего на цветочных клумбах, иначе я его не уважаю. Он не имеет никакого понятия о коммунизме, но обязан быть коммунистом и мечтает о советах в Италии (что такое «советы», он тоже не знает). Я все это отлично знаю, испытал на себе, видел на других и решительно отвергаю, как ничего не оправдывающую и не излечивающую ложь. Но так как мои волосы мокры от холодной воды, а его от горячего пота, то я перед ним виноват и самым подлым образом заискиваю. Впрочем, что бы я ему ни сказал, он мне ни по чем не поверит. Не поверит даже в том случае, если я выйду и буду помогать ему дробить камень и кататься на паровичке; во-первых, это ни к чему, так как он — поденщик, а не сдельно работает, во-вторых, это будет моей забавой, а не основным делом. Нет решительно никакого пути снискать его доверие и расположение!

Опять мочу голову, распаленную аналогиями. Вспомнил, что был и я «кающимся дворянином», требовал признания земли ничьей и социализации ее недр, сидел за это в тюрьмах и был выгнан из этой земли тем, кто требовал приблизительно того же и кто победил. Уж там была, кажется, полная близость идей и намерений: дробили один камень и катались на одном паровичке! По-честному заявляю: никогда Обитатель не лицемерил и ни от какой ответственности не уклонялся! И все-таки это случилось — и случилось по всей справедливости. Многоликий «он» отрицает меня по полному праву и не желает зачесть мне ни моих просвещенных идей, ни моих тюрем, ни моего изгнания, потому что мое страданье — писать по утрам, а его страданье — целый день дробить и укатывать камни; потому что я знал поражения и победы, а он — только поражения.

Он пускает свою машину обратным ходом и гладит дорогу, втискивая щебень в пустоты между крупными осколками камня. Он слишком добродушен и неразвит, чтобы мечтать так же точно прокатиться по срезанным и уложенным на дороге головам. Он делает дело, а не занимается самооправданьем. Он не только не мочит головы холодной водой (я предлагал!), но даже не снял своей итальянской фуфайки. Если что-нибудь меня бесит, то именно спокойствие и солидность его отрицания меня, моего сада и моей холодной воды. Если бы он хоть запустил в меня камнем! Ему это и в голову не приходит! Значит, опять я должен швыряться за него? Я швырялся — и был сам вышвырнут. Из чувства долга больше не способен, а любви к людям во мне больше нет; я люблю землю, зверей, насекомых, растения, навоз, жару, прохладу, дождь, что угодно, даже человека, но не «людей», только потому, что они имеют счастье так называться. Так почему же я чувствую себя словно бы виноватым и заискиваю?

Вот к каким мыслям и самобичеваниям приводит августовская жара!

Впрочем, и в холодную погоду, в Париже, я точно так же заискивал и извинялся перед безработными, на звонок которых выходил в переднюю. Голосом мягким, иногда дрожащим, я объяснял каждому, что у меня нет денег и что я тоже беден. Это не было полной правдой, потому что двадцать франков на питанье все-таки обычно лежали у меня в кармане, а у них не было и двух франков. Но они приходили по пять и по шесть человек в день, и каждому нужно было на ночлег не менее пяти франков. Этого у меня не было, — значит, в сущности, я был прав. Но у меня была постель с чистым бельем и пуховыми подушками, и я чувствовал себя перед ними виноватым и как бы негодяем, не желающим помочь.

И вот однажды я попробовал отдать все деньги; хватило на четверых, они меня благодарили и называли прекрасным человеком. На пятого не хватило, и он дал мне понять, что я подлец, трогательной дрожи моего голоса он не поверил. Изменив голос, я послал его к черту и искренне возненавидел. В этот день я обедал у знакомых (должен сказать — прекрасно накормили) и спал на своей постели, спал довольно тревожно, потому что был канун квартирного терма. Но все-таки был сыт и спал. Утром меня разбудил звонок, и соседи могли слышать мой кроткий, заискивающий голос: «Простите, у меня нет ничего». Затем я, как и он, отправился добывать денег. Не знаю, достал ли он пять франков на ночлег, я же без особого труда достал в четыреста раз больше — и уплатил терм.

И вот, когда звонят у двери, я продолжаю чувствовать себя глубоко несчастным, совершенно правым и несомненно виноватым. Возможно, что я — благодетель, но бесспорно — скупердяй и хитрая бестия. Отсюда — кроткая улыбка и заискивающий тон.

Но это было зимой, в Париже, в дождливую и холодную погоду! Как трудно в жару заниматься вопросами национальным, рабочим и неорганизованной благотворительности!

Матильда Ивановна и Федор Федорович

После теплого предвечернего дождя на влажной дорожке показывается старая приятельница Матильда Ивановна, особа нелепая, меланхоличная, переваслистая. Не только из чувства естественной благодарности, но и по искренней приязни, я окликаю ее приветственным — добро пожаловать! Мне все в ней нравится — от карих глаз до растянутой усмешки тонких губ, от солидной неторопливости до того равнодушия, с которым она переносит свое культурное одиночество. Сказывается, вероятно, и наше физическое сходство, хотя Матильда Ивановна ползает на карачках, а я твердо стою на ногах, держа в одной руке сажалку, в другой — цветочную банку. Но когда она, увидав в стороне от дорожки что-нибудь любопытное или полезное, заносит руку, подтягивается и лениво карабкается на выступ земли, в ней столько человеческого и она так похожа на кое-кого из моих знакомых, что диву даешься, почему она не в юбке или даже не в смокинге? К этому странному сходству добавлю, что она без хвоста, и тогда вряд ли придется объяснять, что Матильда Ивановна — жаба. Но не жаба вообще, а жаба определенная, моя, живущая в саду уже не первый год, близкая знакомая, соучастник работ, бескорыстная помощница — одним словом, не кто-нибудь, а Матильда Ивановна.

Каждый натуралист вам скажет, что жаба — существо, напрасно обижаемое, до сих нор не оцененное. Какого только вздору при нее не говорят: и нечистая, и противная, и ядовитая, и вонючая, и безобразная. Омытая дождиком, как может она быть нечистой? Как может быть противным маленькое живое существо?

Кого и когда оно отравило? И неужели неизвестно, что непереносимейшее но запаху животное, по мнению всех зверей, птиц и насекомых, именно — человек, и только он вынужден прикрывать одеждой свое физическое несовершенство? Лев защищается силой, заяц — быстротой, птица увертливостью, жук притворством, — позвольте и жабе иметь свои средства самозащиты, отталкивающие собаку, но совсем не чувствительные для человека, которого она имеет все права считать многообязанным ей другом. Не обижайте же напрасно родных и присных Матильды Ивановны!

Впрочем, моей Матильде Ивановне защищаться не от кого; для крота она велика, а сов и филинов в саду не водится. Ее жизнь — благополучие и полезная работа. Днем она спит в одной из своих резиденций: в вырытой ею неглубокой ямочке на гряде молодых сиреней, под зонтиком папоротника или, же в очень удобной пещере на цветочной горке, выложенной из дубовых пеньков, или, наконец, в том пне с прогнившей сердцевиной, который служит мне обычно для рубки хвороста. Последнее помещение довольно беспокойно, и у нас возникал относительно его длительный спор. Я указывал Матильде Ивановне, что мне этот пень нужен для работы; она возражала, что ей он нужен для отдыха. Из произвольно занятого домика она смотрела неподвижными, но очень выразительными глазами, притворяясь несуществующей, из опилок торчала только мордочка цвета тех же опилок. Почесывание прутиком носа и надглазий ни к чему не приводило, разве что от удовольствия опускались белесоватые веки. Конечно, ударами топора по пню я мог бы убедить Матильду Ивановну, что ей все равно не придется спать и нужно искать другое помещение, но рука с топором не подымалась, и мне приходилось подыскивать другую колоду.

Биография Матильды Ивановны мне в подробностях неизвестна. Сейчас поблизости нет водоемов, и я не

знаю, выводит ли она где-нибудь детей или ведет весной жизнь холостяцкую. Еще не так давно — года три-четыре назад — на этих местах стояли болота; теперь — шоссе, водопровод, электричество. На вид Матильде Ивановне лет шесть, не меньше, но, может быть, она гораздо старше; для доброй жабы и тридцать лет — не старость. Во всяком случае, у нее больше прав на этот земельный участок, чем у меня, имеющего на него купчую крепость. Скажем так — мы совладельцы. Наши хозяйственные интересы до известной степени сходятся, хотя вкусы разные. Матильда Ивановне хотелось бы, чтобы в саду было как можно больше слизняков, червей, мокриц, жучков и мельчайших лягушек, до которых она великая охотница, притом обладающая огромным аппетитом; мне, наоборот, хочется, чтобы этой нечисти было как можно меньше (за исключением лягушат, к которым я расположен), и я очень рад, что Матильда Ивановна ее деятельно истребляет. Таким образом, расходясь во вкусах, мы действуем в одном направлении.

На охоту она выходит в дни влажные вечером, в дни сухие — по ночам. От природы ленивая и неспособная к прыжкам и резким движениям, она намечает себе определенный участок и обходит его с великой тщательностью. У нее великолепное зрение и меткий язык, способный слизнуть муху на лету. Быстрота языка такова, что его и не увидишь: чик — и нет жучка и козявки. Если же попадется слишком длинный червяк, то Матильда Ивановна, отправив в рот половину, другую заправляет туда же быстрым движением руки. Она видит то, чего мы не замечаем, даже и присматриваясь. Если, например, шевелится на дорожке палый древесный лист, соломинка, малая бумажка, то не уверяйте Матильду Ивановну, что это от ветра! Она подползает и ждет. Ей отлично известны забавы земляных червей, утаскивающих в норку всякую чепуху; и только соломинка опять зашевелит-

ся, чтобы сложиться вдвое и юркнуть под землю, — Матильда Ивановна ловким маневром вытаскивает и глотает зазевавшегося шутника. При этом — на лице ни удивления, ни восторга, только глаза усиленно таращатся.

Относительно живых червей я, впрочем, не очень сочувствую: они безвредны, даже отчасти полезны: рыхлят и улучшают землю. Будто бы даже в известный срок, лет этак в пять, они пропускают через себя весь поверхностный слой земли. А вот слизняки и гусеницы — приятного аппетита! И я аплодирую невероятному обжорству Матильды Ивановны.

Так мы и живем, в полном мире, друг другу ни в чем не мешая. Вот только разве вопрос о пне. И когда однажды, рассердившись на Матильду Ивановну, я все-таки заставил ее выйти из незаконно занятого помещения и решил перенести ее на горку, в прекрасно устроенную пещеру, — только в этот раз она и обиделась и, кажется, не на шутку испугалась. По крайней мере, когда я щепочкой направил ее в цветочную банку, она схватилась за голову и накрыла ее обеими руками: куда меня тащат, неужто погибать! И так это было трогательно, что я перенес ее со всей тщательностью, боясь тряхнуть и напугать еще больше. Но все обошлось благополучно, и на прощанье я пощекотал ей спинку: вот уж это действительно удовольствие, искупающее всякий испуг. Кошки не так любят щекотку, как любит жаба.

А теперь поговорим о сопернике Матильды Ивановны, правда — подземном, который неохотно высовывает нос наружу, о Федоре Федоровиче, господине Кроте, другом напрасно обижаемом существе. Должен, впрочем, сказать, что у меня отношение к нему двойственное: знаю, что он очень полезен, но ненавижу его за неделикатное отношение к молодым посевам, которые он заваливает своими вулканами.

Кротов во Франции старательно истребляют, даже, кажется, выдают награды за истребление, было бы правильнее истреблять выдающих награду. Впрочем, так же истребляют жаб и малых птичек, без которых черви и насекомые давно бы сделали невозможным никакое сельское хозяйство. Истребляют и ежей, животных полезнейших, убивают прелестных совушек, будто бы нападающих на домашнюю птицу, а в действительности питающихся мышами. И тех, кого так усиленно уничтожают французы, — не менее усиленно разводят догадливые англичане.

С Федором Федоровичем мы в вечной ссоре, и это потому, что он только зовется Федором Федоровичем, а имя ему — легион. Даже не понимаю, как может неуживчивый, ревнивый и злющий крот терпеть на своем участке столько себе подобных. Поймайте двух кротов и посадите в один ящик с землей, — они немедленно сцепятся и будут драться, пока один не победит и не съест другого. С другой стороны — невозможно допустить, чтобы все безобразия в моем саду производил один только Федор Федорович, чтобы он забирался в парник и рассадники, просверливал все гряды и все клумбы во всех направлениях, выбрасывал новые посадки, даже подкапывал старые розы, так что корни оказываются висящими над ямой. Уж не говорю о газоне, исковерканном кочками. Дерзость доходит до того, что Федор Федорович вывертывает из земли и расшвыривает врытые цветочные банки.

Но вот в минувшем году все садоводы и огородники жаловались на личинку майского жука, появившуюся в огромных количествах: вредитель неумолимый, одна штука съедает несколько кустов земляники и салата. И недостижимый вредитель, так как живет глубоко в земле, оставаясь там по три года. Все жаловались, — а я не жаловался, и не жаловался Федор Федорович, из врага ставший другом. Он жирел и плодился, я не мог нахвалиться его работой.

Мы никогда не видались. Я изредка видел, как он шевелит и подымает землю, он часто слышит мои шаги и, вероятно, мое неистовую брань по его адресу. Но так трудно быть справедливым! Все-таки он когда-нибудь выведет меня из терпения. Возьму как-нибудь острые, навозные вилы, выслежу, когда он станет копошиться и рыть и... унесу вилы обратно в сарайчик. А вот мой сосед, француз, бьет своих Федор-Федоровичей — принесет показать: вот какой красавец! Действительно, зачем только дана красота подземному жители; и самочка его полуслепая, не для кого рядиться. Блестящая черная шубка с оторочкой на ногах, перчатки со шлифованными коготками. Бедный его Федор Федорович; нет, я со своим так поступать не могу; а ругать его все равно не перестану: уж очень дорого обходятся его благодеяния. Вот Матильда Ивановна — та совершенно бескорыстна.

Они, конечно, соперники: питаются почти одной пищей, он — трижды в день, она — по ночам, он с великой резвостью, она лениво. Если бы они встретились — произошла бы трагедия, потому что он немедленно съел бы Матильду Ивановну, несмотря на ее неприятный привкус. И я потерял бы лучшего друга.

Я никогда бы не решился так подробно рассказывать об особах, в сущности незначительных и не всем лично знакомых, если бы в последнее время в людях не вырос интерес к животным; а он настолько вырос, что даже в библиотеках самые страшные пожиратели романов начинают робко спрашивать, а нет ли чего-нибудь о зверях, а то люди надоели. Вероятно, люди надоели друг другу потому, что, перепробовав все форды общения, вернулись к первоначальной — звериной; значит, и нужно начинать сначала. Обзаводятся собаками и кошками, говорят о них и пишут. Но в собаках и даже кошках много рабского, усвоенного ими от хозяев. И птица в клетке — разве птица? Легче и приятнее жить с теми, с кем связываешься только

свободным договором, как связан я с Матильдой Ивановной и Федором Федоровичем. Есть у нас общность интересов, но есть у каждого и свои области, до которых другому не должно быть дела. Я знаю, что у крота есть под землей свой хитроумный дом в два концентрических круга со многими выходами; знаю, что он скверно обращается с женщинами, загоняя их в тупик и принуждая к любви, — но я не хожу к нему пить чай и не душу его проповедью феминизма. Матильде Ивановне я позволяю есть крошечных лягушат, хотя это, по-моему, свинство. Зато и они не лезут ко мне ни со сплетнями, ни с политическими разговорами. Ни любить, ни ненавидеть друг друга нам не требуется, зато взаимная терпимость полная. Если бы только это было обеспечено в отношении с людьми — вот была бы жизнь!

И потому простой рассказ о таких независимых сожителях и приятелях уж, во всяком случае, не менее законен, чем бесконечные вариации на тему о том, как Инна полюбила Глеба и что из этого вышло. А впрочем — это уж похоже на самозащиту — при отсутствии прямого обвинения.

Погоня за автомобилем

Заслышав вдали автомобильный гудок моего старого врага, я весь дрожу от злости и желания броситься за ним в погоню. Это будет уже не первым нашим столкновением.

Он владеет не только рулем, но и отличным стилем: одной рукой правит, другой заносит на блокнот свои впечатления, не скупясь на поэтические описания и не сдерживая восторженных вздохов. Он пишет о медвяном запахе липового цветения, о несущихся навстречу ему полях, деревьях, замках, людях, о лужайках, служащих ему обеденным столом, о радостно улыбающихся ему старушках. Этот восторженный автомобилист не имеет перед собой зеркальца и не видит, что происходит позади, — не

видит и моего искривленного злостью лица, лица оскорбленного пешехода, лица укрывшегося в маленький домик Обитателя, покой которого нарушен гудками и вторжением проклятого мотора в мирную жизнь отшельника.

Я тоже хочу наслаждаться цветением лип, хотя их и нет в том местечке, где я скрылся от ужаса парижских такси, подъемных машин и дрожащих и мигающих вывесок. Пусть это будут не липы, а простая ромашка или свежескошенная трава. Подложив под себя рваный коврик, я сажусь на ступеньках крылечка и нюхаю воздух. Я даже не курю, чтобы дым французской папиросы не портил очарования. Вечер. Тихо. Большая Медведица на том же месте, где была вчера. Я вспоминаю, как в прошлом году пел однажды соловей. Где-то высоким тенором воет собака. Легкие дышат превосходно, на душе покой.

И вдруг доносится издали тарарыканье этой проклятой машины. Да минует меня чаша сия! Но нет — выстрелы и взрывы приближаются. И вот с рыканьем и воем, раскидав темноту, тишину, поэзию и разбудив всех собак в окрестности, приносится мимо моей изгороди отвратительная и неуклюжая коробка. Черепицы дрожат на крыше домика, и со стен осыпается штукатурка. Минуту тому назад молитвенно настроенный, я дрожу от бессильной злобы и браню себя за то, что хорошо вымел перед крыльцом площадку и не оставил на ней запасных камней. Шарю руками и напарываюсь на стекло. Но к чему все это, когда автомобиля и след простыл! Его владелец растопырил ноздри и нюхает цветение лип — я задыхаюсь от вони бензина и думаю: «Да где же на земном шаре можно скрыться от этой гадости! Неужели даже в этом затрапезном местечке, на пустырях, на бывшем болоте, к сожалению осушенном и осчастливленном проведением шоссе, я не могу избавиться от визитов любителей прозрачного воздуха и ночной прохлады! Но у меня нет средств уехать в Папуасию и в оазисы Сахары!»

Это промчался он, мой давний враг, поэт автомобильных путешествий. Одной рукой он правит рулем, другой он пишет на блокноте: «Манит к себе каждая дорога, что вьется в сторону, хочется заехать в каждую деревушку, заглянуть в каждое притаившееся местечко. Что за беда, что кругом чужие люди, а места незнакомые... В этом, может быть, и заключена тайна очарованья».

Он пишет еще, с треском расколов пополам мое несчастное «притаившееся местечко» и задушив меня бензином, — он пишет: «Вы в дороге, и вместе с тем вы у себя дома».

Он действительно у себя дома, — но я не у себя! Он выгнал меня из моего дома, из моего сада, из моего долготерпенья. Из моего благодушия он сумел вызвать наружу всю ненависть, из моего скромного лексикона — все бранные слова. Он ежеминутно проезжает мимо таких же маленьких домиков, где люди, только что уснувшие, в ужасе вскакивают и со сна выкрикивают проклятия. Он переполошил всех собак, и их концерт не смолкает полчаса; а через полчаса, едва все успокоится, — новый смелый путешественник, с новым липовым дыханием, повторит триумфальный бег через притаившееся местечко.

Для него это — «тиха украинская ночь», для нас это «о, ночь мучений!»

Ночь прошла. Сквозь сердечко ставни пробивается утренний свет. Комары утомились, двухвостки не лезут больше под подушку, наступает пора мух. Тут бы поспать сладко в предвкушении дня. Попробуйте и убедитесь! Вы знаете, что он пишет? Он пишет: «Всего лучше выехать пораньше утром, никак не позже семи. Тогда воздух особенно прозрачен, в низинах и над рекой стоит еще легкий туман» ... и так далее. Нет, утром он спать не даст.

Может быть, вы отдохнете вечером, на закате? Можно, например, раскинуть на травке под деревом одеяло, подложить под голову руку и сладостно закрыть

глаза. Я говорю — попробуйте, если вас не пугают такие строки: «Как хорошо вечером! Красным шаром висит на горизонте солнце. Знойный день остался позади. Даже от малой речушки, над которой проносится по мосту автомобиль, кажется, веет прохладой. Пахнет скошенным сеном, и опять — липа, липа...».

Ему — опять липа, а нам опять невозможно покойно вздремнуть. Ни ночью, ни утром, ни на закате, ни в обед — никогда. И если бы он один, а то ведь есть еще аэропланы, которые усердно бороздят небо и сотрясают воздух, благо близко аэродром Бурже. Когда человек орет и скандалит на улице — его забирают в участок. Когда летчик шумит и скандалит на десять миль окружности — все подымают головы к небу и говорят: «Ах, какая прелесть!» Уже три рода я терпеливо жду, что какому-нибудь летчику придется снизиться в мой огород. Если он останется при этом цел — все равно он совершенно целым от меня не выйдет. Не злая воля и не скверный характер, — сама жизнь толкает меня на уголовщину.

———

Он знает, мой лютый враг, что я слежу зорко за каждым поворотом его колеса. Следил, когда он держал экзамены на красный билет; слежу сейчас, — и борются в моей душе два чувства: чувство приязни к человеку и чувство необоримой злобы к автомобилисту и поэту.

«Есть, — пишет он, — свое особое очарование в автомобиле, что бы ни говорили его ненавистники. Эти чары — прежде всего свобода и независимость».

«Ненавистники» — это я; никому не уступлю почетного звания.

Что касается «свободы и независимости», то отрицать их нельзя. О них знают не только задавленные куры, но и угнетенное мирное племя ненавистников. Человеческое законодательство дарует автомобили-

стам такую свободу, о которой и мечтать не могут пешеходы. Свободу преграждать мне путь, обрызгивать меня грязью, душить бензином, резать меня пополам, вдоль или поперек, и взыскивать с меня за это убытки, пробивать мне гудком барабанную перепонку и отнимать у меня запах лип всюду, куда бы я ни скрылся.

Но пусть все это будет в городе; здесь ненависть моя утихает при виде двух столкнувшихся машин, при звоне разбитых стекол и при виде палочки ажана. Здесь, выходя на улицу, я знаю, что меня ожидает; стиснув зубы, я мирюсь, терплю, скрываюсь в подземелье метро. Приходит момент, когда дальше терпеть невозможно — и тогда я сам сажусь в автомобиль и еду на вокзал. Вот она, сельская тишина, вот оно, счастье отдыха, дыханье лип!

Расстегнув ворот рубашки и разгладив морщины на лбу, я ищу на небе барашков, в траве букашек, в сердце своем любовь к человечеству и ласковое всепрощение. Я готов уже примириться с бытием и оставить мысль о самоистреблении. Я готов любить. Я могу надеяться. Я сажаю редиску. Я близок к счастью. Я дышу липой.

И вот тут-то летит он, свободный и независимый, гудящий и отравляющий, охотник до «притаившихся местечек». Он настигает меня всюду — и нет от него спасения. И тогда во мне просыпается вся ненависть, накопленная в городе, весь ужас бытия, искалеченного мотором. Он свободен и независим — я раб своей справедливой злобы.

И я знаю: этот день наступит. Однажды, дойдя до последнего отчаяния, я выжду час, когда путь его будет лежать мимо моего уединенного домика, и тогда соберу и разобью все бутылки от Виши, запасу тысячу острых кованых гвоздей, километры колючей проволоки, — и все это я набросаю на пути его следования. Я выстрою невидимую колючую баррикаду, будут не спать ночи, буду ждать его «утром, когда

воздух так прозрачен», на закате, когда «красный шар висит над горизонтом», — и я дождусь. Впервые ухо мое будет наслаждаться резким звуком лопнувшей шины в ночной тишине. Я улучу момент, когда поэт автомобиля полезет под кузов машины, — и тогда я брошусь к куче заготовленнъых камней и черепиц крыши. На звон стекол, разбитых моими меткими ударами, отзовутся собаки нашей округи — пускай, сегодня я не хочу спать. С шоссе в канаву скатятся два сцепившихся тела, тело свободного с телом раба, и последний бой наш будет ужасен. Не поможет дружба многих лет, не остановит призыв к борьбе культурной, борьбе идей. Сегодня нет идей — сегодня я дикарь, истребитель моторов и мотористов! Сегодня не может быть пощады похитителю моего покоя и моего липового дыхания. Это будет последний и решительный бой. Вот тебе липа. а вот тебе истомная прохлада, а вот тебе мое притаившееся местечко.

Возможно, что на другой день я отдамся в руки правосудия: знаю, они осудят меня, они не поймут. Но я иду на все, раз нет на земле места, где мог бы я укрыться от прозы и поэзии автомобиля.

Я созрел для условного преступления!

Мир приключений

Под крышей домика, — а и весь-то мой домик в два хороших человеческих роста, — завозились воробьи. Если они не просто чирикают, а начинают как-то по-змеиному шипеть или вроде губной трещотки, значит — произошло чрезвычайное событие. И действительно: выпал из гнезда малыш, а может быть. и не сам выпал, а родители вздумали обучать его полету. И вот вижу, сидит воробьиный молодой человек между клумбами анютиных глазок, над ним летает мать, повыше папаша, он изредка попискивает, а они по-своему шипят. Какая суета, сколько волненья! Сверху вниз — не мудрость, а как с земли взлететь на ветку или обратно в гнездо?

Воробьеныш попрыгал, как на резиночке, неуклюже, а потом побежал в заросль ежевики, помогая себе крыльями. Наблюдать за ним мне было очень некогда, — потому что я читал детективный роман, и как раз на самом интересном месте. Мисс Риверс, секретарша сэра Джозефа, только что попала в западню: за стеной раздался торжествующий смех, доски раздвинулись и пол стал быстро опускаться. Мисс Риверс оказалась на дне глубокого колодца, а над головой ее вились летучие мыши. Если этот изумительный детектив Скотланд-Ярда мистер Джим не явится на своем аэроплане, дело кончится плохо.

К счастью, мистер Джим явился вовремя, правосудие восторжествовало, Стрэтфорд Гарло оказался в ручных кандалах, а я, выйдя в сад, убедился, что воробьиный птенчик сидит на нижней ветке каштана и рассказывает родителям о впечатлении своего первого полета.

Когда он выпал из гнезда, крылья не удержали его в воздухе — только помогли не удариться о землю. И тут, между клумбами, он увидал целую сотню анютиных мордочек, удивленно растопыривших на него глазки. Анютки были усаты, безбровы, иные с эспаньолками, другие в старческих морщинах — несмотря на явную свою юность. Была одна, лиловая с желтыми пятнами и с окладистой бородой, — та прямо испугала молодого воробышка, и потому он побежал под ежевику.

Зеленый колючий лес. Справа, слева, сверху — острые иглы. Сквозь зелень все-таки видно небо и слышно чириканье и шипенье мамаши с папашей. Перед самым носом огромнейший муравей, а у ног тихо едет, да не скоро будет улитка в круглой с полосками ракушке. Но прохладно, тихо и не очень страшно. Тут успокоилось сердечко, начавшее сильно биться еще на краю гнезда под крышей.

Но Стрэтфорд Гарло не так прост, как о нем воображали. Когда тюремщик приоткрыл дверное оконце, чтобы передать заключенному пищу, он увидал,

что камера пуста. Оказалось, что в этом здании, некогда подаренном правительству миллионером-преступником, все камеры были снабжены потайными ходами, о которых знал только Стрэтфорд Гарло. Едва затворилась за ним дверь, как он, нажав кнопку около койки, очутился в длинном коридоре, пройдя который он нашел свой десятисильный автомобиль и умчался в Дартмур. Еще раз жертве удалось ускользнуть от знаменитого детектива!

Воробышек мелкими скачками вынырнул из-под заросли и наклонил голову так, что сразу увидал одним глазом собственную ножку, а другим — сидящую над ним на ветке мать. Это придало ему бодрости. Подпрыгнув повыше, он часто заработал крылышками и очутился от заросли в десяти человеческих шагах. Очаровательно! Отдышавшись, он попробовал еще, — и опять удачно. Не будь его мать воробьихой, она расплакалась бы от умиления, но воробьи такой чепухой не занимаются — чтобы зря портить глаза.

Одним словом, при десятой попытке завоевания неба воробышек залетел-таки на ветку, где сидели его взволнованные родители. Вся трудность была в том, чтобы уцепиться лапками и не перекувырнуться от непривычки. Проделав эту гимнастику, воробышек сначала нахохлился, чтобы походить на взрослого, а потом, не выдержал, вытянул шею и стал рассматривать открывшийся ему мир.

В это время мистер Джим, переодевшись исландским рыбаком, летел на своем биплане в направлении Сан-Франциско, не переставая по радио сноситься с мисс Риверс, которая, несмотря на ужасную пережитую ночь, к девяти часам была уже в бюро сэра Джозефа и чинила карандаш. С высоты своего полета мистер Джим также видел мир, и этот мир представлялся ему ареной, на которой талантливые сыщики состязаются в проворстве с врожденными преступниками.

Совсем иным виделся мир молодому воробью. Налево внизу пестреньким пятном осталась клумба аню-

тиных глазок, теперь уже совсем не страшных. Справа ярким пламенем горела бегония, — точно пожар в одном из цветочных домиков. Земля была покрыта зеленым ковром с белыми, желтыми и лиловыми крапинками, зеленым же светом была пронизана листва дерева, а даль была молочно-голубой. Если в мире столько живых и ясных красок, — то да будет он благословен; ради этого стоило вылупиться из яйца и две недели дрожать в гнезде бесперым птенцом. Судя по поведению родителей, все в мире принадлежит нам, воробьям. Так, например, мать только что склюнула проползавшую букашку — и не поперхнулась. С своей стороны воробышек тоже наметился на малого жучка, долбанул клювом, не попал, отшиб себе носик и временно обиделся.

Торговка индийскими фигами хитро посмотрела вслед английской леди, если только опытный глаз сыщика мог угадать под париком важной леди лысину мистера Стрэтфорд Гарло, то даже этот ловкий преступник не угадал в торговке — детектива мистера Джима, биплан которого был подшиблен неизвестной пулей на высоте десяти тысяч метров и упал на землю, объятый пламенем, в то время как Джим, покуривая сигару, благополучно спустился на парашюте. Борьба гигантов возобновилась с новой силой.

«Ты видишь этот сад и эти поля, — сказала воробьиха сыну. — Все это твое, включая траву, червяков, мошек и прелестный конский навоз на дороге. Я высидела тебя и научила летать; теперь твой отец обучит тебя нашему воробьиному катехизису».

Старый воробей стал чирикать, а молодой за ним подчирикивать:

— Мир прекрасен!

— Мир прекрасен!

— Нет надобности выдумывать новый.

— Нет надобности...

— Люби то, что тебе нравится. У воробьев нет времени ненавидеть. Места всем достаточно. Весна лучше

зимы. Тепло лучше холода. Преступлений не бывает, потому что нет судов. Для гнезда нужны соломинки, глина и перья. Умирают от старости и от кошек. Перед тем как полететь — потряси хвостиком. Точка.

— Что значит точка?

— Это значит, что никаких других законов нет.

— Никаких нет, — весело чирикнул воробей, сдав взамен на аттестат зрелости, и полетел доказывать свое умение жить на свете.

На повороте торпеда Джима наскочила полным ходом на фонарный столб, положенный злодеем поперек дороги. К счастью, сыщик предвидел возможность покушения и успел выскочить за пять минут до столкновения. Через несколько мгновений он, переодевшись священником, подходил к месту крушения вместе с мисс Риверс, явившейся по его телеграмме. Внезапно он крикнул любимой девушке:

— Наклонитесь!

Она послушно наклонила голову, и пущенная кем-то пуля просвистела в том месте, где только что было ухо секретарши сэра Джозефа.

— Вы спасли мне жизнь, — прошептала девушка.

— Я лишь исполнил свой долг, — сказал сыщик, прыгая в кусты, откуда минутой позже он вынес связанного преступника.

— Пуля помогла мне определить направление, — пояснил он своей невесте. — На этот раз он уже не избежит правосудия. Если вы свободны, дорогая, мы можем зайти и обвенчаться, пока вы наклоняли голову, я успел по беспроволочному телефону предупредить священника.

— А я успела утвердиться в правах наследства, — краснея, ответила мисс Риверс. — Сэр Джозеф оставил мне сто тысяч фунтов годового дохода и открыл мне, что я — его дочь.

— Я знал об этом еще за год до вашего рождения, — добродушно признался сыщик, протягивая ей свою честную руку.

Не могу скрыть удовольствия, которое доставило мне чтение детективного романа под чириканье воробьев! Мир так мал и так однообразен, все мы так связаны условиями места и времени, и так много выходит газет и журналов, что приходится прибегать к сложнейшим вымыслам, чтобы не вывихнуть себе челюсти от зевоты. Хорошо воробьям: острый глаз и несложная философия. Нам же, при сложном и путаном катехизисе, при связанной разумом воле и при чувстве, одетом по моде, — трудно мечтать об иной, не слишком серенькой жизни,

Захлопнув книгу, распухшую в перегибе, я опять вышел в сад. Красным огоньком горела бегония, таращили глазки анютины глазки, а на заборе сидел гость — соседский кот, страстный любитель природы, никогда не пропускавший случая посмотреть вблизи на обучение молодых воробьев. На этот раз он опоздал: обучение кончилось, диплом выдан. Прищурив глаза — будто бы дремлет — он посмотрел на крышу, на ветви каштана, на клумбы, поднял ногу парусом, поискал в шерсти <блох> и проследовал дальше. Скучно сегодня и ему; не умея читать, он ищет сам приключений: птичка так птичка, а мышь так мышь. Из недоверия к собакам, он странствует по заборам, а хвост бережет от иглы ежевики. А когда он ушел — опять прилетел молодой воробей, веселый, окрепший, совсем полувзрослый. Я не знаю, что он чирикал; но думаю, что он беспрерывно повторял про себя и вслух первый параграф своего катехизиса:

— Мир прекрасен!

— Да, прекрасен!

— Не нужно выдумывать новый.

— Нет, не нужно.

— Перед тем, как лететь — потряси хвостиком. Никаких других законов нет.

Стоя в дверях своего домика — я замер от зависти.

Падают листья

Ноги утопают в палых листьях. Это осень, друзья мои, это — осень!

«Друзья мои» здесь лишь для красоты ритма. Слово «друг» не имеет множественного числа: множественность лишает его смысла. Вёсной можно в этом сомневаться, но осенью уже поздно: осенью нужно знать.

Обитатель сидит на корточках перед ящиками с доброй отсеянной землей. В мелкие борозды он сыплет с бумажки семена. Люди города думают, что осень — конец цветов; садовод знает, что осень — их начало.

Семена — наши надежды. Они добываются из мертвых коробочек растений, но полны скрытой жизни. Они спят, и сон их чуток.

В первом ящике посеяны незабудки. Самый неприхотливый из цветов. И самый милый. Пусть не забудут, что мы еще существуем на свете и что не миримся с исчезновением. Осенью мы даем только зелень, но верим в весну, которая даст цвет, — и тогда все покроется кудрявой голубизной. Раз мы живы, значит, у нас есть и будущее, и хоронить нас — нелепо. И не в том только вопрос, чтобы как-нибудь дотянуть положенные дни и годы, а у каждого и мечты, и планы, и свои уверенности, и тайные мысли. В них много самонадеянного и смешного, — но не смешна только белая бумага, а каждая на ней буква уже грешит ошибкой и неправильным расчетом. Вот увидим, как в этом ящике проснется жизнь и покажутся зеленые ростки.

Во втором ящике — васильки, — дань воспоминаниям о ржаных и пшеничных полях. Их выводят белыми, красными, почти всех цветов, но их настоящий цвет, конечно, синий. К синим у нас особая нежность, совсем родственная. Их хорошо сеять вместе с высокой травой, но для этого нужны пространства, мы же — в ящике. Василек, посеянный с осени, растет крепким, высоким и ветвистым: целое дерево!

Третий ящик — анютины глазки. Все — простейшие цветы. Это — чтобы цвели и слезой не туманились

глазки бесчисленных анют, переименованных в аннет, чтобы хоть детские мордочки смотрели на мир приветливо и удивленно, а не думали, что он создан злодеем для злодеев. Французы называют анюток «думой» и «мыслью»-пансэ. Есть один сорт, черный, по имени «Фауст», к которому такое понимание цветка несколько подходит, но вообще анютки веселы и разноцветны, и удел их не мыслить, а просто — смотреть и дивиться. Дивиться есть чему — едет чудо на чуде и чудом погоняет! Позже это чудо объяснится и расскжется языком прозы и учебника, но пока — да здравствует волшебное. К предметам волшебного свойства относится и кисть, которой природа расписывает рожицы анюток: можно часами сидеть перед клумбой, когда они цветут, и изучать черты их лиц, до поразительности разнообразные. Всех все равно не изучишь, но попадаются характеры примечательные и уморительные, которых не забудешь.

И, наконец, в четвертом ящике Обитатель сеет мак — папавер сомниферум. Это — на случай, что не заголубеют незабудки, не засинеют васильки и анютки не затаращат глазок под удивленными бровями, вообще — на случай гибели надежд. Тогда выручит сонный мак радугой иллюзий; вытянет свои голубоватые стволы, нальет их соком, завяжет, подымет, раскроет бутоны, — и дешевой пышностью, махровой и многоцветной, прикроет лысую неудачу цветочных клумб. И будут говорить: «Как прекрасно!» — не зная, что это только сон, капля яда из зеленой коробочки, обман хитрого и расчетливого садовода, художественный фокус-покус. Хоть обмани — да утешь!

Ящики отставлены в полутень и прикрыты стеклом. Увидим, что получится.

В лаборатории осенних надежд главный козырь, как всегда, зеленые конусы будущих лилий; они

просверливают пласт земли и выводят первый этаж своего будущего небоскреба как раз в первые дождливые осенние дни. Это очень знаменательно, потому что нет цветка красивее и пышнее лилии. Она цветет летом, но не боится зимних стуж. Ей посильно подражают тюльпаны, гиацинты, крокусы, цветы весенние, соперники анемонов и весняков. Все они — утешители маловерных, испуганных наступлением осени и близостью зимы. И понятно, с каким жадным вниманием следит за их зеленым произрастанием Обитатель, готовясь оставить свой сад и поклониться отрицаемому городу.

Среди палого листа, на влажной дорожке, лежит раскрытый чемодан. В нем — собранные семена для весенних посевов, исписанный на полях календарь минувшего лета, ни разу не надетый крахмаленный воротничок и непрочитанная книга, взятая сюда на случай тоски по цивилизации. Затвор чемодана промаслен, — полная боевая готовность. Так бывает каждый год — трудный переход от настоящего к призрачному, от бодрствования ко сну. Сон человеческий беспокоен — его нарушают звонки, письма, вопросы о здоровье, ремонт пылесоса, визит продавца щеток и справки в энциклопедическом словаре. В кратком резюме председатель собрания отмечает, что цифры за отчетный год несколько разнятся от цифр года предыдущего, что указывает, если не на дальнейшее преуспеяние, то на отсутствие поводов тревожиться и на энергию членов правления, ныне уходящих в отставку. Однако общее собрание единогласно просит их остаться, — и они остаются. В это время лилия, презирая холод, пристраивает на своем стволе очередной этаж. Сонный палец переслюнивает страницу романа и убеждается, что Лили, вполне современная девушка, перешагнула наконец границы того, что отнюдь не с такой легкостью перешагивала ее бабушка. В навозной банке, врытой в землю, отводок ползучей розы обвил новыми корнями все стенки, и Обитатель

радужно улыбается во сне, уронив на пол и газету, и недокуренную папиросу. Чемодан вздыхает в пыли и духоте кладовой, высчитывая дни, недели и месяцы, остающиеся до обратного путешествия. Так было и так будет, и в этом все спасенье.

Почти невозможно рассказать ощущения любителя природы, оставляющего ее для города.

Отходит поезд, — и отходит вдаль картина, в которой известна каждая черточка и крапина. Заботит уже не ветка, а дерево, не побег, а весь куст. Затем кусты, деревья, растения сливаются в зеленый островок, на котором глаз не различает отдельного листа или травинки, а раньше все они имели свои имена и требовали каждый и каждая особой заботы, занимая мысль от утра до вечера и ночью при пробуждении. И в то же время люди и события, бывшие только далекой и забытой декорацией, только нелюбопытной толпой, — начинают дробиться на личности и явления, каждое со своим именем и своим назначением. Мучительная и тревожащая подмена, лишающая спокойствия.

Обратили ли вы внимание, что в последнее время человек стал с большим, чем прежде, вниманием относиться к миру животных, насекомых и растений? Небрежность и самоуверенность сменились испугом и любопытством. Ученый мужчина разводит руками, наблюдая, как оса с ловкостью анатома и хирурга парализует жучка, заготовляя его в пищу будущей личинке. Ученая женщина решительно заявляет, что она открыла пульс у растений и что растения чувствуют боль и страдают. Страдают — значит, и радуются. Еще немного — и серьезнейшие ученые откроют и прикажут нам признать то, что давно знают огородники и куроводы: что огурец скучает без дождика и что курица мыслит; что малые детишки томата

сжимаются от боли, когда им, при пикировке, отщипывают ногтем слишком длинный хвостик; что есть цветы, чуткие не только к боли, но и к оскорблению: они поникают, когда их походя задевают краем одежды; что муравьи пересмотрели и перепробовали все формы социального права и подавились государственным социализмом.

Счастливая догадка ведет человека в другие миры, потому что мир собственный сошелся клином. Человек человеку не волк, не следует преувеличивать, но человек утомил человека. В круге наших отношений нет нового и неожиданного: завтрашний день повторяет вчерашний. Человеческое изучено до малейшей черточки, и даже романисты повторяют одни и те же характеры. Тело еще не изучено, но то, что называют душой, исследовано и рассказано до мелочей.

И вдруг открывается счастливый и заманчивый выход, — в миллиардные толпы незнакомцев! Мы хорошо знали только ближайших родственников и сожителей: лошадь, собаку, курицу и клопа. Оказывается, что они искалечены нашей близостью. Остальных за целые века мы не удосужились понять, — и теперь пытаемся наверстать потерянное время. Но как понять то, для чего нет еще не только новых слов, но и новых представлений? Высшая награда животному — признание в нем ума — заимствуется из скудного склада человеческих свойств и потребностей; и эти панталончики приходятся не по мерке ни медведю, ни травяной тле. Мушиные связи — ни брак, ни разврат, жизнь улья — ни артель, ни государство; и птичий перелет не похож на возврат парижан с курортов в город.

Не любопытно ли, что в стране Советов цензурой воспрещено говорить в детских книжках об уме животных, — вряд ли это многим известно. Можно их ум показывать (если это ум), но называть его умом нельзя. Это слово вычеркивается из переводных английских книжек. В животных, как и в гражда-

нах, терпится только инстинкт; умствует за них сильнейшая из властей. Это потому, что сильнейший враг деспотизма — Природа, тот большой мир, к познанию которого мы только приступаем. Она не признает ни границ, ни догм, ни учреждений; она не различает добра и зла, не создает кумиров, не пишет истории. В ней нет сомнений, но для человеческого ума она — источник сомнений величайших; тем самым она — величайший враг всякого обязательного катехизиса. Человеку порядка она ненавистна, и из чувства самосохранения он огораживается от нее тупыми колышками дарвинизма.

На этом Обитатель ставит точку: сезон окончился, бронзовые жуки напрасно ищут спасения под листьями, — их участь решена. Еще предстоит только бабье лето, замечательный праздник паучьей авиации. В ясный день полетят по ветру длинные нити паутины; на кончике каждой — паучок, пустившийся в далекое воздушное плаванье. Он доверяется судьбе, и она относит его далеко от места рождения. Страсть ли это к путешествиям или отрицание патриотизма? А может быть, — практика научных изысканий, вроде наших полетов в стратосферу? О бабьем лете не написано ни в одной ученой книге, его тайна не разгадана.

За бабьим летом — чуткий и благотворный сон, принимаемый за смерть: работа влаги и подземного тепла, тот изумительный процесс, который породил самые красивые и самые вечные мифы.

Когда спит деревня, — бодрствует город. Убыль солнца он возмещает электричеством и газом; остановку произрастания — работой фабрик. Тот же чуткий и таинственный сон, но заделанный в камень и придавленный крышами. Та же совместная работа влаги — мысли и тепла человеческих общений.

Осень — умиротворенность. Мы идем разными путями, но одинаково — к утверждению: отрицанию нет места в сердце доброго огородника, чемодан которого полон семян и лучших надежд. И, я думаю, мы сговоримся.

Об осенней поре

Каждый год с одинаковым чувством — только чувство делается все печальнее и покойнее — Обитатель переживает день прощания с природой. Природа остается — Обитатель уезжает.

Он уезжает с сознанием обреченности на жизнь в каменном ящике, в гробу городской обывательщины, набитом газетами, граммофонами и гальванизированными ведрищами для отбросов кухни. Утром разбудит не пенье птиц, даже не несносное тявканье соседских собак, а щетка муниципального трактора и пушечные выстрелы мусорщиков. Встав, он обойдет не клумбы и гряды, где что ни день, то новость, а книжные полки, где прекрасно старое и худосочна прибыль. И на завтрак не свежая зелень, а кусочки бычьего трупа под разными соусами и названиями.

Не день прощания, а дни прощания. Осень наступает не тогда, когда она всем очевидна, — когда холодеет, дождит, осыпаются листья, — а много раньше. И сейчас деревья еще зелены, солнце горячо и пышно цветут астры, настурции, бегонии и георгины. Еще и розы цветут последним цветом! Но незаметно подкралось то, что в жизни природы так неправильно отожествляют со склоном человеческих дней, со старостью и близостью ухода: осень — зима. Сопоставление, старое, как мир, и, как мир, несправедливое.

Старость и смерть знакомы и дубу, живущему сотни лет. Старое дерево корявеет, опускает ветви, дуплится, гибнет, независимо от времени года. Но времена года — только удары пульса природы: весна —

прилив; осень — отлив; сила жизни остается прежней.

Когда теряет листья сирень, им на смену еще с осени набухают цветочные почки. Анемоны, тюльпаны, гиацинты цветут ранней и «умирают» поздней весной; их новый рост начинается осенью. Первый вестник осени — проросшая луковица лилии, сочный, яркий, крепкий пучок развернувшихся зеленых листьев. «Рождественская роза», все лето вялая и неподвижная, оживает осенью и пышно цветет всю зиму, среди опавших листьев, под холодными дождями, под снегом. Умирают листья, стебли, цветы, — но ведь мы не хороним и не оплакиваем отрезанных волос и ногтей. Осень природы — лишь перебой жизни, время смены изношенного наряда.

То, что именуется «осенью жизни», печальнее и безнадежнее: утрата жизни и радости — навсегда. Осиянный гениальностью престарелый автор «Синей птицы», так мудро понимавший пчелу, муравья и собаку, с поклоном принимает графский титул и произносит банальные фразы о войне — для представителей печати. А сколько не видящих будущего остатками желтых зубов вгрызаются в книгу мемуаров, пытаясь продлиться хоть на бумаге! Это не осень, не отливный удар пульса, не смена наряда: это — начало конца и разложения. Седой волос не оживает, — обновляться могут только молочные зубы. Но нет ничего печального в ущербленной луне: по ней только проходит тень. В народной итальянской песне поется:

Ротик от поцелуя не теряет удачи:
Он обновляется — как это делает луна.

Но в той же песне есть слова:

Не подвергайте суровому посту первую любовь:
От лишнего воздержанья она умирает!

И припев другой песни добавляет в поясненье:

Il tempro, che passò senza l'amore
Non torna pìu.

«Годы, прошедшие без любви, не вернутся!» — В жизни каждый час уходит безвозвратно, в смене времен года — только вечное обновление.

Сегодня никакой злобы — только лирика.

Вот пишут, что проросли зерна гороха, найденные в замуравленной гробнице Тутанкамона и посаженные в землю догадливым археологом. Правда или неправда — чувствуете ли, как это красиво?

С точки зрения естествоиспытателя, чуда в этом не больше, чем в прорастании горошины, только вчера выпавшей из сухого стручка. Сон минутный или сон вековой, — разница ничтожна: века для природы равны минуте. Но горошина Тутанкамона поражает воображение человека, для которого смысл мироздания ограничен сроками его собственной жизни. Зачем росла трава, когда меня еще не было? Зачем ей расти, когда меня уже не будет? Для того, чтобы подготовить моему детству зеленый луг? Для того, чтобы украсить мою могилу?

— Умру — лопух вырастет.

— Но в лопухе буду я!

Цитата из давнего, молодого горьковского произведения. Горделивое изречение начитанного школьника. Своеобразная вера в царствие небесное.

Не хочу жить в лопухе? В нем частичка моего гниения — но моя личность в нем не умещается! Она не умещается даже в книге с моим именем, в памяти любящих, — во всяком случае, не больше, чем в оставшемся моем портсигаре, папиросы из которого улетели дымом.

Тростью сбиваю лопух. От сказки Тутанкамона ничего не останется, когда археолог, собравший от двух горошин урожай в шестьдесят два зерна,

продаст их по двадцать фунтов стерлингов за штуку. Раскупят чудаки и садоводства. Соберут второй урожай, и в каталогах появится новая порода гороха «Царь Тутанкамон». Ее скрестят с душистым горошком Спенсера «Король Эдуард» и скоро будут продавать гибрид по полтора франка за пакетик. Ну что же! Увью и я свою проволочную ограду. Но сказки нет, сказка исчезла.

Вы понимаете — сейчас осень, об ином невозможно думать!

Укладывая в чемодан открытые рубашки, семена осеннего сбора, карманные шахматы (играл с самим собой — занятно!), с весны недочитанный роман и недописанное исследование о представительстве меньшинств у травяных тлей, — Обитатель в уме подсчитывает итоги летнего сезона.

Приход:

1. Одна тысяча двести огурцов, не считая корнишонов;

2. Девять корзинок клубники;

3. Умеренно — луку, гороху и корнеплодов;

4. Семнадцать пакетов цветочных семян.

Расход:

1. Налог и вода;

2. Сабо и две пары полотняных туфель (портятся от лопаты);

3. Украдена помпа для поливки, грохот и английский ключ.

И недоумевает:

В приход или в расход поставить столько-то «Писем Обитателя»?

Кило чистой бумаги, исписанной чернильными знаками и исстуканной машинными буквами, не годится даже на удобрение осенних гряд. Мысль перегнивает быстрее бумаги.

Читателя, тяжкими обстоятельствами вынужденного жить в городе, в духоте, пыли и грязи, эгоистически смущал картинами деревенской идиллии. В политической газете высокомерно говорил о политике и любовно о быте слизняков и лягушек. О молодежи говорил языком старости, о стариках — языком молодежи. В увлечении парадоксами низвергал Лигу Наций и возвеличивал ю-ю. Больше же всего говорил о самом себе.

Да, виновен, но заслуживает снисхождения.

Наша жизнь в каменных гробах тяжела не внешними условиями, которые для многих различны, а внутренними, для всех общими. Мы опутаны паутиной ложных представлений: считаем достижениями то, что удаляет нас от природы, а «возвратом к природе» нюдизм и лежанье на пляже неподалеку от казино. «Победой над природой» мы считаем неуклюжее ей подражанье: аэроплан, тщетно догоняющий комара, радиодепешу, над которой смеются бабочки. Повернувшись на каблуках, мы не знаем, где север и где юг, в темноте не находим двери, без спичек не отыщем спичек, без плана — нужной улицы, — и говорим об уме, возвышающем человека над всеми живыми существами. А под крышей живет ласточка, прилетевшая из Центральной Африки без помощи Кука и К°, и в доброй русской кровати клоп, черт его знает как, покушавши, находит свое гнездо и своих детей. Мы не умеем вылечить насморка и не удивляемся, когда ящерица, пойманная за хвост, отщелкивает его одной судорогой, чтобы на досуге и в безопасности отрастить новый. Верх наших архитектурных достижений — Хеопсова пирамида, — муравейник в миниатюре.

Вот почему иногда полезно прогуляться по маленькому саду, проследить пораженным взглядом полет осы и пасть ниц пред чудом прорастания маковой росинки. Перестаешь важничать и счи-

тать мексиканскую революцию великим событием. Со злобой дня исчезает и злоба мысли, и злоба сердец. Брат мой, дождевой червяк, да научит меня доброму сожительству с братом моим Иваном Иванычем!

Так, занимаясь самокритикой и укладыванием чемодана, робко говорил про себя Обитатель.

Ибо что осталось от величия Тутанкамона? Две горошины и один плохой роман? Какое ощущение в нас преобладает, когда на стенном календаре появляется зловещее слово «Октябрь»? Ощущение термическое! От великого до смешного всего две недели; это знает каждый парижанин, не имеющий текущего счета.

Все проходит. Уже все месяцы заняты историческими событиями, даже в нашей, еще маленькой истории, они повторяются: два февраля, два октября, два декабря... Каждый обольщал надеждами — и каждый приносил огорчения, от «осени себя крестным знамением» до «пролетарии всех стран, соединяйтесь». За этот срок агава цвела только раз, но трижды в сезон ремонтантная роза. «Если страдание невыносимо — оно прекращается смертью; если оно не убивает — значит, выносимо». Большинство жуков, если их опрокинуть на спинку, складывают лапки и ждут, притворяясь мертвыми. Будто бы так же должен поступать и человек, когда на него насядет медведь. Доведется, — попробуйте, но во всяком случае не волнуйтесь, когда «из Парагвая нам телеграфируют» или когда «интурист утверждает».

Спокойствию и выжиданью учит нас природа. Не тяни свеклу за ботву — от этого она не будет расти скорее; и не развертывай пальцами бутона. Но и не надейся, что павший осенью лист снова прилепится к ветке и зазеленеет, а плонжер вернется в тамбовское поместье: в лучшем случае он откупит тот ресторан, в котором сейчас моет тарелки.

Таково последнее завещание Обитателя, окончательно уложившего в чемодан все, кроме великого изречения алхимиков: «Исследуй недра земли, и там, очистительной перегонкой, ты обретешь философский камень».

Прощальное

Сегодня новорожденная анюточка открыла мне глаза на сущность осени.

Она родилась утром и глянула на мир желтоватым глазком, окаймленным непозволительной красотой темно-малинового бархата. Было, правда, очень солнечно, но все-таки я подумал, что такой наряд не по времени: лето давно миновало, по ночам холодные росы, на дорожках хруст желтых листьев. Ради кого и чего такое кокетство?

И вот в поисках «кого и чего» я стал обходить свой немудреный сад, то, что я увидал, заслуживает рассказа. Это — рассказ не для молодых, а для тех, кого пугает осень жизни, близость зимы и исчезновения.

Зима — не подобие смерти, и осень — не болезнь. О зиме когда-нибудь после, в свое время (оно придет), а об осени сейчас. Осень — одно из живых и жизненных состояний природы. Именно осенью всего слышнее звучит «не сдаемся!», «не уступлю!». Краски запоздалых цветов изумительны, их зелень ярка и прочна. Сегодня я нашел на кустарнике жирные, могучие почки, — это накануне зимы! «Не уступлю!», не желаю гибнуть. Желаю продолжаться, только бы солнышко не изменило. А нужно сказать, что солнце в нынешнем году вне упрека, а по ночам — вне упрека звездное небо. На прошлой неделе я сорвал в саду несколько ягод лесной земляники; это в первых числах октября! Ведь вот какое упорство.

Знаю, что не всем доступны маленькие деревенские радости. Но если вы — парижанин или парижан-

ка, то не поленитесь посмотреть, что делается на бульваре Араго, прямо вдоль тюремной стены, словно бы для утехи сидящих за решеткой, — если только им что-нибудь видно. Там стоят ряды старых каштанов, стволы которых черны, листья побурели и частью осыпались. И вот случилось маленькое осеннее чудо: почти на каждом дереве зазеленела одна ветка или хотя бы один побег, и среди листвы умирающей проглянули нежно зеленые листья, увенчанные белым султаном цветка. Это так красиво и так поразительно, что стоит потратить время, поехать и посмотреть, молодых это не удивит, но людям пожилым и немножко испуганным полезно: там, против окон тюрьмы, остроумно названной «Сантэ» (висельное остроумие и французам не чуждо), жизнь борется против смерти — и жизнь побеждает смерть. Запасайтесь верой во вторую молодость и второе цветенье!

Ночная роса держится долго. Рано утром, при первых лучах солнца, она кажется белой и неохотно уступает теплу. Под нею упрямо зеленая, необычно яркая трава ежится и старается показать, что это ничего, что это — только приятный душ, что вот теперь хорошо бы обтереться мохнатым полотенцем. А когда испаряются последние капли росы, из-под травы выползает существо с темной спиной и черной головкой, похожее на жужелицу, на чертика, на сверчка и немного на человечка. Существо расправляется, шевелит усиками и ползет бодрой походкой, выиграв еще один денечек: «Мы поживем!». Делать существу, собственно, уже нечего, так как все его жизненные миссии давно выполнены. Ползет же оно потому, что пока живо — желает ползать, и пока цело — жаждет суетиться и жизнь свою оправдывать. Очаровательное упрямство! Такие точно сверчки по ночам заползают в мой домик и норовят спрятаться под одеяло, иным удается, а иных приходится

отправить за дверь для более сложных переживаний. В общем, мы живем в мире.

Из других дилетантских моих наблюдений расскажу еще о летучих муравьях, тех самых, которые однажды так осадили Лондон, что на улицах замедлилось движение. Немало их было и в моем саду, а сейчас остались только единицы. Вероятно, выжили лишь наиболее сильные. Они отлично понимают, что жизнь их кончается, но тем сильнее стремятся использовать ее до последнего момента. Они дрожат от запоздалой страсти, нелепо дергают крыльями и извиваются муравьиным телом. Они быстро ползают с листа на лист и страстно ищут, с кем могут они продолжить свой род. Их любовная суета интригует пауков, спешно застилающих широкие листы растений цепкой паутиной: последние дни охоты! И правда, уже началась та изумительная мистерия пауков, которая называется у нас «бабьим летом», — их странные полеты на длинных прочных нитях, их отважное расселение по воле ветра. Я думаю, что изо всех насекомых паук — самое мудрое и самое непонятное, мудрость его создана миллионами лет, и недаром следы пауков, может быть, единственных по тому времени жителей земли, найдены еще в палеозойской группе горных пород, когда не было ни птиц, ни млекопитающих, ни иных животных, кроме пауков и скорпионов. Мудрость их сказывается и в том, что они живут одиночками, что не создают, как пчелы и муравьи, ужасных по бесправию и по каторжному труду государств. Свободные охотники летом и отважные летчики поздней осенью. Искусные ткачи, безгрешные математики, существа без сердца, но и без лицемерия. Что пауки мудры — доказано всем строем их жизни; что касается мудрости человеческой, то ее предел и высшее проявление, как известно, заключены в сентенциях «мудрости народной». Так вот, по поводу пауков народная мудрость гласит: «Убей лбом паука на стене — сорок

грехов простится». Человек размахивается, расшибает лоб о стенку, — а паук убегает, даже не поморщившись и не улыбнувшись. Сопоставление, для человека не выгодное.

Унижать человека я не хочу — и им, и для него описываются эти мимолетные наблюдения. Но среди человеческих особей я не встречал таких упрямцев, таких отрицателей увядания, старости и смерти. Толстой и Диккенс родятся раз в тысячелетие, мои анюточки распускаются каждый день, то бархатная, то желтая, то бело-шелковая, всегда с резкими черточками надбровных дуг, часто с эспаньолкой, иногда с целой семьей родимых пятнышек. Они, правда, двухлетки, так что переживут и зиму: но разве это будет «продолженье», а не новая жизнь? Мы тоже живем в наших детях, но редко кого утешает такое соображение при раке желудка или параличе мозга. А между тем анюточки ни одним глазком не дают понять, что им известна близкая их судьба, — что вот начнутся дожди, а за ними морозы и что скоро ни цветов, ни листьев от них не останется.

И полон жизни прозрачный осенний воздух! Перспектива обманчива, и, кажется, будто это веселый полет белых птиц. Но это только семена сорных трав, окруженные белым пухом и несомые ветром. Французские огородники вырывают с корнем разросшийся чертополох и репей, сваливают в груды и сжигают; повсюду виден дымок. Но легкий пух с твердым семечком разносится повсюду, чтобы и на будущий год продолжить вековечную борьбу с человеком, стремящимся обратить колючий пустырь в поставщика артишоков и помидоров. Жить во что бы то ни стало, будь я колючка и полная бесполезность, будь я красив или невзрачен! Жить в борьбе, в наслажденье, в избытке здоровья или в последней схватке со смертью, которая может быть и есть, но которую я органически отрицаю.

Среди моих постоянных гостей и любимцев есть огромная муха, черная и блестящая, похожая больше на медведя, чем на пчелу. Она как-нибудь, вероятно, называется, но мы познакомились, не представляясь друг другу. Такие мухи живут в бревнах и столбах, где они высверливают себе гнезда, но лишь для жизни семейственной, а не общинной. Муха питается медом, которого я — один из поставщиков. Она прилетает, кидается на цветок душистого горошка, вцепляется в него, топчет, скатывает пыльцу и впивается в цветочную пасть. Она торопится использовать последние запасы сладостей, которые я могу ей предложить, потому что скоро цветов больше не будет и летать будет не к чему. В ней нет спокойной хозяйственности пчел, изучающих каждый цветок; она больше похожа на пьяницу, на прожигателя жизни, которому уже недолго гулять и который торопится выпить все, что выпить можно, и затем разбить к черту стакан, бутылки, опрокинуть стол и набить морду лучшим приятелям. После ее визита цветок блекнет и морщится, а она уже разбойничает в соседнем саду. Эта муха, в моих глазах, чудесный утвердитель жизни и отрицатель грядущих катастроф! С нею осень совсем не чувствуется.

Я бы мог рассказать еще про многих спутников уединенной жизни, от которых я почерпаю гораздо больше бодрости и веры, чем от редких встреч с себе подобными. Но меня смущает, что такие беседы — не «читабельны», вот если бы навострить мысль и слово на историю трупа в чемодане и бракосочетание киноэкранной звезды, то есть как раз на то, о чем молчат цветы и не заботятся мои друзья насекомые. Или если бы благородным кружевом строк прикрыть лакированный гроб идеи, — и ринуться на ее могильщиков, как моя муха на цветок душистого горошка. Но для этого нужны талант и опыт, а не лопата огородника и садовода. И потому я прерываю свои нехитрые рассказы до будущей весны, в которую верю с тем же наивным

упрямством, как мои двухлетки-анюточки, как черный сверчок, как пух с твердым семечком, летящим по ветру. Мы, во всяком случае, еще поборемся, — пусть дуют холодные ветры и покрывают голову инеем.

Итоги года: природа отрицает смерть, и осень может быть прекрасной. Но если зима и исчезновенье неизбежны, — то все же до последнего дня, до последнего малюсенького момента хотят жить, щуриться, раскрываться и удивляться миру — милые анюточки, Анютины глазки.

Зимний визит

Чтобы человеку было удобнее соображать и высчитывать, французский настольный календарь предупредительно сообщает ему 23 сентября: «Aujourd'hui, c'est l'automne»*.

Затем календарь умолкает до 22 декабря, когда, невзирая на возможную оттепель, он сочтет своим долгом, с тою же любезностью, предупредить о приходе официальной зимы.

Но в ясный и морозный воскресный, будто бы осенний день Обитатель приезжает в деревню навестить свой сад, и замерзшая земля звенит под его каблуками: «Aujourd'hui, c'est l'hiver»**.

Зима наступила, не выждав срока, — как это случается и в жизни человека.

— Вы еще молоды, — льстиво уверяет паспорт.

Человек заносит ногу, чтобы взбежать козленком на пятый этаж, глотая по три ступени, — но нога не слушается, и человек смущенно пользуется подъемной машиной.

На ярко-зеленом газоне белые рисунки: там, где тень куста, ствола или хотя бы садовой скамейки, где солнце не смыло инея.

---

* «Сейчас осень» (*фр.*).

** «Сейчас зима» (*фр.*).

Природа мертвой не бывает; вообще смерти нет, — есть сон. Ежевика перекинула через забор длинную плеть, коснулась ею земли, — на конце появились и впились в землю бледные пальцы; ежевика готова расти вверх ногами, — только бы не погибнуть. Лилия отрицает мороз, — ей нужно выстроить многоэтажное здание к июню, когда на нем водрузятся белые знамена. Анемоны спешно готовят к весне кудрявую зелень, в которой зажгутся разноцветные огни. Эти цветы терпят холод. Но по-настоящему любит холод только низкое широколистое растение «рождественская роза», летом она тускла и вяла, зимой, к концу декабря, будет в полном цвету, и над инеем и снегом раскинет бело-розовый букет прекрасных цветов; сейчас она в бутонах — холодная красавица.

Но красивее «рождественской розы» — простая елка. С нею у Обитателя совершенно особые, родственные отношения, чувствительные, патриотические, соседям непонятные. Так, например, он всегда здоровается с нею за руку. Зимой на елке ежовые рукавицы; а поздней весной — голубые пуховые варежки. Обитатель подходит, берет осторожно мягкую ручку, пожимает и говорит: «Здрасте!» Ручка на пожатие не отвечает; со дня на день она крепнет, жестчает, зеленеет, и к зиме она делается колючей, что не мешает сердечности отношений.

Елка живет старыми русскими преданиями, о современности ничего не знает и знать не хочет. Она, например, верит, что с половины декабря, со дня солноворота, солнце наряжается в праздничный сарафан и кокошник, садится в телегу и едет в теплые страны. С этого же дня зима залезает в медвежью шубу, стучится по крышам и напоминает, чтобы топили печи. Когда зима идет по полю, за ней вереницей бегут метели и просят не лишать их работы, а когда идет по реке, — под своим следом кует воду на три аршина. А откуда иней и снег? Это зима вытряхивает

белые звездочки из рукава своей шубы. В эти дни медведь ворочается в берлоге с одного бока на другой, а солнце, уходя, в последний раз нагревает корове бочок.

Вон у нее какие понятия, устарелые, совсем не нынешние и не здешние? Обитатель все это понимает, садится близ елки на березовый пенек, и предается не одной грусти, а всем тридцати трем тоскам. И мечутся тоски, кидаются тоски, бросаются тоски из стены в стену, из угла в угол, от пола до потолка, через все пути и дороги и перепутья, воздухом и аером. И стучатся тоски в буйную голову, в тыл, в лик, в ясные очи, в сахарные уста, в ретивое сердце, в ум и разум, в волю и хотенье, и в кровь горячую, и во все кости, и во все составы, в 70 составов и подсоставов, и во все жилы, в 70 жил, полужил и поджилков. И эти тоски спать — не заспать и есть — не заесть, и пить — не запить, и жгут они Обитателя во всякое время, и без них не пробыть нигде, как рыбе без воды. И ничем, ни аером, ни воздухом, ни бурею, ни водою сие дело не отмыкается.

И так посидев — погрустив, опять берет елкину ручку, опять пожимает и говорит: «До скорого!» — ответа, однако, не получая.

Чувствительности своей стесняться нечего, — да и не перед кем!

Хожу — смотрю, куда попряталось теплое.

Оно попряталось к корням, наружу выставив только мордочку. Корни нежатся под холодной земной корой, белые, мягкие, сонные, лениво едят и пьют, больше дремлют. К ним тесно прислонившись, не в шубах, а в легких простыньках, наслаждаются сонным покоем личинки, куколки, зародыши, готовясь из мира небытия явиться в мир борьбы, неприятностей и любви.

Кроты и мыши забились в самые нижние этажи, под корни деревьев, и там, в клубочки свернувшись, занимаются бухгалтерией, сводят приход с расходом, обсуждают бюджет предстоящего сезона. Им нужно рассчитывать наверняка, — без подспорья национальных лотерей.

Жизнь теплится под землей, а над поверхностью торчат перископы: прошлогодние стебли и новые почки, листовые и цветочные. Чуть что, — сейчас телефон к корням: «готовьсь!». — Иной раз бывает ложная тревога, случайный теплый ток принимается за весенний, и немало зла причиняет такая ошибка. Так отморозили щеки напрасно зацветшие анютки: глянули на холодный мир — и без любви погибли.

Радость моя, — куда торопиться! Это в городе все торопятся; автомобили, люди, письма, искры и запахи. В бешеной гонке каждый стремится выиграть две минуты, — толкается, гонится за трамваем, перебегает дорогу, близко огибает угол, бреется стоя, читает через строчку, глотает не жуя. Только бы выиграть две минуты, которые ему не нужны и ради завоевания которых теряется и губится все остальное время. А цветку спешить некуда: умерев до любви, он пресекает собою род, зачавшийся в веках и в предвечности; на нем останавливается время, и лишние минуты не спасут. Цветку не нужно ни завоевывать природу, ни обманывать ее: он — частица ее соборной жизни, не господин и не поданный, не враг и не друг, но плоть от плоти, соучастник единого дыхания.

Куда попряталось тепло человеческой жизни? В слова? В поэзию? В ничтожный уют маленьких личных и кружковых отношений? В итоге работы двух веков, обильных философскими системами, века проповеди единения сил и века обожествления личности, — новый ледниковый период, в который сохранившимся словам придается иной смысл и из спрессованных личностей создается новая безвольная общественность. Спрятавшись под защитой последней крепости, ви-

дим, как и к ее стенам подкатываются ледяные валы, слышим дикие призывы, взятые напрокат из Средневековья. Невозможное делается вероятным, лед надвигается, тепло уходит, и мы завидуем дикарям, на языке которых не было нашего хвастливого слова «человечность» и которые, стало быть, не могут оплакивать его утраты.

И тогда Обитатель пускается на последнюю хитрость: сняв рукавицу, откидывает ком промерзлой земли и как можно глубже засовывает руку в мякоть земли. Там еще сохранилось тепло, там тихо и спокойно копошится жизнь, там — попросту говоря — ничего не случилось. Оттуда можно почерпнуть запас веры в будущее — в новую весну и новое произрастанье.

Я знаю, что этот сад, сейчас такой унылый и замерзший, обновится и зацветет. И я знаю, как это свершится, — счастливое знанье!

Побег от корня или спящее зерно — безразлично. Все случится по законам, тщательно записанным и остающимся непостижимыми. В древнейших книгах и преданиях это рассказано мудрыми и забавными словами, в новейших — старательно переведено на язык современности. Проснется побег или вскроется зерно под слоем земли — первой стихии. Весна вызовет его в стихию воздуха, где его омоет благодетельной стихией воды. Оно будет жить в новом растении, пользуясь солнечным светом, пока эта стихия огня не высушит рожденных им зерен и не вернет их в землю до новой встречи. Гниение, выгонка, омовение, прокаливание, четыре действия Великой Работы герметистов и алхимиков, к которым ничего не прибавило наше время. Возрождение через смерть — вечный сюжет бесчисленных поэтических легенд. Мечта о фило-

софском камне, ставшая верой в бессмертие идеи, вечно убиваемой и вечно переживающей своих убийц. Приходит время, когда у нее не останется ни одного носителя и ни одного защитника; она уходит под землю черным прокаленным зерном, спит до поры, вскрывается, прорастает, омывается от временного и летучего, — и снова красуется цветком и производит зерно, оправдывая итальянское изречение: «Люди проходят, идеи остаются». Где это можно почувствовать и понять с большей силой, как не в саду, окованном зимним холодом, когда под замерзшим слоем земли рука ощутит живое тепло? Нет, не напрасно уводит вас сюда мелкопоместный Обитатель, огородный чудак!

Им руководит любовь и естественная жалость. Городская земля окована камнем и асфальтом. Цветочные банки на вашем балконе промерзают, земля в них оторвана от живительных недр, — уже не земля, а безжизненный прах. И вот вам кажется, что идея, заглушенная и убитая улицей, не может прорасти под линией трамвая и многоэтажными зданиями. Анкгорский храм окружен лесами, и много памятников его эпохи поросли травой, деревьями, скованы лианами до того, что их камни едва видны сквозь зеленые покровы. Мыслим и Лувр, заросший луком-пореем и любимой фасолью, — да минет его сия чаша. Но мысль горожанина не угадывает таких возможностей.

Нужно его утешить и рассказать ему, что город — только мушиный след на глобусе, а самый глобус — только неудачное изображение легкой коляски, в которой мы мчимся везде и нигде; что в действительности земля не проткнута железным вертелом на непрочной подставке, что она на любителя, не слишком прихотливого и взыскательного, — одно из удобнейших местожительств и что, следовательно, не стоит так спешить с переменой адреса.

В тот же самый ясный и морозный воскресный, будто бы осенний день, с тем же самым поездом приез-

жает в деревню сосед Обитателя, мосье Анри, в мире — сборщик страхового, а может быть, и газового общества, здесь — священнослужитель храма Природы, помощник ее в создании цветной капусты. Умудренный годами, он не тратит времени на размышления о герметической философии, не бормочет про себя стихов поэмы об Иштар, не страдает тридцатью тремя тосками и не спасает человечества проповедями о бессмертии идей. Сегодня он протер маслом свой запас земледельческих орудий — лопату, мотыгу, грабли, садовые ножницы, сажалку и навозные вилы, День короток, а в месяце только четыре дня для себя — остальные для газового общества.

Мы приветствуем друг друга через частую сетку забора; мы говорим на разных языках; в городе мы можем встретиться только врагами: он — сборщик, я — плательщик или неплательщик. На смежных участках мы слишком оба заняты, чтобы вступать в долгие беседы; и все-таки в последнее время нет людей более близких, чем Обитатель и мосье Анри: и без слов мы понимаем друг друга.

Мы понимаем, что вечен и незыблем только связавший нас культ Земли, к которой мы относимся любовно, требовательно, робко и набожно: все чувства, кроме равнодушия. И знаем, что таких же еще много, и все они, не зная друг друга, не видя друг друга и друг о друге не думая, — живут общей жизнью и общей верой, — и ни один не откажет другому в лопате или в совете по части прививки роз и посадки кольраби, огурцов и ремонтантной земляники. Он оголил и выкорчевал свой участок, — я оставил все деревья и насадил кусты. Наши хозяйственные системы прямо противоположны. Это нисколько не влияет на общность наших конечных целей и наших исходных верований. Наша цель — помощь Земле в родильных муках, наша вера — отрицанье зимы и смерти.

Ежась от холода и прыгая, чтобы согреться, мы в сладких страданиях проводим воскресный день,

слишком короткий, чтобы наскучить. И когда солнце садится, зимнее солнце, закутанное в шубу, — мы с сожалением покидаем место нашего блаженства и спешим на поезд, который отвезет нас обратно в город, к газовому обществу и письменному столу.

Но и в этом городе мы — сча́стливейшие люди, которых не обманут мнимой непобедимостью камня и близостью ледникового периода, которые сохраняют спасительный запас веры, почерпнутый в день воскресный: за зимой придет весна, смерти нет — есть только сон, и значит — люди проходят, идеи остаются!

Свидетель истории

Вехи жизни Михаила Осоргина



«О большом, о том, что в мире происходит, думается непроизвольно, сама мысль бежит, я намеренно пытаюсь не думать. Не веселым рисуется мне будущее, да и не для нас оно; смотрю на него со стороны, не как живущая единица, а только как «свидетель истории». Свои представления о грядущем мы всегда строим по образцам прошлого, и выход из положения видим в возврате того, что нам дорого; а жизнь катится путями новыми, нам чуждыми. Оглянись на далекое прошлое и подумай о том, как многого не было; столь же многого не будет. Не будет и нашей России, только останется земля, на которой она была в период нашей жизни... И я не знаю, чего России желать, совершенно не знаю...»* — писал Михаил Андреевич Осоргин во французском провинциальном городке Шабри в октябре 1941 года — в страшное для каждого русского человека время.

Осоргин часто употреблял выражение «свидетель истории»: так он назвал свой роман о русском терроре, эту же выразительную характеристику дал и его герою — отцу Якову. В последние годы жизни Осоргин и самого себя не раз называл «свидетелем истории». «Мы, — я говорю об огромном большинстве русских, лишенных права или возможности возврата, — говорил он, — только зрители, только

Из письма к А.И. Бакунину от 15 октября 1941 г. // Cahiers du Monde Russe et Sovietique. Vol. XXV (2—3). Avril — Septembre 1984. Paris.

свидетели свершающейся истории»*. Последние свидетельства писателя о своем времени — книги, написанные в Шабри, — наполнены грустью, болью, горечью. «Заглянешь в прошлое, — горько до обиды, подумаешь о будущем и гонишь мысль»**, — писал Осоргин.

* * *

Для сыновей двадцатого века веселое слово «приключения» осталось в детских мечтах и детских книжках. Осоргин, вспоминая о резких поворотах жизни, сравнивал их с бурями и кораблекрушениями, говорил о потерях и катастрофах. Напомним лишь вехи его пути: участие в революционных событиях 1905 года, царская тюрьма, побег в Италию, первая эмиграция, возвращение в Россию через десять лет, минуты счастья, а впереди новые испытания — участие в общественной жизни, аресты, советские тюрьмы, ссылка, а затем в 1922 году — высылка из родной страны и двадцать лет эмигрантской жизни. «Невыносимо, когда история начинает повторяться»***, — сетовал Осоргин. В конце пути он вновь оказался изгоем, и, как в далекой молодости, вынужден был бежать и из Парижа. «Всякие «режимы», — подводил Осоргин итоги жизни, — насильничают надо мной уже почти сорок лет — и просвета нет»****.

---

* *Осоргин М.* Путь русского вольного каменщика // <*Осоргин Мих.*> Доклады и речи: Северная Звезда. Париж. 1949. С. 104. См. также: *Осоргин М.* В тихом местечке Франции. Париж: Ymca-Press, 1946. С. 8, 70. (Далее — ТМФ); *Осоргин М.* Письма о незначительном. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952. С. 69. (Далее — ПОН).

** Из письма Осоргина к П.Н. Переверзеву от 15 апреля 1942 г. // Cahiers du Monde. 1984.

*** *Осоргин М.* Времена. Париж: Imprimerie ALON, 1955. С. 587. (Далее — Вр).

**** Из письма Осоргина П.Н. Переверзеву // Cahiers du Monde. 1984.

Осоргин тосковал в эмиграции о родной природе и своем народе. Понимал, – и это было особенно больно, – что для советского читателя как писатель он вообще не существует. Даже родственники и друзья на родине знали его только в качестве публициста, переводчика, библиофила. Для остальных же советская идеологическая машина сделала его «врагом». Напомним слова Ленина об участниках общественного Комитета помощи голодающим, активным членом которого был Осоргин: «Изо всех сил их высмеивать и травить не реже одного раза в неделю...»[*] Советские критики об Осоргине вспоминали редко и всегда «идеологически выдержанно».

«Небезызвестный враг Советского Союза, пролетарской революции и коммунизма»[**], – писал, например, критик В. Волин. Поэт Вадим Шершеневич, мимоходом упомянув Осоргина и его сотоварищей по Книжной лавке писателей, заявлял: «Тогда они продавали чужие книги. Теперь продают в своих книгах Советский Союз»[***] и т.д., и т.п.

Те, кто хорошо знал Осоргина, категорически утверждали, что эмиграция сохранила ему жизнь в буквальном смысле этого слова: «В СССР, – писал Марк Алданов, – он со своим характером непременно погиб бы не позднее чисток 1937 года, а скорее много раньше»[****]. «...В России пореволюционной, – повторял ту же мысль Борис Зайцев, – ему не ужиться бы было: слишком он был вольнолюбив, кланяться и при-

* *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 53. С. 142.

** Литературная газета. 1929. № 24.

*** *Шершеневич В.* Великолепный очевидец // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания. М.: Моск. рабочий, 1990. С. 620.

**** *Алданов М.* Предисловие к кн.: *Осоргин М.* Письма о незначительном. 1940–1942. Нью-Йорк. Изд-во им. Чехова. 1952. С. XII.

способливаться не умел... Думаю, его быстро скрутили бы»*.

Осоргин, даже аббревиатуру СССР называвший «буквенным вывихом языка», и сам это понимал. Он прямо говорил: «Я не мог бы, как многие совписатели, лицемерными холопскими голосами каяться в «уклонах»...»**. Но обида за то, что его «национально оскопили», насильно исключив из русской жизни, никогда не проходила: «Эмиграция, — утверждал Осоргин, — ...всегда — самый страшный и самый несомненный укор, самое неопровержимое свидетельство гибельных внутренних недочетов, прежде всего — политической деспотии, отсутствия гарантий свободы личности и свободы мысли» (ПОН). С чем только он не сравнивал эмигрантов в последних своих книгах — с «внепланетной пылью», «нитями паутины в бабье лето», с «занозой в чужом теле», цветами «безвременниками». Любое из этих сравнений передает обиду и горечь.

Ему потребовались годы неустанного труда, чтобы наполнить сломанную жизнь созиданием, общением с близкими по духу людьми. В 1936 году в письме к московскому другу А.С. Буткевичу Осоргин, анализируя положение в Европе, которая «сошла с ума», подчеркивал, что теперь его надеждой остается лишь «старая Франция», где за долгие годы «никто к моей личности не прикасался, к жилищу также, к переписке также. Я говорю, пишу и печатаю решительно все, что хочу». Здесь, подчеркивал он, «еще жива и не бессильна демократия или, вернее, мелкая буржуазия (включая, конечно, рабочих). Во Фран-

* *Зайцев Б.К.* Осоргин // Собр. соч. Т. 5. Мои современники: Воспоминания. Портреты. Мемуарные повести. М.: Русская книга, 1999. С. 357.

** Письма старому другу в Москве // Cahiers du Monde. 1984.

ции пролетариата в нашем старом смысле очень мало; у редкого безработного нет сберегательной книжки, не говоря уж о работающих. Быть безработным значит быть вынужденным жить на капитал, проживать кровные сбережения. Франция – страна мелких буржуа и капиталистов. И вот эти-то мелкие буржуа и защищают во Франции принципы демократии. <...> Франция боится фашизма, который лишит мелких собственников их сбережений, истратит их на военные авантюры. Она боится всякого покушения на собственность. <...> Вероятно, завтра все это полетит вверх тормашками...»*.

Страшное «завтра» наступило 10 мая 1940 года, когда немецко-фашистские войска перешли границы Бельгии. Немцы в три дня прорвали французский фронт на протяжении ста километров и уже 14 июня парадным маршем вошли в Париж.

16 июня председателем Совета министров Франции стал 84-летний маршал А.Ф. Петен, сразу же начавший переговоры с гитлеровской Германией. В Компьенский лес доставили музейный вагон, в котором 11 ноября 1918 года был подписан акт о капитуляции Германии в Первую мировую войну. В нем же 22 июня 1940 года представители Франции подписали соглашение о перемирии с фашистами. Теперь условия диктовала Германия: две трети страны заняли оккупационные войска, их содержание оплачивала Франция, французская армия была демобилизована, французские военнопленные (полтора миллиона человек) оставались в Германии, от Франции отторгались Эльзас и Лотарингия – французское население из этих областей выселялось (620 тысяч человек) и т.д.

Власть на не оккупированной немцами территории, в так называемой «свободной зоне», находилась в руках прогитлеровского правительства Пе-

* Там же.

тена, перебравшегося в курортный городок Виши. Французскую республиканскую конституцию Петен ликвидировал. Даже традиционный девиз «Свобода, равенство и братство» был заменен новым — «Труд, семья и отечество».

За три дня до вступления немцев в Париж Осоргин покинул город, избежав таким образом ареста как видный масон, руководитель ложи. Но была разграблена и опечатана его парижская квартира, похищены библиотека и архив. «Немцы пришли первый раз 16 июля 1940 года, — вспоминала жена Осоргина, Татьяна Алексеевна Бакунина, — взяли архив, а затем были еще два или три раза, когда вывезли книги и вообще все имущество»*.

В те дни подруга Т.А. Бакуниной, И.Н. Угримова, обосновалась в срединной Франции, в Шабри, небольшом городе с островерхими крышами. «Городок, с силуэтами его готических крыш, — писал Осоргин, — похож на выставку маленьких пирамид» (ТМФ). Шабри располагался у реки Шэр. В этой местности по реке прошла тысячекилометровая демаркационная линия, разделившая страну. На другом берегу, в нескольких десятках метров, стояли оккупационные войска, слышались немецкие команды, напоминающие, по словам Осоргина, «собачий лай», но Шабри оставался в свободной зоне. И.Н. Угримова рассказывала: «...Мы сняли большой, очень поместительный дом, куда переехало несколько семейств с маленькими детьми и в том числе я с дочерью. К нам приехали те, кто покидал при наступлении немцев Париж. Так что там набилось страшное количество людей. Приехали и Михаил Андреевич с Таней. <...> Жизнь здесь, конечно, была не очень-то легкая, но как-то пе-

* Из письма Т.А. Бакуниной-Осоргиной к автору статьи от 26 января 1991 г.

ребивались <...>. Михаил Андреевич обладал необыкновенным умением ни с кем никогда не вступать в ненужные споры, всегда выслушать чье-то мнение, у него была необыкновенная легкость в общении с людьми... Летом 1940 года Осоргины сняли маленький отдельный домик, в котором Михаил Андреевич оставался до конца жизни. Он очень много писал... В Шабри он и похоронен»*.

Осоргин называл Шабри «полугородом-полудеревней», «тихим полусельским приютом, случайной зеленой тюрьмой на берегу реки». Быт его семьи, «мышья суета жизни», упростился до крайности. Переживать голод, как в России в послереволюционные годы, не пришлось — было лишь недоедание да холод зимой. Осоргин страдал от другого голода — книжного. Утешением в последнем изгнании стала река, которая будто «говорит по-русски», и рыбалка, занятие «идеалистов и мечтателей» — единственный отдых, который он себе позволял. «...Общаюсь только с рыбами»**, — писал он другу. Осоргин чувствовал себя «узником приветливого французского местечка»: «Дни, как всегда в тюрьмах и ссылках, и тянутся и мелькают одновременно»***.

Он старался помочь тем, кто оказался в худшем положении. Участвовал в работе русского «Общества взаимопомощи» в Ницце. В январе 1942 года Осоргин писал своему другу П.С. Иванову: «Отправлено за полтора года посылок двести в разные стороны, не шутка»****. Т.А. Бакунина вспоминала, что они от-

---

* *Угримова И.* Это было в Шабри // Арбатский архив. Историко-краеведческий альманах. Вып. 1. М.: «Тверская, 13», 1997. С. 334.

** Из письма Осоргина к А.В. Бахраху от 4 октября 1941 г. // Cahiers du Monde. 1984.

*** Из письма Осоргина к П.Н. Переверзеву от 15 апреля 1942 г. // Cahiers du Monde. 1984.

**** Там же.

правляли до тридцати посылок в месяц*. Будучи уже тяжело больным, Осоргин хлопотал о разрешении посещать лагеря военнопленных: хотел «чем-нибудь оправдать существование, не пропадать здесь зря и без пользы»**.

В июне 1941 года старого писателя арестовали как заложника. «...Дверь на железных засовах. Последний воздух выкачан легкими. Соломенная подстилка слежалась и тверда, как камень», — для смертельно больного человека арест, даже непродолжительный, стал тяжелым испытанием. Но он держался мужественно: «Нельзя безнаказанно быть сыном слишком большой страны» (ПОН).

«Мне все — все равно. Я не уверен, нужно ли еще думать, вспоминать, писать. Я безмерно устал...» — признавал Осоргин. И продолжал работать: «Если бы можно было уйти в мир образов, совсем не видеть того, что делается вокруг...» (Вр). В Шабри он завершил мемуарную книгу «Времена», две первые части которой были написаны и опубликованы еще в Париже. Отправлял «толстые конверты» в Америку — «в дружественные руки»: «Я отсылал их не на хранение, а как возможный прощальный привет» (ТМФ). Там в нью-йоркской газете «Новое русское слово» печатались его постоянные корреспонденции о лихолетии Франции.

М.А. Осоргин умер 27 ноября 1942 года от болезни сердца, во время третьего приступа.

* * *

За два эмигрантских десятилетия Осоргин написал несколько романов, повестей, десятки расска-

---

* Из письма Т.А. Бакуниной к автору статьи от 5 июля 1989 г.

** Из письма Осоргина к В.К. Агафонову от 26 июня 1942 г. // Cahiers du Monde. 1984.

зов, более тысячи разнообразных статей и очерков. В этом литературном море — немало мемуарных островков.

Еще в 1907 году вышли «Картинки тюремной жизни» Осоргина — воспоминания о днях, проведенных в 1905 году в Таганской тюрьме. Именно «Картинки» он впервые подписал псевдонимом «Осоргин». Для молодого человека мемуары — трудный жанр. После побега из России в Италию он обнаружил на вилле, где поселился, подвал с решеткой на окне и, когда писал воспоминания, просил запирать его там, чтобы воссоздать обстановку тюремного заключения. Это была его первая большая работа, замеченная русским читателем. Заканчивался мемуарный очерк молодой, задорной, и, как оказалось, пророческой фразой: «Еще поживем, еще поспорим, еще много, много раз посидим в тюрьме»[*].

Русских воспоминаний за рубежом выходило много, — и, конечно, они не равноценны по своему значению. «Мемуары, дневники, опять воспоминания, опять дневники... — писал Осоргин в одной из рецензий, — вот что такое, главным образом, представляет из себя эмигрантская книга за последние годы»[**]. Он отмечал появление «вереницы» «нудных» воспоминаний «о перегонах гражданской войны и беженства», которые можно рассматривать лишь как «сырье, кусочки быта, любительские картинки»[***].

Осоргин и сам не раз обращался к жанру воспоминаний, написал десятки мемуарных очерков и портретов. Он рассказывал о революционных событиях 1905 года, о малоизвестных страницах

---

[*] *Осоргин Мих.* Картинки тюремной жизни: Из дневника 1906 г. // Русское богатство, 1907. № 11–12.

[**] Последние новости. Париж. 1928. 4 окт. № 2752.

[***] *Осоргин М.* Тем же морем // Современные записки. Париж. 1922. № 13.

политической, общественной, литературной жизни Советской России первых послеоктябрьских лет. В цикле «Встречи» с благодарной памятью вспоминал о людях, с которыми его свела жизнь. Его героями были не только те, чьи имена оставались на слуху, но и личности забытые, малоизвестные — среди них и писатели-самоучки, и лубочники (авторы и издатели популярных книг для народа), и земцы, неутомимо работавшие в российской глухомани, и многие другие.

«Солнечный луч воспоминаний» был для Осоргина «поклоном далекой стороне», попыткой возвращения на родину, невозможного физически, но «для мысли границ пока еще нет»*. «И в самый последний момент, — писал Осоргин, — в голове человека неожиданной световой вывеской загорается имя городка, забор переулка и номер дома, в котором он появился на свет. Очертя голову, он летит туда через сотни границ, боясь опоздать, сшибая столбы и трубы, топча посевы, парки, асфальт. Перед ним задача — явиться в дом своего рождения и оборвать нить жизни на той же самой постели. Он нетерпеливо звонит, ему открывает незнакомое лицо, без черточки родственной, и резко говорит: «Ничего прежнего не осталось...» Дверь захлопывается перед его носом. Сидя на ступенях лестницы, истоптанной чужими ногами, он заливается глупыми детскими слезами»**.

Осоргин много размышлял о роли воспоминаний, об очаровании прошлого и его власти: «За спиной человека, в суровом мешке, накапливаются путаным клубком воспоминания, впереди нового и любопыт-

---

* *Осоргин М.* Без событий // Последние новости. 1938. 5 окт. № 6371.

** *Осоргин М.* Образы жизни // Последние новости. 1937. 3 мая. № 5882.

ного все меньше: повторяются и пейзажи, и характеры... Чтобы не наблюдать дороги, повторяющейся без конца в однообразии, человек смотрит внутрь себя и мыслит: рождение мудрости.

С этой минуты или дня, или года рожденная мысль попадает в сквозняк между будущим и прошлым, а настоящее теряет цену. Происходит трудно объяснимое... До середины пути впереди лежало будущее теоретическое бытие, которое казалось готовой объявиться истиной. Но вот за плечами накопился багаж прожитого и единственно реального... И тогда река надежд и уверенностей потекла обратно, из будущего в прошлое, куда удалились вещи и люди, где все они нашли свое настоящее значение, где тьма и бессмыслие будущего начали принимать образ бытия»*.

Утверждая, что существует только прошлое, настоящее лишь вершится, а будущего пока нет, Осоргин не раз возвращался к мысли о слиянии «бывшего и будущего», о «возврате невозвратного»: тогда будущее, освещенное светом прошлого, обретает духовный смысл, а прошлое превращается в «единственную реальность». Он сравнивал воспоминания то с «обратным ходом кинофильма», то с «прочитанной книгой», страницы которой перелистываются вновь, чтобы понять значение и смысл ускользнувших прежде мелочей: «Где-то когда-то на пути лежали россыпи золота, и по ним нога шагала небрежно, — теперь мысль сгребает в кучу разбросанные крупинки, промывает их обратным потоком реки, созидая неисчислимое богатство»**.

«Способен ли автомобиль изничтожить поэзию диккеновских дилижансов? Почему на бронзу накладывают искусственную патину? Какой роскошью пере-

---

* *Осоргин М.* Образы жизни // Последние новости. 1937. 3 мая. № 5882.

** Там же.

издания можно превзойти прелесть старинной книги?»* — спрашивал Осоргин. Для него ответ был очевиден: с течением времени образы прошлого все ярче высвечиваются в памяти, «жалость по упущенному» усиливается, поэтому мемуарист всегда отдает картинам былого «ласковое предпочтение» перед настоящим**.

Воспоминания субъективны, считал Осоргин, в них «малое число кажется огромным и великое малым», поэтому «частные жития» исключаются «из общей истории человеческих жизней». Они скорее нужны поэтам, чем историкам.

И все же в бесстрастного свидетеля писатель превращаться не хотел. По его мнению, именно воспоминания способны вступить в «страстную борьбу» с исторической рутиной — «усердной хроникой», «с фотографией и счетными таблицами». Роль воспоминаний в том, чтобы вдохнуть жизнь в прошлое: «Столбики цифр они заменяют кружевом слов и суматохой неясных картин, не только веруя, но и зная, что язык образов превосходит язык понятий. Так из дерзости мысли рождаются образы жизни»***.

Итоговой мемуарной книгой Осоргина стали «Времена». Литературоведы ищут и не находят для нее точного определения. Исследовательница творчества Осоргина Т.В. Марченко назвала «Времена» «романом души»: «Необычность этих мемуаров состоит в некоей принципиальной их немемуарности...»****. И все же эта книга — не история становления души,

---

* *Осоргин М.* Образы жизни // Последние новости. 1937. 3 мая. № 5882.

** *Осоргин М.* Старый Париж. Из воспоминаний // Последние новости. 1937. 5 июля. № 5945.

*** *Осоргин М.* Образы жизни.

**** *Марченко Т.В.* Осоргин // Литература русского зарубежья: 1920–1940. М.: Наследие, 1993. С. 313.

как это было у любимого Осоргиным С.Т. Аксакова. В центре повествования Осоргина — не события, не судьбы, не портреты, даже не собственная жизнь мемуариста («не о себе пишу...», — повторял автор), а именно «времена», их образы и приметы. Он писал: «С изумительной ясностью возникают образы давних встреч, от молодости к юности, от юности к раннему детству»*; «вообще не буду рассказывать – мне хочется рождать образы прошлого, дав им полную свободу» (Вр).

Поставив задачу воссоздать образы времени, Осоргин не восстанавливал последовательности событий, не собирал картины жизни в «аккуратный альбом», не пытался разбираться в «суматохе дней», «путанице событий, толпах людей, нагромождениях сроков и дат». В одно мгновение перед его внутренним взором вставали и гимназист, замученный зубрежкой; и журналист в Неаполе, до головной боли уставший от политических склок; и арестант, лежащий на заплеванном полу в Чека, — у Осоргина соединение разных временных пластов получалось органичным.

Радостны и ярки во «Временах» «цветные» пятна воспоминаний детства: «...Тут ни при чем и возраст, и прожитая жизнь, и я по сей час покачиваюсь в душегубке на мертвой зыби, и в борта лодки хлюпают камские струи, а небо надо мной — шатер моей зыбки, и я, уже старый, все еще пребываю в материнском лоне, упрямый язычник, и плыву, и буду так плыть до самой моей, может быть и несуществующей, смерти» (Вр).

По сравнению с образами детства картины юности бледнеют, — считал Осоргин, — ведь в душе юноши подлинные переживания оттеснили книжные впечатления. Но читатель запомнит «книжного» юношу,

* *Осоргин М.* Образы жизни.

который, вызвав на дуэль преподавателя гимназии, кричал: «Я Вас убью, как таракана!»

Не случайны и воспоминания Осоргина о гимназистах, отправившихся на городское кладбище. Они нашли там старинную бронзовую плиту со странными, поражающими воображение, непонятными знаками: «Змея закусила свой хвост...». Друзья не подозревали тогда, что это один из важных масонских символов, — олицетворение вечного поиска, о котором через десятилетия сам Осоргин будет рассказывать в парижской масонской ложе: «Слово абсолютной истины потеряно в веках, и никогда и никем найдено не будет, — но каждый шаг приближает посвященного к его открытию... Эмблема нашего братства — замкнутый круг, змея, закусившая собственный хвост. Философы толкуют эту эмблему, как «единое всё»; но единое всё — и есть потерянное слово»*.

Читатель «Времен» не раз встретится с подтекстом, скрытым, тайным смыслом — масонской символикой, ведь книга принадлежит перу масона высокой степени посвящения, который, как констатируют исследователи, повестью «Вольный каменщик» «завершил масонскую тему в русской литературе»**.

С годами «цветные пятна памяти» превратились для Осоргина просто в «пятна». Он помнит себя в грозовом 1905-м «белобрысым московским адвокатиком», считавшим свою профессию общественным служением и быстро втянувшимся в вихрь революции: «...Мы целью жизни считали не счастье, а широту и благородство духовных стремлений» (Вр).

---

* *Осоргин Мих.* Речь бр<ата> оратора // *Осоргин М.* Доклады и речи. Северная Звезда. Париж. 1949. С. 20.

** Масонство и русская культура / Сост. В.И. Новиков. М.: Искусство, 1996. С. 47.

Во «Временах» он назвал свой революционный порыв «прекрасной ошибкой». Осоргин признается, что победившая революция 1917 года его глубоко разочаровала. Высшей ценностью для него всегда была свобода личности: «...Если бы моего палача посадили под замок, я сорвал бы замок и с его двери» (Вр). Новые же властители страны из святого понятия свободы «выковали цепи».

Осоргин рассказывал, как после революции 1917 года «кавалеры осмеянного ордена русских интеллигентных чудаков», к которым он относил и себя, отбросив сомнения, продолжали «бороться за будущее», пытались помочь делу обновления России: «Вечно предстоя пропасти, мы все-таки жили в стране и в эпоху необычайных возможностей <...>. Настороженным ухом ловили музыку будущего в дикой какофонии рычания, плача и восторженности...» (Вр), — так вспоминал он о настроениях тех лет. Осоргин не скрывает и изменения своих взглядов, признав, что оправдывал в революции «слишком многое».

Осоргин писал, что в его жизни почти не осталось моментов, память о которых он не занес бы «на белые листы бумаги». Многие отрезки собственной жизни он давно превратил в литературный материал, «использовав вразброс по книгам и очеркам». Почти за каждой строкой «Времен» стоит статья (а порой и несколько), написанный ранее мемуарный очерк, рассказ, а то и роман.

Итоговая книга воспоминаний Осоргина — результат многолетних размышлений. Текст ее сжат, сконцентрирован. Произведен жесткий отбор материала. Порой от нескольких написанных страниц в последнем варианте Осоргина оставался один абзац.

Краткость соединялась с честностью и исторической точностью. Например, исследователь исто-

рии Всероссийского комитета помощи голодающим М.С. Геллер констатировал, что Осоргин стал «подлинным историком комитета»*.

Известны жесткие высказывания В.Ф. Ходасевича и З.Н. Гиппиус, которые могли бы посеять сомнение в достоверности пронзительно трагичных воспоминаний Осоргина о насильственной высылке из России. З.Н. Гиппиус, например, писала: «...Главное вот это: “не изгнаны, а посланы”»**. Слухи эти широко распространялись в эмигрантской среде. Всплывали они и в последние годы при публикации писем Гиппиус, Ходасевича, близких к ним людей. Сегодня, когда открылись недоступные раньше российские архивы, стало очевидным, что ни «посланным», ни «подосланным» Осоргин никогда не был, а оклеветать его старались, руководствуясь личными мотивами***.

---

* *Геллер М.С.* «Первое предостережение» — удар хлыстом. (К истории высылки из Советского Союза деятелей культуры в 1922 г.) // Вопросы философии. 1990. № 9. С. 51.

** *Гиппиус З.* Письма к Берберовой и Ходасевичу. An Ardis, 1978. С. 14.

*** И.А. Бочарова видит причину разрыва отношений Осоргина и Ходасевича в «слишком разных психологических и темпераментных проявлениях их личностей в бытовых главным образом обстоятельствах» (М. Горький и М.А. Осоргин. Переписка / Вступ. статья, публ. и примеч. И.А. Бочаровой // С двух берегов. Русская литература XX века в России и за рубежом. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 424). За этой деликатной, но неконкретной фразой — простой рассказ Т.А. Бакуниной о ссоре из-за карточной игры, в которой Осоргин уличил Ходасевича в шулерстве (письмо Т.А. Бакуниной-Осоргиной от 16 декабря 1988 г. автору статьи). Осоргин прекратил отношения с Ходасевичем. На клевету не отвечал — таково было его жизненное правило. См. также: Письма В.Ф. Ходасевича к Н.Н. Берберовой // Минувшее. Альманах. Нью-Йорк. № 5; *Осоргина Т.* Как это было // Cahiers du Monde russe et sovitieqúe, XXXI (1), janvier-mars 1990; ее же статья: Минувшее. № 6.

Л.В. Поликовская, занимавшаяся сравнительним анализом воспоминаний Осоргина и архивных документов ГПУ, пришла к выводу: «...Документы только укрепляют доверие к Осоргину-мемуаристу»*.

Осоргин писал, как бы прямо обращаясь к своему читателю. Он не боялся открытости чувств, «несдержанной лирики», «некоей восторженности»: «Вместо простой беседы — пение»; «у меня нет слов, или, наоборот, я боюсь ими захлебнуться». Боролся за свое «право восклицать, когда восклицается», хотя и видел «бессилие» выкриков. Говорил, что ему потребовалось тридцать лет работы, чтобы научиться примирять в литературе мысль и чувства, «сердечную требуху».

Рецензенты отмечали блестящий стиль и «превосходный язык» воспоминаний Осоргина**, «перо которого пишет словами детства, деревни, няни, Москвы»***. М. Алданов утверждал, что «Времена» «в чисто художественном отношении самое лучшее его произведение»****.

Так же думал и сам Осоргин. «В конце жизни Михаил Андреевич говорил, что считает своей настоящей писательской работой только две книги: «Вольный каменщик» и «Времена», остальное всё — ерунда», — вспоминала Т.А. Бакунина*****.

---

* *Поликовская Л.В.* М.А. Осоргин в собственных рассказах и документах ГПУ // Минувшее. Ист. альманах. Вып. 19. М.; СПб., 1996. С. 209.

** *Адамович Г.* Последние книги Осоргина // Последние новости. 1938. № 6374.

*** *Лосский Н.О.* Мир как единое целое. Этюды о писателях // Новый русский журнал. 1923. № 3–4.

**** *Алданов М.* Предисловие к кн.: Осоргин М. Письма о незначительном. С. XVIII.

***** Из письма Т.А. Бакуниной-Осоргиной от 10 января 1989 г. автору статьи. Об этом же она писала и 8 декабря 1991 г.

* * *

В середине 1920-х годов родители Т.А. Бакуниной — по профессии врачи — работали в «старческом доме» в Сент-Женевьев де Буа. Название поселка происходит от имени святой Женевьевы, покровительницы Парижа. Осоргин называл его на русский лад: «Женевьева Лесов». Здесь Осоргины сняли домик. Тут писатель закончил роман «Сивцев Вражек», за который в конце 1930 года получил премию в США*. Тогда Осоргин и приобрел в Сент-Женевьев де Буа небольшой участок земли. На домик денег не хватило, построили сарайчик для инструментов, который он называл «избушкой». На этом клочке земли Осоргин проводил много времени, с удовольствием огородничал, сажал цветы. Воплощал в жизнь свою любимую идею о «посвященном познании природы», которую развивал и в масонской ложе, и вне ее — в десятках статей, в повести «Вольный каменщик», в последних своих книгах.

Начиная с 1927 года в парижской газете «Последние новости» публиковались циклы статей Осоргина «Огородные записи» и «Письма обитателя». В 1929-м возник его псевдоним «Обитатель» («обитатель земной поверхности», — пояснял Осоргин). Он писал: «Беседами на садовые темы я могу заполнить и лист, и тетрадь, и целую книгу, не почувствовав в пальцах профессиональной тошноты». Наконец в 1938 году в Софии вышла его последняя прижизненная книга «Происшествия зеленого мира»**, в которую вошли многие (но далеко не

---

* Литературное общество The Book-of-the-Month Club назвало роман Осоргина лучшей книгой года иностранного автора.

** *Осоргин Мих.* Происшествия зеленого мира. София, 1938. 173 с. (Далее — ПЗМ).

все) из экологических, как сказали бы теперь, статей Осоргина. Он был убежден, что спасти человечество может только любовь к природе, которая должна оказаться в центре мировосприятия и вообще жизни. «Я свое понимание строю на круговороте, на вечном возрождении... Моя философия натуралистична», — писал Осоргин*.

Природа, по его мнению, «сильнейший враг деспотизма... Она не признает ни границ, ни догм, ни учреждений; она не различает добра и зла, не создает кумиров, не пишет истории». Природа полна любви, каждый цветок — «участник великой мистерии любви», недаром в мире растений и животных нет ни войн, ни революций.

«Миросозерцание, основанное на наблюдении природы и на полном с нею слиянии... утверждает потерянную веру картинами подлинного земного рая, высокого и вдохновенного благополучия, гармоничного общения, доведенной до идеала взаимопомощи живых существ. С той же простотой и убедительностью оно отвечает на самые проклятые вопросы о добре и зле, уничтожая самые эти понятия, так как в природе их нет, они придуманы нами», — говорил Осоргин в одной из масонских речей**.

«...*Познание природы есть открытие сущности вещей и их взаимоотношения, познание бытия* (курсив Осоргина. — *О.А.*). Никакой другой задачи не может быть у того, кто ищет истину, кто хочет определить свое место в природе, свое отношение ко всему живущему, потому что без этого он не может построить ни своей жизни, ни жизни общества. Иной задачи нет ни у науки, ни у творчества, ею погло-

---

* Из письма Осоргина к А.С. Буткевичу от 7 августа 1936 г. (РГАЛИ. Ф. 1464. Оп. 1. Д. 72).

** *Осоргин М.* Исповедь мастера / *Осоргин М.* Доклады и речи. Северная Звезда. Париж, 1949. С. 101.

щается вся наша духовная работа», — не уставал повторять писатель*.

Верный этой идее, Осоргин пытался найти для нее и художественное воплощение. Он осознавал трудность поставленной задачи и даже с некоторым вызовом подчеркивал, что пишет книгу «для себя и для сочувствующих чудаков». Откровенно называл ее «нечитабельной», замечая, что бóльший успех принесла бы «история трупа в чемодане и бракосочетание киноэкранной звезды».

В «Происшествиях зеленого мира» переплетены разнохарактерные материалы — философские рассуждения, воспоминания, наблюдения, — их объединяет отношение автора к предмету повествования. Он выступает то открыто, всерьез, то скрываясь за иронической маской чудака.

Не все Осоргину удалось. Порой в книге появляются нотки высокомерия и нетерпимости. С. Савельев (С.Г. Шерман) в рецензии на книгу справедливо отмечал «раздражение», «излишнюю полемику и какой-то поучающий тон», которых не избежал Осоргин**.

Спасал книгу юмор. «Да не войдет не знающий юмора в мою крепость», — декларировал Осоргин. И уточнял: «Мне ближе и роднее форма шутки и незлой усмешки». Он использовал парадокс как бродильный элемент, без которого «мысль обречена на застой и умирание» (ПОН).

Впрочем, сам Осоргин не слишком высоко ценил свои успехи на юмористической ниве: «Трехкопеечными парадоксами снискал себе доброе имя не слишком вредного шутника», — замечал он. Однажды сказал и совсем грустно: «Пока клоун не повесился, при-

---

* *Осоргин М.* Путь русского вольного каменщика. *Осоргин М.* Доклады и речи. Северная Звезда. Париж, 1949. С. 111.

** Современные записки. Париж. 1939. № 68. С. 474.

нято считать его весельчаком»*. И в самом деле, шутки Осоргина часто замешаны на печали.

Все повествование «Происшествий зеленого мира» построено на иронических сопоставлениях. Осоргин сталкивает разные субстанции — живой мир природы и мертвый, насаждаемый человеком. Противопоставление содержится даже в названиях глав книги: «О березках, парламенте и соловьях», «О козьей бородке, аэроплане и артишоке», «О грибах и теории горохового прогресса» и др. Порой Осоргин взрывает спокойное течение речи соединением несоединимого в одном отдельном предложении: «...Сегодня и солнышко показалось, хотя большевики еще не пали».

Как ни старался Осоргин привыкнуть к «ласковым картинам» французской природы, как ни смеялся над «самоварным и сарафанным» патриотизмом, но в памяти вновь возникали картины русской природы, «бескрайние горизонты» и «безмерные дали».

Он сажал березку, и, подтрунивая сам над собой, комментировал: «Нет ни одного русского человека, который на моем месте поступил бы иначе». Смотрел на небо и якобы небрежно замечал: «Звезды хороши тем, что и у нас такие же». Постоянно сравнивал природу России и Франции — и совсем не в пользу французского местечка: в России «и травы говорят на другом языке». Даже русские соловьи, по его мнению, куда лучше французских: «Французские соловьи короче, проще, торопливее». Французские соловьихи, шутит Осоргин, меркантильны. «К репликам: “Ни за что”, “Кто Вам позволил, дерзкий?” — французская соловьиха обязательно добавляет: “Где Вы служите?” — “Я хочу непременно каминные часы с подсвечниками”».

---

* *А. Зацепа* <*Осоргин М.*>. Разговоры о малом // Последние новости. 1929. 19 март. № 2918.

Для соседки-француженки Осоргин — «чудак-человек». Но и он тоже не в восторге от «ощипанной фантазии» французов. Ведь у них совсем другой подход к земле: «Все живое, зеленое, ветвистое, цветущее, деревенское должно быть уничтожено начисто». Местные садики напоминают Осоргину русские кладбища — «клумбочки, как могилки».

«Огородный мирок» Осоргина — островок в чужом мире. Здесь нет привычного для русского человека горизонта, полностью отсутствуют леса. Вместо леса — «расчерченная на крохотные лоскутки» земля: «Земля, по совести говоря, дрянь, какая-то тухлая глина». Достоинством Франции, в глазах Осоргина, были «уверенность, мир, прочность, законность. Горизонта нет, но зато полная надежность» (ПЗМ). Правда, скоро выяснилось, что он обманулся в своих упованиях на французскую «прочность».

В. Яновский в рецензии на «Происшествия зеленого мира» отмечал «досадную особенностью» книги Осоргина — его постоянное обращение к российским воспоминаниям и «раздражающие» утверждения, что «там всё лучше»*. Вряд ли с этим критическим замечанием согласится российский читатель.

Главная мысль книги Осоргина, на первый взгляд, проста: человек должен научиться ощущать себя не «царем», не «господином», а частью природы, «рядовой единицей многомиллиардной семьи живых существ», настроить себя на лад мировой гармонии — ощутить сестрой травинку. О неизбывном чувстве родства с природой он с особой силой говорил и во «Временах», несколько раз повторяя мысль о своей сыновней привязанности: «...Я был и остался сыном матери-реки и отца-леса», «...сыном

---

* Русские записки. Париж. 1939. № 15. С. 198.

земли и братом любого двуногого», «...сыном северных лесов, полжизни прожившим в кислоте среднеевропейской и южной природы, но не изменившим очарованьям детства» (Вр).

Осоргин рассказывал о попытках слиться с окружающим миром. Он разговаривал не только с котенком и лягушкой, но и с огурчиками на огородной грядке. Переписывался с курицей. Любовался танцем мошек. Жил под охраной чертополоха. Жаба для него — «близкая знакомая, соучастница работ, бескорыстная помощница». Скучающая коза своей бородкой напоминала приятеля-марксиста. Восхищаясь петушиным сообществом, беспроволочной петушиной связью, Осоргин называет петуха «бардом природы, подголоском солнца», который во все концы земли передает в условный час нам непонятное «кукареку»: «В эту минуту он связан со всем живущим, истинным, куриным, великой связью единения и взаимного признания» (ПЗМ).

Мир природы — дружественен. Врагами оказываются люди. Они, люди, «перепробовав все формы общения, вернулись к первобытной — звериной». Они уверовали в «так называемый прогресс». «Не случилось ли чего-нибудь отрадного? — подтрунивал Осоргин. — Только одно: усовершенствовано электрическое кресло для ликвидации пороков...» (ПЗМ).

Осоргин утверждал, что человек в городе «опутан паутиной ложных представлений»: считает «возвратом к природе» нудизм и лежание на пляже недалеко от казино, а «победой над природой» «неуклюжее ей подражанье — аэроплан, тщетно догоняющий комара; радиодепешу, над которой смеется бабочка...». На деле же человек годится лишь на то, чтобы вытаптывать траву.

Писатель не боялся показаться смешным. Для него одинаково враждебны «самолет, пулемет, удуш-

ливый газ, телефон, граммофон, даже машина для окончательной и навсегда завивки волос». И, конечно, автомобиль — «отвратительная и неуклюжая коробка», душащая людей бензином. Осоргин считал, что в городе человек, обреченный на жизнь в каменном мешке, — раб мертвых вещей. На земле же для него «все живо, включая песчинку земли». Лживой газете он предпочитал собачий лай, которым отмечается каждое деревенское событие; аэроплану, превратившему небо в проезжую дорогу, — «праздник паучьей авиации».

Как же спастись в наполненном машинами мире? «Сядьте и дождитесь, пока вы исчезнете, и ход жизни, нарушенный вашим приходом, восстановится», — с лукавой усмешкой предлагал Осоргин. На его родной земле это ощущение было знакомо и беглым арестантам, и святым отшельникам. Атеист Осоргин не забыл пословицу: «Молитва отшельника до Бога доходчива».

Он вспоминал «маленький домик» на окраине Москвы, где пытался укрыться от бурь 1917 года, где вместе «со злобой дня исчезает и злоба мысли, и злоба сердца»*. Теперешнее свое пристанище Осоргин называл «кельей под елью», потому что, по его мнению, «счастье и мудрость живут именно в келье под елью — горе и ум в больших домах». Он подчеркивал, что не проповедует ухода от жизни: «Ни ухода, ни уныния, ни отчаяния, ни равнодушия, ни сдачи на милость наступающего зверя. Но настоящая правда только в тишине утреннего часа — и настоящая мудрость»**. Связь с землей,

* См.: *Осоргин Мих.* Из маленького домика. Москва. 1917–1919. <Рига>, Латвия: Книгоизд-во русских писателей, 1921. 121 с.

** *Осоргин М.* Тишина // Последние новости. 1938. 2 июля. № 6306.

работа на земле, — подчеркивал Осоргин, — будит в человеке «инстинкт не собственнический, а творческий»[*].

Жизнь Осоргина наполнена интенсивными духовными поисками. И Осоргин-мыслитель приоткрывал читателю раскрытые им тайны природы и общественной жизни. Он предвидел, что «будущий обитатель» останется «в царстве обмелевших рек, отощавших лесов, на голом асфальте»[**], будет жить среди «сплошного громыхания» города, целоваться «через обезвреживающую бумажку», «производить потомство в лабораториях...»[***], предупреждал, что приближаются времена «грядущего вселенского озверения»[****].

Марк Вишняк вспоминал о затянувшейся ссоре двух «замечательных людей»: «Они "разошлись" в своем отношении к автомобилю как средству перемещения!.. Сделавшись на очень короткий срок обладателем подержанной машины, Зензинов восславил ее при описании путешествия на юг Франции и север Испании. На столбцах тех же "Последних новостей" Осоргин осудил восхищение техникой бездушной цивилизации. Зензинов возразил. Недовольство и раздражение Осоргина возросли...»[*****]. Вишняк рассказывал эту историю с улыбкой, не веря, что Осоргин и в самом деле считал вопрос об отношениях человека и машины жизненно важным.

---

[*] *Осоргин М.* Месяц март // Последние новости. 1938. 5 марта. № 6188.

[**] *Осоргин М.* Мечта о крыльях // Последние новости. 1929. 12 март. № 2911.

[***] *Обитатель <Осоргин М>.* Окликание весны // Последние новости. 1930. 16 марта. № 3280.

[****] *Осоргин М.* Утрированный филантроп // Последние новости. 1936. 25 дек. № 5754.

[*****] *Вишняк М.* И.С. Шмелев // Дальние берега. Портреты русских писателей в эмиграции. Мемуары / Сост. В. Крейд. М.: Республика. 1994. С. 49.

Такова же позиция критиков, в целом встретивших книгу Осоргина благожелательно. Г.Д. Гурвич видел в его любви к природе «метод очищения от внешней мишуры и искусственности»*. С. Савельев назвал книгу Осоргина с ее «разговором о простых вещах», с «братским сочувствием» жабе и кроту, «утешительной»**. В. Яновский отметил, что от книги «веет любовью, доброжелательством, и какой-то благородной, слегка недоумевающей чистотой», но счел «мертвящей» философскую концепцию писателя***. Несмотря на одобрительный тон, в рецензиях просматривалась неприкрытая снисходительность, а печальные прогнозы Осоргина воспринимались современниками скорее как шутка. Но такова судьба всех предсказателей.

Сегодня ясно, что Осоргин верно предвидел масштаб насилия над природой, совершенного человеком во второй половине XX века. Он называл стихийные бедствия «улыбками земли»: «Когда земля хочет, она может превзойти бессмысленной жестокостью даже людскую выдумку»****. И в наши дни, когда природные катаклизмы стали повседневным явлением, человечество ради мелочной выгоды продолжает разрывать кровную связь с природой, которая лишь кажется беззащитной, так и не поняв до конца, что тем самым оно приближает встречу со страшной «улыбкой земли».

---

* Новый журнал. Нью-Йорк. 1943. № 4.

** Современные записки. 1939. № 68.

*** Русские записки. 1939. № 15.

**** *Осоргин М.* Улыбки земли // Осоргин М. Воспоминания. Повесть о сестре / Сост., вступ. статья и примеч. О.Г. Ласунского. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1992. С. 30. (Впервые: 1938).

* * *

Из мирного приюта и цветущего сада в предместье Парижа читатель Осоргина мысленно перенесется в провинциальный городок Шабри — в «медвежий уголок» Франции, как, пользуясь чисто русским выражением, называл его писатель.

После смерти Осоргина его военные корреспонденции из Шабри были объединены в две книги — «В тихом местечке Франции» (1946) и «Письма о незначительном» (1952). Об истории их создания ярко рассказал Марк Алданов, знавший условия жесткой цензуры, возникшей во Франции при правительстве Петена: «Очень многие французские писатели... думали так же, как он. Но кто же *так* (курсив автора) писал в занятой немцами Европе — не принимая мер предосторожности *подпольной* печати? Не хотелось бы повторять пошлое по форме, еще более опошленное вечным повторением слово: “безумство храбрых”, — однако оно здесь уместно. Для совершенно бесправного человека, как Осоргин, выходец из воевавшей с Германией страны, каждая из его статей могла означать гибель, — гибель в настоящем смысле слова. Помню, когда его корреспонденции стали появляться в “Новом Русском Слове”, мы их читали с ужасом: “Ведь его отправят в Дахау!” — говорили все. Как ни ценила редакция его прекрасные статьи, она их не помещала бы, если б не знала, что он на этом настаивает, что он этого требует. Разумеется, гестапо имело полную возможность распоряжаться судьбой любого из трех тысяч жителей Шабри. Я думаю, что уже по самому своему происхождению, по тому, *как и где* эти статьи писались, они составляют настоящую гордость русской публицистики...

Свою книгу он назвал “Письма о незначительном”. Читатель увидит, как неверно это заглавие. Скажу еще раз: многие его статьи были подвигом. Друзья Михаила Андреевича знали, что ничего недостойного этот совершенный джентльмен сделать просто не мог бы. Но в ту пору он вел себя героем»*.

Сам Осоргин называл страницы своих новых книг «бледными». «Тюремный быт» свободной зоны не давал возможности быть до конца откровенным. Свободу слова ущемляло «тройное кольцо: полусвобода Франции, порабощенность Европы, недоступность остального мира» (ТМФ). Особенно его угнетала «культурная отрезанность» — казалось, что в мире больше не существует ни литературы, ни музыки, ни философии. Переписка с оккупированными землями, с Парижем то прерывалась, то совсем запрещалась. Осоргин рассказывал о разрешении отправлять письма с заготовленным текстом: «...В добром здравии... устал... слегка, серьезно болен... ранен... убит... взят в плен... скончался... пропал без вести... С наилучшими пожеланиями. Целую... Подпись» (ТМФ). Но тогда радовались любой весточке, даже такой — изуродованной цензурными требованиями.

Информацию о мировых событиях в Шабри получали из сообщений радио — «болтливого ящика» (пришлось вступить в «противоестественный союз с давним идейным врагом»), и городской газетки, которую власти держали «на цепочке» и «в наморднике». Привыкли к лживым официальным сообщениям, условности языка, чтению между строк. «Земной шар купается в растворе лжи» (ТМФ) — утверждал Осор-

* *Алданов М.* Предисловие к кн.: Осоргин М. «Письма о незначительном». С. XXII–XXIII, XXV.

гин. Даже слухи или рассказы соседки или ее многочисленных кузин казались ему более достоверными и интересными. Он внимательно прислушивался к историям беженцев, отступающих солдат, приезжих, позже — беглых военнопленных.

В книге «В тихом местечке Франции», в которой описаны события 1940 года, Осоргин выступал как «хроникер», «наблюдатель», «летописец», и, конечно, «свидетель истории»: «Записано спешно, огрызком карандаша, в сумбуре дней, в бессоннице ночи, в дороге, иногда в нереальности жизни, иногда в ожидании смерти и даже в страстной о ней мечте» (ТМФ). Книга наполнена непосредственными, свежими наблюдениями, дневниковыми записями: «Мои житейские записи превращаются в дневник всякий раз, как наступают “события”» (ТМФ). Но даже в дневнике в центре внимания Осоргина оказывались не его собственные дела, а только то личное, что было «показательным для общего бедствия».

Осоргин рассказывает «маленькую историю душ, сжатых в комочек». Война опрокинула его мир, привычная жизнь «внезапно рассыпалась и исчезла». Вой сирен, свист падающих снарядов, взрывы бомб заставили влиться в «беженскую волну», в «поток людей, вагонов, автомобилей и животного страха». Он описывает «поспешное внезапное бегство с ручными чемоданчиками и провизией на два дня» и две недели трудного пути из Парижа, который доводил души «до унизительного состояния», заставлял вздрагивать от стука хлопнувшей двери, напоминавшего о разрывах бомб.

Вскоре после приезда Осоргиных в Шабри началось немецкое наступление. Как и все жители городка, они прятались в лесу, который, как позже выяснилось, находился как раз на линии огня. Защитники Шабри держали оборону полдня и от-

ступили: «Военная гроза перекатилась через наше местечко». Осоргин рисовал «картинки из жизни оккупированной деревни», рассказывал о немецких солдатах, объедавшихся шоколадом и облизывающих сладкие пальцы, лакающих дорогое шампанское, «отрыгивая, проливая вино на гимнастерки»: «Бутылками были завалены улицы, кучи бутылок валялись на лесных опушках, и когда наши оккупанты ушли, все квартиры их недолгого постоя были завалены бутылками, иногда допитыми только до половины...» (ТМФ). Через две недели немцы отошли за реку. Начались дни «временного существования», которое продолжалось для Осоргина два с половиной года.

«На моей совести нет ни одного описания сражений, даже тех, которых я был очевидцем. Я видел на войнах только маленьких людей — Иванов, Жанов, Гансов...» (ТМФ), — писал Осоргин. Его не привлекала «баталическая живопись» — ни «горы трупов», ни «красота войны». Предмет повествования Осоргина — простой человек, обыватель. К нему он присматривался, его настроения изучал, о нем рассказывал — с точки зрения такого же простого человека. Для писателя провинциальное французское местечко стало «мерилом жизненной нормы», «лабораторией духа народа». Осоргин был уверен, что возрождение Франции начнется не из курорта Виши, а из таких маленьких городков и деревень — не с верхушки дерева, а от корней. Корнем же он считал «народ, внешне униженный, внутренне не побежденный, — маленьких людей земли — пахарей и виноградарей, пастухов и огородников, вдов убитых и жен пленных...» (ТМФ). Именно простых людей Осоргин считал хранителями традиций Франции, основанных на свободолюбии и независимости.

Он вглядывался в «мелочи обывательской жизни» соседей-французов, которые без лишних слов помогали и беглецам пленным, и эльзасцам, выселенным из родных мест, и «преступникам, родившимся неумело и непрактично от неарийских родителей», радовались слухам о налетах английской авиации, читали случайно к ним попавшие парижские листовки.

Осоргин оказался в положении «беженца в квадрате», который хоть и платил восемнадцать лет французские налоги, но так и остался «бесправным советским гражданином»: «Мы в чужой стране, которую хочет раздавить страна чужая» (ТМФ). «Под колесами истории» все одинаковы, но чужестранцы оказывались козлами отпущения, угроза репрессий всегда была для них реальной: «Вообще не разрешается иностранцам двигать руками и ногами» (ТМФ), – грустно шутил Осоргин.

В «Письмах о незначительном», куда включены статьи 1941–1942 годов, почти отступает дневниковое начало, преобладают размышления философского, публицистического, мемуарного характера, экскурсы в историю. В 1941-м, когда немецкие войска рвались к Москве, отклики на злободневные события Осоргин вынужден был скрывать между строк. Он не мог написать, как в 1937 году: «Низколобый дикарь Гитлер»*. Но его аллегории не утратили язвительности: «Герой современной Германии изображается с наполеоновским коком и усиками Чаплина» (ПОН). Во «Временах» Осоргин называет Гитлера, который в молодости увлекался живописью, «германским маляром». Этот образ возникает и в «Письмах о незначитель-

* *Осоргин М.* Убийство по суду // Русские записки. 1937. № 1. С. 202.

ном»: «Умолкло слово творящего Художника — и место его занял маляр. В труде усердный, он принял брошенную Художником палитру за эскиз новой гениальной картины — и заляпал весь мир суматохой красок, сделав безумие системой».

«Только очень слепой и бездушный человек может питать ненависть к нации, к расе, к стране» (ТМФ), — писал Осоргин. И в то же время он как бы возвращал немцам их расистские рассуждения. Ядовито писал о «гении второстепенности», свойственном «немецкой расе», о неспособности «германской расы» «преодолеть свою природную животность», грозящей «всему миру порчей крови, прививкой устойчивой тупости и жестокости» (ПОН). Не жалея эпитетов, повторял мысль об «изумительной, вековой, расовой тупости» немцев — «безысходной, пивной, наследственной, белесой и бесцветноглазой». Смеялся над тем, что немцам и в голову не приходит, что их воинственность «есть качество дикарей, не преодолевших звериного состояния расы». Осоргин подчеркивал, что вопрос о чести народа, о его духовном примате решается «не силой, не победой оружия».

«Я проклинаю войну, всякую войну, каков бы ни был ее облик, чем бы она ни была вызвана» (ТМФ), — писал Осоргин. Войну он считал «высшей формой преступления». Утверждал, что современный солдат ничем не отличается от индейца, носившего на поясе скальп врага. Он призывал отбросить лицемерие: «Не стесняйтесь, застрелив ближнего, есть рагу из его мяса». «Каждое военное сообщение есть рассказ об организованных массовых преступлениях», — напоминал Осоргин. За строками сухих сводок он видел «кирпич, дробящий голову», «запах жареного человеческого мяса», «крики, распластывающие

душу». «В войне, подобной этой, не может быть победителя; все будут побежденными. На лице всей Европы — гримаса боли», — утверждал Осоргин. Войны всегда умножают «суммы человеческого горя», порождают «темный ужас» — неизвестность, страх, тоску, нищету, крах надежд, бессмысленные, никому не нужные человеческие страдания.

Одним из последствий этой войны Осоргин считал гибель культуры, ее откат «в область первобытного, нравственно-скотского, духовно-убогого». «Сорной травой зарастает... духовное поле», — печалился Осоргин, утверждавший, что духовно-высокое заменяется теперь эрзацем: «На наших глазах задохлось и увяло свободное искусство в России; теперь пришла очередь Западной Европы» (ПОН).

Если в 1940 году Осоргин отрицал войну «целиком и без всяких оговорок», то после нападения Германии на Россию возникли чувства, противоречащие всем его идеям и теориям: «Чужая бомба — варварство, своя — сладкая музыка» (ПОН). Он гордился стойкостью русских солдат, которые «дерутся как безумные», хотя европейцам она казалась «фанатизмом некультурного народа». Проснулся «голос крови, нерассуждающая привязанность, простая любовь». «Я страстно желаю ей победы, — писал Осоргин о России, — желаю без всяких расчетов и умствований: это — земля моих отцов, моя земля, которая дважды вышвыривала меня из своих пределов за эту самую страстную к ней сыновнюю привязанность...». «Если не телом, то всей душой с русским народом, против иноземного врага» (ПОН), — говорил он о своей позиции. С презрением отзывался о «пораженцах». Сотрудничество русских эмигрантов с немцами считал «последним нравственным падением», а их «мечту о торжестве

под чужим игом» — проявлением «крайней душевной низости».

«Мы живем под новым созвездием — Вопросительного знака»; «в дни, когда пишутся эти строки, никакое точное и последнее суждение не может быть вынесено...», — писал Осоргин. Он не знал, чем закончится его книга, и справедливо замечал, что «у таких книг не может быть конца». Предвидел, что Европа должна измениться. Т.А. Бакунина вспоминала: «Когда Михаил Андреевич вернулся в Москву в 1916 году, он написал статью о будущих штатах Европы. Редакция вернула ему статью, сказавши: “Ну это Вы слишком”»*. Эту же мысль о «федерации, роде соединенных штатов Европы» он развивал и в 1939 году, после нападения фашистов на Польшу, когда Англия и Франция объявили Германии войну**. Теперь некоторые, весьма туманные надежды он возлагал на то, что в муках войны разовьется новое сознание. Ему хотелось верить в то, что Россия, превратившаяся в советские годы в «страну политического террора» и «рабского труда», все-таки преодолеет «большевизм — явление временное, глубоко чуждое культуре русской, гуманистической и пронизанной духом независимости, терпимости, жертвенности, самоотречения» (ПОН).

Для Осоргина были важны вопросы, которые казались несущественными реальным политикам его времени. Он считал, что война привела человечество к «великому пересмотру» представлений о мироздании.

* Из письма Т.А. Бакуниной от 13 января 1990 г. автору статьи.

** *Осоргин М.* Листки блокнота. О будущем // Последние новости. 1939. 13 ноябр. № 6804.

Осоргин отрицал существование прогресса, который, с его точки зрения, являлся лишь «философской фикцией», «жалкой выдумкой», «пошлым палачеством». Обманчивы красивые слова о прогрессе, о «счастье грядущих поколений», которое якобы важнее благополучия в настоящем. Война обнажила, сделала очевидным общественный круговорот лжи. По его мнению, возможен не прогресс, а «вечное обновление», если «возвращать земле то, что она теряет».

Самодержавный строй лишь изменил личину — подчеркивал Осоргин, — гитлеризм и большевизм, основанные на праве силы, уничтожающие свободу личности, — это по сути прежние, лишь видоизмененные политические деспотии.

Будущее представлялось ему грозным. Человечество может превратиться в подобие муравейника: оно идет к «всеобщему счастливому рабству, атрофии мысли и воли, механизации движений, отмене чувств» — считал он (ТМФ). Мир завоеван технократией, превращен в «царство железного лома». Впрочем, свои выступления против «механизированного безумия» он сравнивал с борьбой против ветряных мельниц.

Осоргин не раз говорил и писал о «принципе вечного искания ненаходимой истины». Для него нет вечных истин и абсолютной правды, есть лишь «сеть вопросов», в которых бьется живая мысль. Исходная точка его поисков — «великое сомнение». XX век — время заката идей, которыми жили несколько поколений. Лишь одна «искра правды» для писателя оставалась неизменной — «право личности на свободное ее самоопределение» (ТМФ).

Его путь в литературе и в жизни — внерелигиозен. Но с религиозной верностью он относится к стержню своего миропонимания: свобода личности — «выше

человеческого, она элемент божественного в человеке» (ПОН).

Цель общества, о котором мечтал Осоргин, — утвердить свободу личности, обуздав при этом экономическую свободу, приводящую к социальному неравенству: «Свобода обогащения означает право немногих лишать миллионы людей возможности сносного существовании» (ПОН).

Осоргин считает, что в дни войны, когда человек лишен свободы, особенно важно остаться самим собой: «...Единственная задача наших дней: спасти себя, свою сущность, каким бы испытаниям ни подвергла нас судьба». Он готов «предпочесть смерть духовной несвободе»: «Ответом ужасу нашего времени может быть только героизм личности» (ПОН) и надеется, что примат свободы личности, который в последние годы его жизни стал «смешным пережитком», снова вернется в общественное сознание, пусть как «ересь»: «Гений будущего откроет то, что знал простачок прошлого» (ТМФ).

В трагическое повествование Осоргина нередко «впутывается юмор», скорее, по его собственной характеристике, «нервный смех». В дни войны «вянут» не только человеческие души, но и шутка, спасавшая «только до той поры, пока не начнут сами собой сжиматься кулаки», — сетовал он.

В Шабри он писал слово «Тоска» с большой буквы, придумывая гнетущему его чувству все новые эпитеты: «неизбывная», «огромная», «липкая», «непросыхающая»: «Тоска не ушла, ей уйти некуда, она в нас». Говорил о «реке печали», об «убийственном унынии», о «боли от страдания», которая «одинаково легко выражается немецким лаем и французской напевностью; я предпочитаю язык русского чертыхания» (ТМФ).

Иногда ему казалось, что жизнь прошла бесполезно: «Я написал в своей жизни много книг. Перебирая их в памяти, сознаю ясно, что ни одна из них не нужна наступающему новому времени. Зачем же я старался?» (ТМФ), и все же пытался держаться, ведь невосполнимые потери несли все, кто его окружал: «Я замолкаю, узнав, что <...> мой знакомый не имеет сведений о своих сыновьях».

Русские писатели XX века не раз спорили с тютчевскими строками: «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые...». «Насмотрелись мы на эти “роковые”...», — говорил Б.К. Зайцев. Осоргин еще резче отзывался об «ужасной оскомине на душе от всех этих “исторических событий”». Вспоминая строки Тютчева, он восклицал: «Какой вздор! Такой человек глубоко несчастен! Да будут прокляты роковые минуты...» (ТМФ), подчеркивал, что в XX веке «роковые» минуты превратились в «роковые» года и десятилетия. Впрочем, и его прогнозы были весьма пессимистичными: «...Наш потомок, которому придется неизмеримо солонее нашего, скажет: “Господи, из-за таких пустяков они волновались! Из-за бомб, от которых можно спрятаться под землю. Из-за сумасшедшего, который испоганил только часть земли и только на десяток лет. А вот пожили бы в мое время, в его роковые минуты”!»*.

В 1939 году Осоргин писал о любимых им Марке Аврелии и авторе Экклезиаста: «Сколько доброты и сколько надежд в их полнокровном и ласковом пессимизме»**. И в «Письмах о незначительном» настаивал, что пессимизм нуждается в защите, потому что именно опасения несчастья и гибели

---

* Из письма Осоргина А.И. Бакунину от 15 октября 1941 г. // Cahiers du Monde. 1984.

** *Осоргин М.* Литературные размышления // Последние новости. 1939. 6 февр. № 6524.

создали цивилизацию. Последние книги Осоргина несут в себе не только печаль, но и любовь ко всему живому — природе и человеку. «Люди несчастны — надо их жалеть, — считал Осоргин. — Не «человечество», а отдельного человека. Ему, дураку, трудно сейчас жить. А он, может быть, и не так уж виноват»*.

О.Ю. Авдеева

* Из письма Осоргина к А.В. Бахраху от 25 февраля 1940 г. Cahiers du Monde. 1984.

ХРОНИКА ЖИЗНИ М.А. ОСОРГИНА

1878, *7 октября* — родился в Перми. Отец — Андрей Федорович Ильин, мать — Елена Александровна Савина.

1888 Поступление в гимназию.

1896 Первые публикации: некролог в газете «Пермские губернские ведомости» и рассказ «Отец» в «Журнале для всех».

1897 Окончание гимназии. Поступление на юридический факультет Московского университета. Начало журналистской работы в провинциальной печати.

1902 Окончание университета. Начало работы помощником адвоката.

1903 Публикация трех брошюр и предисловия к сборнику стихов В.А. Монина.

1904 Начало работы в партии эсеров.

1905, *18 декабря* — арест и заключение в Таганскую тюрьму.

1906 Работа в тюрьме над переводом книги Э. Доллеанса «Роберт Оуэн».

Май — освобождение из тюрьмы. Отъезд в Хельсинки, потом в Италию (Сори).

1907 Сотрудничество в русских журналах и газетах. Публикация «Картинок тюремной жизни» в журнале «Русское богатство». Отъезд в Париж.

1908 Публикация статей в ежедневной газете «Руль». Возвращение в Италию (Сори, Кави, Рим).

Апрель - сентябрь — сотрудничество в «Русских ведомостях».

1909, *ноябрь* — начало регулярной работы корреспондентом в «Русских ведомостях». Первая публикация в журнале «Вестник Европы». Организация экскурсий русских народных учителей по Италии.

1910 Статьи о процессе Тарновской в «Русских ведомостях». Публикация предисловия к итальянскому переводу книги В. Короленко «Бытовое явление».

1911 Статьи о процессе итальянской каморры. Первая поездка по Балканским странам. Работа над книгой «Современная Италия». Публикация статьи в память Л.Н. Толстого в «Известиях областного комитета заграничной организации эсеров».

1912 Вторая поездка на Балканы в качестве военного корреспондента.

1913 Публикация книги «Очерки современной Италии».

1916 Возвращение в Россию через Францию, Англию, Скандинавские страны. Поездка по волжским городам, потом по Каме в Пермь (на открытие Пермского университета).

1917 Поездка на Западный фронт. Возвращение в Москву незадолго до Февральской революции. Публикация двух брошюр и первой художественной книги «Призраки». Сотрудничество в газете «Власть народа». Участие в образовании Московского союза писателей (сопредседатель) и Союза журналистов (председатель).

1918 Сотрудничество во многих периодических изданиях. Публикация книги «Сказки и несказки». Участие в организации библиотеки писателей.

1919 Арест. Пять дней в «Корабле смерти» на Лубянке. Освобождение по ходатайству Союза московских писателей. Членство в обществе «Studio Italiano».

1920 Создание и собирание рукописных книг для библиотеки писателей.

1921 Перевод пьесы К. Гоцци «Принцесса Турандот» для театра Евг. Вахтангова. Публикация книги «Из маленького домика» (Рига). Членство во Всероссийском комитете помощи голодающим.

1921, *26 августа* — арест вместе со всеми членами Комитета.

Ноябрь — ссылка в Казань.

1922 Один из редакторов «Литературной газеты» (Казань).

Весна — возвращение в Москву.

Осень — высылка за пределы Советского Союза. Жизнь в Берлине. Сотрудничество в газете «Дни» и в журнале «Современные записки».

1923 Две поездки в Италию.

Осень — устройство жизни в Париже. Сотрудничество во многих периодических изданиях. Начало регулярной

работы в газете «Последние новости». Начало публикации воспоминаний в журнале «На чужой стороне».

1924 Публикация первых глав романа «Сивцев Вражек» («Дни») и некоторых воспоминаний в журнале «Окно».

1925 Публикация политических статей об эмиграции. Разрыв отношений с А.Ф. Керенским и газетой «Дни».

1926 Длительное пребывание в Италии. Публикация рассказов в журнале «Перезвоны» (Рига) и глав из романа «Сивцев Вражек» («Современные записки»).

1927 Возвращение к сотрудничеству с газетой «Дни».

1928, *январь – июнь* — редактор литературной страницы газеты «Дни»

Февраль — издание романа «Сивцев Вражек» в Париже.

Осень — выход сборника рассказов «Там, где был счастлив» (Париж). Начинается публикация цикла «Заметки старого книгоеда» в газете «Последние новости».

1929 Публикация книги «Вещи человека» (Париж). Второе издание романа «Сивцев Вражек».

1930 Публикация перевода романа «Сивцев Вражек» в Англии, а затем в Америке, где этот роман был назван лучшей книгой иностранного автора клубом «Книга этого месяца». Осоргин получил от клуба денежную премию и купил участок земли в Сент-Женевьев де Буа.

1931 Публикация в Париже книг «Повесть о сестре» и «Чудо на озере». Поездка в Прагу.

1932 Публикация книги «Свидетель истории» (Париж) и глав из «Книги о концах» в газете «Последние новости». Начало публикации серии статей «Письма обитателя» (там же).

1933 Начало публикации серии статей «Встречи» («Последние новости»).

1934 Начало публикации цикла «Старинных рассказов» в «Последних новостях» и газете «Сегодня» (Рига).

1935 Продолжение публикации «Старинных рассказов». Издание романа «Книга о концах» (Берлин). Публикация первых глав повести «Вольный каменщик» в «Современных записках».

1937 Издание повести «Вольный каменщик» (Париж). Начало работы над серией статей «Литературные размышления». Статья «Убийство по суду» в «Русских записках» (Париж).

1938 Выход сборников рассказов «Повесть о некоей девице» (Таллинн) и «Происшествия зеленого мира» (София). Начало публикации книги «Времена» в «Русских записках». Публикация статей в журнале «Bonniers Litterara Magasin» в Стокгольме.

1939 Серия статей «Листки из блокнот» в «Последних новостях». Подготовка цикла рассказов «По поводу белой коробочки» для издания их отдельной книгой (издана посмертно в 1947 г.).

1940, *июнь* – отъезд из Парижа. Жизнь в Шабри (департамент Энгр, свободная зона Франции). Начало сотрудничества в газете «Новое русское слово» (Нью-Йорк). Работа над книгой «В тихом местечке Франции».

1941 Публикация в Нью-Йорке статей под названием «Письма о незначительном» и «Письма из Франции».

Конец июня – арест на два дня после начала военных действий между Германией и Советским Союзом. Окончание работы над книгой «Времена».

1942 Публикация книги «Времена» (третьей части) в «Новом журнале» (Нью-Йорк).

27 ноября – умер от сердечного приступа в Шабри. Там же похоронен



Примечания



Сокращения и условные обозначения, принятые в разделе «Примечания»

Воспоминания — *Осоргин Мих.* Воспоминания. Повесть о сестре / Сост., вступ. статья и примеч. О.Г. Ласунского. Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-та, 1992.

Заметки старого книгоеда — *Осоргин М.А.* Заметки старого книгоеда / Сост., вступ. статья и примеч. О.Г. Ласунского. М.: Книга. 1989.

Мемуарная проза — *Осоргин Мих.* Мемуарная проза / Сост., предисл. и примеч. О.Г. Ласунского. Пермь: Изд-во «Пермская книга», 1992.

Свидетель истории. Книга о концах — *Осоргин Мих.* Свидетель истории. Книга о концах. / Сост., примеч., вступ. статья О.Ю. Авдеевой. — М.: НПК «Интелвак». 2003.

Собр. соч. (с указанием тома) — *Осоргин Мих.* Собр. соч. / Сост., послесл. и коммент. О.Ю. Авдеевой. — М.: Моск. рабочий; НПК «Интелвак», 1999.

ВРЕМЕНА

Печ. по: *Осоргин Мих.* Времена. Париж: Imprimerie ALON, 1955. 186 с.

Впервые: Русские заметки. Париж. 1938. № 6, 7, 10; Новое русское слово. Нью-Йорк. 1942. 20 дек., № 10894; Новый журнал. Нью-Йорк. 1942. № 1–5; Честный слон. Париж. 1945. 21 апр., № 8.

«Времена» вошли в состав сборника произведений Осоргина, выпущенного в издательстве «Современник» в 1989 г. В тексте этого издания допущена досадная ошибка, а именно: предисловие Осоргина к роману «Свидетель истории» опубликовано как заключение мемуарной книги «Времена», что исказило ее смысл, поставило под сомнение — как бы устами самого Осоргина — подлинность описываемых им событий.

См. также: *Осоргин М.*. Времена: Романы и автобиографическое повествование / Сост. и примеч. Е.С. Зашихина. Екатеринбург: Среднеуральское кн. изд-во, 1992. 608 с.

С. **8.** *...Герасим Грачевник...* — 4/17 марта. По народной примете в день памяти преподобного Герасима из теплых стран возвращаются на север первые весенние птицы — грачи. Существовал обычай печь хлебы в виде грачей.

...дом был угловым. - Дом, где родился Осоргин, стоял на главной улицы города Перми — бывшей Симбирской.

С. **9.** *...остался сыном матери — реки...* — Осоргин много писал о своем «водном патриотизме», о любви к Каме. См.: *Осоргин М.* Письма о незначительном. 1940–1942. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова. 1952. С. 115; См. также его рассказы-воспоминания: «Реки» (*Воспоминания.* Повесть о сестре.

Впервые: 1936) и «Кама» (*Мемуарная проза.* Впервые: 1927): «Телом здесь — мыслью там. С легких бы мостков — вниз головой... Но далек тот берег...» («Кама». С. 139). Примечательно, что Василий Каменский, тоже пермяк, поставил на своем стихотворении, адресованном земляку, посвящение: «Осоргину — будем помнить сердцем Каму» (*Каменский В.* Звучаль веснянки. Стихи. М.: Китоврас. 1918. С. 68).

С. **10.** *...родился в глубокой провинции...* — Михаил Андреевич Ильин (псевд. Осоргин) родился в Перми 7 октября 1878 г. Ильины приехали в Пермь в 1873 г.

С. **11.** *...скат к речке Егошихе.* — См. также рассказ Осоргина «Егошиха» (*Мемуарная проза.* Впервые: 1934).

...частный хутор... моей крестной матери Марьи Павловны. — Имеется в виду М.П. Керен. См. о ней рассказ Осоргина «Известные по качеству» (*Мемуарная проза.* Впервые: 1934).

С. **12.** *...мой отец был членом окружного суда по уголовному отделению...* – Об отце писателя Андрее Федоровиче Ильине (1833–1891) см. рассказ Осоргина «Дневник отца» (*Собр. соч.* Т. 1. Впервые: 1927).

С. **15.** *...мать, хоть и институтка, была достаточно образованной...* — матери, Елене Александровне Савиной (1840–1906), посвящен рассказ Осоргина «Портрет матери» (*Собр. соч.* Т. 1. Впервые: 1927).

...У меня были три сестры и брат... — Ольга (в замуж. Разевиг), Вера (замужем не была), Нина (в замуж. Франке) и Сергей Ильины. См. также примеч. к с. 40.

С. **16.** *...моя старшая любимая сестра...* — Ольга Андреевна Ильина — стала прототипом героини «Повести о сестре», вышедшей отдельным изданием в Париже (*Собр. соч.* Т. 1. Впервые: 1931). См. также рассказ «Сестра» (*Мемуарная проза.* Впервые:1928).

...дверь Таганской тюрьмы в Москве... — Осоргин был арестован 18 декабря 1905 г. См. его статью: Картинки тюремной жизни (из дневника 1906 г.) // Русское богатство. СПб., 1907. № 11–12.

С. **17.** *...профессор Зверев увлекательно говорил о свободе воли...* — Николай Андреевич Зверев — историк и философ права, с 1898 г. — товарищ министра народного просвещения. Осоргин писал о нем: «Маленький, живой, щуплый, бойкий на язык, но большого доверия не внушающий. Энциклопедия права — предмет интересный, и он умел его оживить. Полгода его слушали, во второй половине он наскучивал. Расстались с ним без особых слез» (Профессора. *Воспоминания.* С. 64. Впервые: 1933).

...человек, теряя приятные иллюзии, вырастает в стоеросовый кантовский императив... — Речь идет о центральном принципе этики немецкого философа Иммануила Канта (1724—1804). Категорический императив — внутреннее повеление: поступать всегда согласно принципу, который мог бы стать и всеобщим законом (*Кант И.* Сочинения. Т. 4. М., 1965. С. 260, 270). Это положение Канта о долге, всеобщей морали, которые и определяют поведение людей, не раз пытался оспорить Осоргин. Он писал, например: «Малейшая стесненность моей личной свободы вызовет во мне отталкивание. Ради коллектива я откажусь от многого, — но откажусь сам, добровольно, а не по принуждению. И не из чувства “долга”, а по естественному побуждению. Чувство “долга” — низкое, рабское чувство; кантов нравственный критерий возбуждает во мне брезгливость» (Cahiers du Monde Russe et Sovietigue. Vol. XXI (2—3). Apriel — Septembre 1984. Paris). Эту мысль Осоргин развивал в докладе на торжественном собрании масонской ложи Северная Звезда: «Вынуждая себя, я, по меньшей мере, рискую накопить в себе протест и раздражение против того, что заставляет меня налагать цепи на свою волю. Жертвенность — не лучшее из душевных движений, самоотречение — идеал монашества, а не Братьев Каменщиков. Выше их — душевная склонность, естественность именно такого, а не иного поведения, источник которой не в долге, а в любви» (*Осоргин Мих.* Вольный каменщик за стенами храма // Доклады и речи. Париж. 1949. С. 43).

С. **17.** *Моя жизнь... ветвилась кустом спиреи...* — Спирея — латинское название таволги, растения с белыми или розовыми цветами-зонтиками. Распространено на Урале.

С. **19.** *...зернь при Грозном...* — азартная игра в кости (с белой и черной сторонами). См.: *Пыляев М.И.* Старое житье. СПб., 1897.

...в фараон,...в банк,...в железку,...в вист,...в преферанс,...в винт,...в короли,...в зеваки,...в подкидные дурачки,...в акульку... — Перечислены азартные карточные игры.

...барон Зальца. — Один из героев рассказа Осоргина «Известные по качеству» (*Мемуарная проза.* Впервые: 1934).

С. **20.** *...Вот опять угобжена...*— одарена, наделена, обогащена. От старорусского слова «угобжать».

С. **23.** *«Робинзон в русском лесу».* — Речь идет о книге: *Качулкова О.* Робинзон в русском лесу. Рассказ для детей. СПб.: Невская кн. торговля, 1881. 295 с., с илл.

С. **24.** *Лорд Фаунтлерой.* — Герой романа американской писательницы Френсис Элизы Бёрнетт «Маленький лорд Фаунтлерой» (1886, рус. пер. 1889).

С. **26.** *...базилика Константина...* — один из выдающихся памятников архитектуры Италии. Строительство базилики окончено в 315 г. при императоре Константине.

...Сафонов, без дирижерской палочки, пальцами и кулаками управлял оркестром, который играл симфонию Чайковского... — Василий Ильич Сафонов (1852—1918) — русский пианист и дирижер, профессор Московской консерватории, главный дирижер симфонических концертов Русского музыкального общества и Нью-Йоркского филармонического общества. Ввел в музыкальную практику дирижирования без палочки.

С. **27.** *...когда Марк Твэн показал журналисту висевший на стене портрет мальчика, ...его брата, и сказал: «Бедный Вилли!»* — Речь идет о рассказе Марка Твена «Разговор с интервьером».

С. **28.** *...его Анны и Станиславы...* — российские ордена, дававшие право на личное дворянство.

...У него было имение... Он рассказывал мне... о наших уфимских землях, о степях, о Бугуруслане. — У А.Ф. Ильина было небольшое именье в сельце Осоргино недалеко от Уфы, от которого он отказался в пользу матери и сестер.

...подарил мне сочинения Аксакова... — Имеется в виду полное собрание сочинений Сергея Тимофеевича Аксакова (1791—1859), вышедшее в 1886 г. (в 6 т.).

...С Аксаковым мы были в родстве... — Михаил Ильин был в родстве с Аксаковыми по линии отца, А.Ф. Ильина. Осоргин вспоминал, что в аксаковской «Семейной хронике» «отец пояснял мне каждую страницу, а про имена говорил: "Вот этого я знал, а эти были нашими соседями"» (Кузины. *Мемуарная проза.* Впервые: 1933). См. также исследования уфимских краеведов: *Сатаева Л.В.* Духовная связь поколений: Аксаковы и Осоргин // Аксаковский сборник. Уфа, 1998. Вып. 2; *Лобанова Г.И.* «С Аксаковыми мы были в родстве...»: М.А. Осоргин и С.Т. Аксаков // Аксаковские чтения. Духовное и литературное наследие семьи Аксаковых. Материалы междунар. науч.-практ. конф. 28—29 сент. 2001 г. Уфа, 2001. Вып. 1. и др.

...мой интерес к «Багрову-внуку» — речь идет о книге С.Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука».

С. **29.** *...Дёму я увидал в тот год...* — Осоргин рассказывал, как замирает его сердце, «воспитанное Аксаковым». Строки о реке Дёме, как и многие страницы Аксакова, он цитировал наизусть (*Мемуарная проза.* С. 122. Впервые: 1933).

С. **34.** *...старики Нагаткины.* — Аксинья Степановна Нагаткина, дочь Степана Михайловича Багрова была одной из героинь «Семейной хроники» Аксакова. В запасниках Национального краеведческого музея в Уфе в 2002 г. найдены портреты родственников отца Осоргина: его сестры Александры Федоровны Нагаткиной и ее мужа, поручика Василия Борисовича Нагаткина (племянника С.Т. Аксакова). Они были совладельцами села Осоргино.

С. **34.** *...мою родную бабушку, родом Осоргину, фамилия которой позже присоединилась к моей родовой.* — М. Алданов в предисловии к книге М. Осоргина «Письма о незначительном» (Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952) отмечал: «Подписывался он “Осоргин”. В документах значился под двумя фамилиями: сначала Ильин и в скобках Осоргин, затем наоборот. Позднее остался Осоргин — просто. Под этим именем он и умер, но перед смертью выразил желание, чтобы в надгробной надписи значились обе фамилии. Эта его воля была выполнена». Осоргин писал в рассказе «Земля»: «В мое время считалось неприличным заниматься предками: сословные предрассудки... Придя из стран варяжских, воевали они, конечно, недолго: осели на земле; одни жили близ Мурома в своих деревнях, другие спустились пониже и повернули к востоку, к степям и к монголам» (*Собр. соч.* Т. 1. С. 401—402. Впервые: 1929). См. также: *Лихачев Н.П.* Грамоты рода Осоргиных. СПб., 1900.

Пьяный бор — пристань на Каме, неподалеку от впадения Белой. См. рассказ Осоргина «Пьяноборские раки» (*Мемуарная проза.* Впервые: 1930): «Придумать такое имя: Пьяный Бор! На ветру верхушки пихт и елей шатаются, как пьяные, и воздух пьян, и ручьи, и белки, и папоротник, и мелколистая заячья капуста — всё пьяно» (С. 246).

С. **36.** *...в кругу множества моих кузин и кузенов...* — См. рассказ Осоргина «Кузины» (*Мемуарная проза.* Впервые: 1933).

С. **37.** *Пьяццетта* — площадь в Венеции.

С. **38.** *...тот же самый портрет я вижу на обложке книги, изданной о «вещах человека»...* — См.: *Осоргин Мих.* Вещи человека. Портрет матери. Дневник отца (Париж: Родник, 1929). См. илл. в кн.: *Собр. соч.* Т. 1.

С. **40.** *Брат был по-настоящему... музыкален...* — Сергей Андреевич Ильин (1867—1914) много лет являлся «душой пермского общества»: старшиной музыкального кружка, устроителем балов в городе. Сотрудничал в «Пермских губернских новостях». См.

нем статью О.Г. Ласунского в кн.: *Мемуарная проза.* С. VIII–XI. В приложении к книге опубликована поэма С.А. Ильина «Песня о ныробском узнике». См. также кн.: Прогулки по старой Перми: Страницы городского фельетона конца XIX – начала XX века. Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 1998. С. 271–272.

С. **40.** *...про Ваньку-ключника...* – популярная народная баллада, имевшая много вариантов. Долгое время баллада считалась запрещенной. «Злым разлучником» ее герой был назван В.В. Крестовским.

...в знаменитой тюремной песне «Как дело измены...» – автор музыки П.П. Сокальский, слов – И.И. Гольц-Миллер.

С. **41.** *...вальс «Невозвратное время»* – автор музыки Ф.В. Богуславцев, слов – А.М. Невский.

С. **42.** *...как протекали анабазис и катабазис...* – отглагольные существительные в древнегреческом языке, означавшие подъем и спуск.

...«андра мой эннепе»... – начальные слова поэмы Гомера «Одиссея», данные в русской транскрипции.

...«не лѢпо ли ны бяшеть» – первая строка «Слова о полку Игореве».

...был прасолом. – Прасол – торговец, перекупщик мяса, сала, вообще скота.

С. **43.** *...будущий профессор истории Николай Рожков.* – Речь идет о Николае Александровиче Рожкове (1868–1927), историке, политическом деятеле, профессоре.

С. **44.** *Святополк Окаянный* (ок. 980–1019) – с 1015 г. киевский князь. Убил трех своих братьев. Изгнан из Киева Ярославом Мудрым.

...Фарес и Зара. – близнецы, дети Иуды и его невестки Фамари, которую он принял за блудницу (Быт., 38).

...святая Ольга мне даже понравилась...– Супруга киевского князя Игоря. Хитростью победила врагов, жестоко отомстив им за смерть мужа. Главным делом своей жизни считала Христово благовестие на Руси, построила первые христианские храмы в Киеве, Пскове, Витебске. Церковь причислила Ольгу – первую из россиян – к лику святых.

С. **45.** *...В так называемой конторе Аванесова.* — Варлаам Александрович Аванесов (1884–1930) с 1920 г. был одним из руководителей ВЧК. Осоргин писал: «В Москве знают, что это за контора, и дрожат при ее имени: предварительная камера Особого Отдела при ГПУ, тогда еще Всероссийской Чека» (О Борисе Зайцеве. *Воспоминания.* С. 240. Впервые: 1926).

Б.К. Зайцев вспоминал о пребывании на Лубянке: «Мы вошли в довольно большую комнату с двумя цельного стекла окнами. Надпись на стекле, глядевшую в переулок, можно было прочесть и отсюда: “Контора Аванесова”. Теперь в конторе нары. Их ненадолго занимали случайные постояльцы. Здесь перст Судьбы сортировал: жизнь — смерть, смерть — жизнь» (*Зайцев Б.К.* «Веселые дни». 1921 г. // *Зайцев Б.* Собр. соч.: В 5 т. Т. 6 (доп.). Мои современники: Воспоминания. Портреты. Мемуарные повести. М.: Русская книга, 1999. С. 133). См. об этом и воспоминания издателя М.В. Сабашникова (Источник. Документы русской истории. Вестник архива президента Российской Федерации. 1999. № 1. С. 63).

...Хотелось умереть от отвращения к глупому обезьяньему миру... — метафорический образ, развернутый Осоргиным в рассказе «Обезьяний городок» (1918). Позже он был включен в роман «Сивцев Вражек». Ср.: «Нельзя же сердиться на обезьяну, которая посадила нас в клетку и думает, что она умная, дело делает» (*Осоргин М.* Чтобы лучше ощущать свободу (Из «Воспоминаний») // На чужой стороне. 1924. № 8).

С. **46.** *...Малинины, Буренины и Евтушевские* — авторы наиболее распространенных гимназических учебников по математике: Александр Федорович Малинин, Константин Петрович Буренин, Василий Андрианович Евтушевский.

Пенитенциарная система — порядок отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы (от лат. poenitentia — раскаяние).

С. **47.** *...профессор повернулся на каблуках к всемилостивейшему портрету...* — на открытии Пермского

университета выступал товарищ министра просвещения, зоолог по профессии, В.Т. Шевляков (см.: Пермская земская газета. 1916. № 39. 1 окт.). См. статьи Осоргина «Пермский университет» и «Открытие университета в Перми» // Русские ведомости. 1916. 14 окт., № 237; 16 окт., № 239. Осоргин вспоминал: «Торжественную речь произнес ректор петербургского университета. При словах “волею нашего монарха” он повернулся на каблуках к портрету с такой грацией, что я тоже повернулся на каблуках и вышел, опасаясь неожиданно для себя грянуть “Боже, царя храни”» (*Осоргин Мих.* По дорогам. *Воспоминания.* С. 196).

С. **47.** *...воздал честь и местному богачу, давшему на благое дело свой дом и свои деньги, как раньше он охотно жертвовал на организацию революционного террора...* — Речь идет о Николае Васильевиче Мешкове (1851—1933), пермском промышленнике и меценате. Осоргин писал о нем: «Н.В. Мешкова, миллионера и революционера, я знал давно, чуть ли не с детства» (*Воспоминания.* С. 196. Впервые: 1933). См. о нем статью Осоргина в «Русских ведомостях» (1916, 14 и 16 октября, № 237, 239). См. также: *Рабинович Р.И.* Опальный миллионер. Пермь, 1990.

Сасанидские блюда — династия Сасанидов возглавляла государство, существовавшее в III—VII вв. на Ближнем и Среднем Востоке.

...как чествовали в клубе заезжего Михайловского. — Речь идет о Николае Константиновиче Михайловском (1842—1904), социологе, публицисте, литературном критике. См. статью Осоргина: «Про Бабушку» и «По городам». (*Воспоминания.* Впервые: 1929).

С. **49.** *По крыше дома в Чернышевском переулке...* — Чернышевский пер., д. 11 — последний московский адрес Осоргина: «Окна в нижнем этаже направо от крыльца», — вспоминала Т.А. Бакунина (письмо от 26 января 1991 г.). О суровой жизни в Чернышевском переулке Осоргин рассказывал с умилением: «Тогда мы стали приучаться добывать немыслимое, готовить и есть несъедобное, топить печурки пар-

кетом и письменными столами и освещаться склянкой с керосином, в которую пропускался через пробку шнурок от башмаков. Жизнь была утомительна, но и замечательна. Еще старалась быть независимой печать, еще не утратило смысла слово "товарищ"...» (*Осоргин Мих.* Человек в пенснэ // Последние новости. 1938. 9 мая. № 6252).

С. **49.** *...в списке народных комиссаров — уфимское имя.* — Речь идет о Александре Дмитриевиче Цюрупе (1870—1928), который с 1918 г. был наркомом продовольствия. С ним и со своими племянниками Осоргин встречался осенью 1916 г. в Уфе (*Осоргин Мих.* По городам. *Воспоминания.* Впервые: 1933).

С. **50.** *...Когда я был в Черногории...* — См. статьи Осоргина «В некотором царстве» (*Воспоминания.* Впервые: 1926) и «На маленькой войне» (*Воспоминания.* Впервые: 1936).

С. **51.** *...фотографии Анкгорских храмов...* — На территории современной Ливии находились греческая, а потом римская колонии. Там, в районе Агоры, сохранились живописные развалины (храмы Аполлона, Артемиды, театр, термы и др).

С. **53.** *Буква «ять»...* — одна из четырех букв русского алфавита, которая была изъята из употребления по декрету от 10 октября 1918 г.

...до Стефана Яворского. — Стефан Яворский (1658—1722) — русский церковный деятель, писатель. В 1700—1721 гг. — местоблюститель патриаршего престола.

С. **55.** *...цель жизни есть сама жизнь!* — См. рассказ Осоргина «В юности»: «...когда стал совсем взрослым, я понял, что на путях познания задач человеческого бытия — малым, а то и ничем не отличается "великий философ" от желторотого провинциального гимназиста. Только говорит складнее, а барахтается в той же самой неразберихе» (*Мемуарная проза.* С. 156. Впервые: 1930).

С. **57.** *Володя Ширяев* — в рассказе «Пятерка» (*Мемуарная проза.* Впервые: 1937) Осоргин называет друга юности — Володя Шаров, «сын жандармского генерала». По сведениям Адрес-календаря

Пермской губернии на 1899 г. начальником Пермского жандармского управления был тогда полковник К.И. Широков.

С. **60.** *...мой первый роман...* — см. об этом рассказ Осоргина «В юности».

С. **62.** *...похоронен тут бригадир...* — офицерский чин в русской армии в XVIII в., промежуточный между полковником и генерал-майором.

...лестница, треугольник, слитые в пожатии руки, череп и кости, пятиконечная звезда — масонские знаки.

С. **63.** *...Маркс — издатель «Нивы».* — Адольф Федорович Маркс (1838–1904) выпускал журнал «Нива» (1870–1918) и в приложение к нему собрания сочинений русских и иностранных писателей.

С. **64.** *...посвященные Екатерине стихи.* — Речь идет о стихотворении Алексея Николаевича Апухтина «Недостроенный памятник» (1871).

В этом рассказе... — Рассказ Осоргина «Отец» был опубликован под псевдонимом М. Пермяк в «Журнале для всех» (1896, № 5).

...в местной нашей газете — трогательный некролог. — *Ильин М.* На могиле воспитателя. Несколько слов по поводу смерти Ю.Х. Линке // Пермские губернские ведомости. 1895. 28 мая. (См.: *Осоргин М.А.* Московские письма. 1897–1903 / Сост., послесловие и коммент. Е. Власовой. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2003).

С. **66.** *В Асю я был влюблен...* — об отношении к героине повести Тургенева «Ася» см. также рассказ Осоргина «Кама» (*Мемуарная проза.* Впервые.: 1927). Осоргин подчеркивал, что «всем, что было в жизни особенного и святого», обязан книге: «И первой любовью: я любил и сейчас не забыл тургеневскую Асю». (*Осоргин М.А.* Возлюбленной (похвальное слово). *Заметки старого книгоеда.* С. 32).

Великого Инквизитора читал... — Великий инквизитор — глава романа Достоевского «Братья Карамазовы». Осоргин не раз писал о своей нелюбви к Достоевскому. См., например: *Осоргин Мих.* Лите-

ратура для себя. Из цикла: Литературные размышления // Последние новости. 1938. 14 февр. № 6169.

С. **67.** *...в московских студенческих Гиршах и Палашах.* — В конце XIX — начале XX вв. это был московский «Латинский квартал», «центр обитания интеллигентной бедноты», где жили в основном студенты. Расположены в районе Бронных улиц и переулков (Палашевский, Козихинский до Садового кольца). См. о Гиршах в ранних статьях Осоргина (тогда еще Ильина), опубликованных в «Пермских губернских ведомостях»: «Квартирный вопрос», «Латинский квартал» в его кн: Московские письма. Пермь. 2003. «Наш мир, наш квартал, наша жизнь», — тепло вспоминал Осоргин о Гиршах (*Осоргин Мих.* Благословенные дни // Русская земля. Париж, 1928; *Осоргин Мих.* Посолонь // Памяти русского студенчества. Сборник воспоминаний. Париж: Свеча, 1934). Сам Осоргин жил в университетские годы на Бронной улице, в деревянном флигеле во дворе.

С. **71.** *...«Как мог Иона не задохнуться в чреве китовом?»* — Ион., 2.

С. **74.** *...тургеневские «Сенилия»* — стихотворения И.С. Тургенева в прозе, написанные им в 1877—1882 гг., во время болезни, незадолго до кончины. Поэтому писатель назвал их «Senilia», что по латыни значит «старческое». М.М. Стасюлевич, редактор журнала «Вестник Европы», переименовал поэтические миниатюры Тургенева. Его название — «Стихотворения в прозе» — сохранилось.

С. **79.** *...один раз я поцеловал руку Катеньке...* — См. рассказ Осоргина «Катенька» (*Мемуарная проза.* Впервые: 1928).

С. **83.** *...не было даже велосипедов...* — Молодой журналист Мих. Ильин писал в 1899 г. в «Пермских ведомостях»: «...в Перми велосипедная болезнь только еще начинается, тогда как здесь <в Москве> она уже в полном разгаре» (*Осоргин М.* Чем живет Москва // *Осоргин М.* Московские письма. Пермь. 2003. С. 53).

С. **84.** *«Георгики» Вергилия.* — Марон Публий Вергилий (70–19 до н.э.) — римский поэт. Автор дидактической поэмы «Георгики» («Поэма о земледелии», 36–29 до н.э.). В «Литературных размышлениях» Осоргин называл Вергилия «родоначальником воспевателей природы», но отмечал, что «земля для него — враг, которого нужно побеждать неустанным трудом» (*Осоргин Мих.* Карел Чапек — садовод // Последние новости. 1939. 9 января. № 6496).

С. **89.** *...вышлют, как в позапрошлом году.* — Михаила Ильина, студента Московского университета, выслали в Пермь в феврале 1899 г. Летом он подал ходатайство о восстановлении, которое было удовлетворено.

С. **93.** *...до столовой Троицкой.* — О разрушенной в октябре 1917 г. студенческой столовой Ю.А. Троицкой (Тверской бульвар, д. 28) Осоргин писал: «В скорбный лист погибших достопримечательностей Москвы не забудем внести столовую Троицкой <...>. Ее знал каждый, кто был в Москве студентом и, окончив университет, стал — как полагается — интеллигентным пролетарием <...>. Черный, зияющий ужасом остров, памятник дикости нашей — вот и все, что осталось от дома и приветливых окон» (Власть народа. М. 1917. 14 ноябр., № 160). См. также статьи Осоргина (Благословенные дни // Русская земля. Париж, 1928; Посолонь // Памяти русского студенчества. Сборник воспоминаний. Париж. Свеча. 1934).

...профессор Чупров. — Александр Иванович Чупров (1842–1908), русский экономист, статистик, публицист. Осоргин вспоминал: «...был предмет и был лектор, для которых открывалась актовая зала в старом здании, потому что никакая другая аудитория не могла вместить валившую студенческую толпу. Первая осенняя лекция Александра Ивановича Чунрова считалась событием и праздником... Под гром рукоплесканий всходил на кафедру студенческий кумир, большим и указательным пальцем поправлял очки, мягким баритоном произносил: “Милостивые госуда-

ри!” — Милостивые государи замирали от удовольствия и гордости... У него был непрерывный роман со студенчеством, он был с ним слит, в нем никто и никогда не усомнился. Он был настоящий русский интеллигент в положительном смысле слова...» (*Воспоминания.* С. 64–65. Впервые: 1933). О Чупрове см. статью молодого М. Ильина в «Пермских губернских ведомостях» (1899): «Юридический факультет» // *Осоргин М.* Московские письма. 1897–1903. Пермь: Изд-во Пермского ун-та. 2003. С. 67. См. также: *Осоргин Мих.* Посолонь // Памяти русского студенчества. Париж: Свеча, 1934.

С. **101.** *...скоро на диване в моей приемной стали спать по ночам подозрительные люди...* — См. воспоминания Осоргина: Отец Яков // На чужой стороне. 1923. № 2; Николай Иванович // Там же. 1923. № 3; Неизвестный, по прозвищу Вернер // Там же. 1924. № 4; Венок памяти малых // Там же. 1924. № 6; Девятьсот пятый год // Современные записки. 1930. № 44. См. также романную дилогию Осоргина «Свидетель истории» и «Книга о концах».

С. **103.** *...дневник любовных страданий* — см. примеч. к стр. 12.

Убегая из Парижа... — Осоргин с женой бежали из Парижа 11 июня 1940 г.

Полчища Аттилы захватили город... — Аттила (ум. 453) — предводитель гуннов. Возглавлял опустошительные походы в Восточную Римскую империю, Галлию, Северную Италию. Осоргин не раз сравнивал с гуннами фашистов (*Осоргин Мих.* Письма о незначительном. С. 300).

С. **104.** *Если где-нибудь уцелела хоть часть моего жизненного барахла...* — часть архива Осоргина хранится в Российской государственной библиотеке, в РГАЛИ (по завещанию Т.А. Бакуниной архив Осоргина закрыт), в архиве М. Горького (ИМЛИ РАН) и в других архивах.

Это я, вышедший только что из московской Таганской тюрьмы и скрывавшийся на даче у знакомых... — Осоргин скрывался у своего двоюродного брата Вла-

димира Костенко. В молодости они дружили. В. Костенко — прототип героя рассказа Осоргина «Маленький доктор» (Там, где был счастлив. Париж. 1928).

С. **107.** *Финляндия — прекрасная девушка, у которой двуглавый орел хочет вырвать книгу ее законов.* — Осоргин не раз вспоминал об этой «обязательной» картине, «без которой не могла обойтись ни одна студенческая каморка». Она напоминала о манифесте 1899 г., в котором царь присвоил себе право издавать для Финляндии законы без согласия Сейма, в компетенцию которого до этого времени входило все законодательство по внутренним делам Финляндии. После того как Советский Союз развязал в 1939 г. войну с Финляндией, Осоргин вновь писал: «Прекрасная женщина изображала Финляндию, уважение к автономии которой было обязательным для русского революционера и обычным для всякого передового человека» (*Осоргин Мих.* Листки блокнота. Старые иконы // Последние новости. 1939. 11 декабря, № 6832). См. также: *Осоргин М.* Финляндия. О будущем // Последние новости. 1939. 13 ноябр. № 6804; *Осоргин М.* Финляндия. Из воспоминаний // Новое русское слово. Ежедневная газета. Нью-Йорк. 1940. 6 янв., № 9831).

С. **108.** *Может быть, я даже рассказывал где-нибудь, как по улицам финской столицы бродили русские сыщики, принюхиваясь, не пахнет ли в каком-нибудь подъезде дома динамитом...* — Осоргин рассказывал об этом в дилогии «Свидетель истории» и «Книга о концах».

...однажды пришлось торопливо собраться и погрузиться на пароход, отплывающий к берегам срединной Европы... — из Финляндии в Италию.

С. **111.** *...вилла для небольшой компании русских беглецов.* — См. очерки Осоргина «Товарищи провокаторы» (*Воспоминания.* Впервые: 1933); «Местечко на Ривьере» (Там же. Впервые:1936). Осоргин писал: «...Великая красота Средиземного моря — жидкая лазурь, в малахитовой оираве, с оторочкой

жемчужной пены... А мы занимались статистикой безлошадных, Лавровым, Михайловским и параллелями между православием и социал-демократией» (Неизвестный по прозвищу Вернер // На чужой стороне. 1924. № 4).

С. **111.** *Бедекер* – Карл Бедекер (1801–1856) – немецкий издатель, специализировавшийся на выпуске путеводителей по разным странам. Позднее «Бедекерами» стали называть сами путеводители.

...Италии, роману моей молодости, я посвятил и книги и осколки книг... – Осоргин написал об Италии две книги (Очерки современной Италии. М.: Изд-во И.Н. Кушнеров, 1913; Там, где был счастлив. Рассказы. Париж: Изд-во кн. маг. «Москва», 1928) и множество статей, которые публиковались в газетах «Руль» (в 1904 г. – 25 статей); «Русские ведомости» (в 1911–1917 гг. – 431 статья), в журнале «Вестник Европы» (в 1909–1917 гг. – 36 статей) и во многих других изданиях. См.: Bibliographie des Euvres Michel Ossorguine / Сост. Н. Бармаш, Т. Осоргина, Д. Финн. Paris, 1973. С. 37–57.

С. **113.** *...устраивали «макаронаты»* – от ит. maccheroni – макароны. В рассказе Осоргина «Милое имя – Наташа» героев благославляют «макаронами и фьяской» (Там, где был счастлив. Париж, 1928).

...Коммуну возглавлял старший из нас по возрасту... – Имеется в виду Карл Романович Качоровский (1870–?), экономист, статистик.

С. **114.** *Молодой астроном...* – Речь идет о Всеволоде Владимировиче Лебединцеве (Кальвино) См. о нем: *Свидетель истории. Книга о концах.*

...письмо, написанное накануне казни... – В.В. Лебединцев был казнен за подготовку неудавшегося покушения на министра юстиции И.Г. Щегловитова. Предан военно-полевому суду и повешен в феврале 1908 г. в местечке Лисий Нос. См. также: Осоргин Мих. Письма // Последние новости. 1937. 26 апр. № 5876.

С. **114.** *...друг Серафино.* – См. рассказ Осоргина «Мой бедный Коко» (Там, где был счастлив. Париж, 1928).

С. **115.** *...я жил газетными статьями, которые посылал в Москву.* – Осоргин сотрудничал в «Вестнике Европы», в «Русском богатстве», в «Новом журнале для всех», был постоянным корреспондентом газеты «Русские ведомости». «Эту газету читала и справедливо почитала вся русская интеллигенция, – писал Алданов. – Превосходные корреспонденции Михаила Андреевича (хорошо их помню) обратили на себя общее внимание» (*Алданов М.* Предисловие // *Осоргин Мих.* Письма о незначительном. 1952. С. IX–X).

Осоргин писал о своей работе в «Русских ведомостях»: «Наиболее важными считаю отчеты по командировкам от газеты на процесс Тарновской (около 25-ти статей), каморры (12), серию статей о славянских землях (командировка летом 1911 года, около 20-ти статей), об Итало-турецкой войне (20 статей), о русских экскурсиях в Италию (7 статей из специальной поездки), с Балканской войны 1912 года (26 статей), также ряд работ о современной итальянской литературе (около 10-ти статей)» (Русские ведомости. 1863–1913. Сборник статей. М., 1913. С. 129).

На моем литературном счету несколько изданных книжонок, не стоящих памяти... – См.: *Ильин М.А.* Вознаграждение рабочих за несчастные случаи. М.: Жизнь и правда, 1904. 32 с. Осоргин написал предисловия к книгам В.А. Монина (М., 1903) и М.Л. Леонова (М., 1905). Перевел книгу Э. Доллеанса «Роберт Оуэн» (М., 1906).

...всему остальному – почтительный поклон... – Первая жена Осоргина – Екатерина Александровна Маликова, дочь Александра Капитоновича Маликова (см. очерк Осоргина «А.К. Маликов и В.Г. Короленко» из цикла «Встречи» (*Воспоминания.* Впервые: 1933). «Широко образованный, повидавший мир, – вспоминал Осоргин о первом тесте, – свой человек в кругу

мужиков и профессоров, но натуре – анархист, по религии – поэт крестьянского православия, изумительный рассказчик, юморист и оратор Божьей милостью, – таких в России было немного... Личность красоты изумительной и побеждающей» (С. 74). Е.К. Маликова была участницей боевой дружины эсеров. Вместе с ней Осоргин эмигрировал в Италию, где в 1910 г. они разошлись. См. о Е.К. Маликовой: *Поликовская Л.В.* Трудное строительство собственного храма или о мужестве скепсиса (Михаил Осоргин) // Персональная история. Исповедь судьбы. М., 2001. С. 217, 224, 257).

В 1912 г. Осоргин женился в Италии на Рахили (Розе) Григорьевне Гинцберг (1885–1957), которая затем приехала с ним в Россию и разделила с Осоргиным все опасности жизни революционной поры. Б.К. Зайцев вспоминал о передаче на Лубянку, собранной для него женой Осоргина: «Никогда, даже в детстве, не радовал меня так подарок, за него храню Рахили Григорьевне всегдашнюю благодарность» (Мои современники. С. 135). Когда Осоргина в 1922 г. выслали из России, Р.Г. Гинцберг уехала с ним. См. о ней: *Носик Б.М.* «Михаил и Татьяна (Отцы сионизма и их своевольные дочери)» // *Носик Б.М.* Русские тайны Парижа. СПб.: Золотой век, 2001.

Третьей женой Осоргина стала Татьяна Алексеевна Бакунина (1904–1995), впоследствии его душеприказчица, издавшая четыре его последние книги. Бакунина – автор обстоятельной библиографии произведений Осоргина (Bibliographie des oeuvres de Mithel Ossorguine / Сост. Н.В. Бармаш, Д.М. Финн, Т.А. Осоргина. Paris, 1973. 211 с.

Т.А. Бакунина училась в Московском университете, а позже – в Сорбонне. Россию была вынуждена покинуть из-за преследований, которым подверглись ее родители, врачи. Бакунина – автор книг по истории масонства, известный библиограф (см.: Русская эмиграция в Европе. Сводный каталог периодических изданий. 1855–1940 / Сост. Т. Ба-

кунина-Осоргина. Париж, 1976). Она писала автору настоящей публикации, что любила Осоргина «с 18 лет до конца жизни Михаила Андреевича и дальше. Иначе для меня не могло бы быть, в этом счастье, и в этом трагедия» (письмо от 11 февраля 1995 г.).

Приведем отрывки из писем Осоргина к Татьяне Алексеевне:

«*2. 1. 24.* Люблю я Вас очень; потому пишу, потому и не пишу...

5. 2. 25. Вы растете на моих глазах, девочка, с которой я сидел рядом в театре на «Турандот», дочь моего друга, мой друг и моя дочь. В повести трех последних лет — моя любимая страничка...

3. 3. 25. Ницца. Ах, Танечка, я предпочел бы гулять по Остоженке, смотреть на окна домов: не выглянет ли из одного из них солнышко...

18. 3. 25. Ницца. Вы мне завидуете, Танечка? Но вот я завидую Вам — ревную Вас к Москве. Рим — за Собачью площадку, Рим — за обрыв над Москвой-рекой, — была бы мена достойная! Ницца же не стоит брошенной пуговки вашего ботиночка...; впрочем, Ницца вообще ничего не стоит. Пуговица может быть милой, а Ницца — противный город... И город грязный, скучный, подлый.

21.12. 25. Скоро печатаю главы романа... В романе фигурирует Танюша, — его героиня. А начат был роман еще в Казани; кончится же неизвестно когда...

5. 1. 28. Еще думал я о том, что всю жизнь тебя искал и ждал. Так случилось, что родилась ты на четверть века позже меня, — поэтому я и шатался по свету неприкаянным...

Тем, что ты со мной, жизнь моя (вся жизнь) стала не напрасной, окупилась. Все это я тебе говорил не раз. И вот хочу, чтобы осталось это и написанным. Таким языком мой отец писал в своем дневнике о моей матери, когда он был еще молод и влюблен в нее. Конечно — наивно писал, может быть, смешно, — но очень искренне. Сейчас, спустя 70 лет, хорошее и полное чувство его передалось мне, снова родилось

на свет. А я думал раньше, что не могу чувствовать, как умел он».

С. **115.** *Театр Марцелла.* — Марк Клавдий Марцелл (ок. 270) — римский полководец.

...на Форуме Траяна. — Марк Ульпий Траян (53–117) — римский император из династии Антониев. При нем шло большое строительство в Риме. Архитектором Аполлодором был создан форум (площадь) Траяна с базиликой и колонной (111–114) — сложный по композиции памятник военной славы императора.

С. **116.** *Крикливые гуси спасли Рим древний...* — В 387 г. до н.э. галлы напали на римлян и взяли город. Уцелел лишь Капитолий. По легенде, защитники Капитолия ночью, в момент неожиданного нападения галлов, были разбужены не собаками, а гусями Юноны.

...лики Джотто. — Джотто ди Бондоне (1266 или 1267–1337) — итальянский живописец, представитель проторенессанса.

...домик Цезаря на Форуме. — В Риме было несколько форумов (центральных площадей). Один из них носил имя Цезаря (46 г. до н.э.).

...орган во Фьезоле. — См. статью Осоргина «Фьезоле» (Русские ведомости. 1913, 13 авг., № 186).

...тонул... при выходе из каприйского Голубого грота... — См. статью Осоргина «Голубой грот» (*Воспоминания.* Впервые.: 1930).

...в дни казни в Испании Франческо Ферреро. — Франсиско Феррер (1859–1909) — известный испанский педагог-просветитель. В молодости участвовал в республиканском заговоре, вынужден был эмигрировать в Париж. В 1901 г. вернулся в Испанию, открыл школу в Барселоне, а затем еще 56 ее отделений в различных областях страны. Пропагандировал антиклерикальные и антиавторитарные, окрашенные теоретическим анархизмом идеи. В 1906 г. Феррера арестовали, так как один из его преподавателей оказался замешанным в анархическом покушении на короля. В 1909 г. был арестован вновь, обвинен в руководстве Бар-

селонским восстанием и расстрелян. Казнь Феррера вызвала протесты как в Испании, так и во всей Западной Европе.

С. **116**. *...томился на процессе каморры.* — Процессу над неаполитанской мафией посвящен большой цикл статей Осоргина, опубликованный в «Русских ведомостях» в 1910—1912 гг.

...вешал на шею змей на празднике Сан-Доменико в Абруццах. — См. статью Осоргина «Поездка в Абруццы» (Русские ведомости. 1913. 23 апр., № 93). «Традиционный праздник св. Доменика, врачевателя от змеиных укусов и зубной боли, религиозные процессии со статуей святого, обвешанной живыми змеями, как и шеи участников процессий, у зеленых змеек вырывали ядовитый зуб, а после их убивали за городской чертой», — вспоминал Осоргин (Улыбки земли. *Воспоминания.* Впервые: 1938).

...забывал все современное в стенах Лукки. — См. статью Осоргина «Лука» (Русские ведомости. 1913, 23 авг., № 194).

...отличал вино фраскати от его орвьетских и каприйских соперников... — См. статью Осоргина «Винный кризис в Италии» (Русские ведомости. 1908. 15 авг., № 189).

...дружил с одноглазым Пиппо. — См. рассказ Осоргина «Певец кабачков» (Там, где был счастлив. Париж, 1928).

С. **117**. *...в римском музее «Девочка из Анцио».* — См. статью Осоргина в «Русских ведомостях» (1910, 11 июня, № 132) и главу «Девушка из Анцио» в кн.: Очерки из Италии (М., 1913).

«Киренаикская Венера». — Кирена — древнегреческий (а позже римский) город на средиземноморском побережье (современная Ливия). Там в 1913 г. найдена знаменитая мраморная скульптура Афродиты (II в. до н.э.), принадлежащая александрийской школе. Находится в Национальном музее Рима.

...иногда московская газета посылала меня прокатиться на Балканы... — Об этих поездках Осоргин напечатал в «Русских ведомостях» в 1911 г. во-

семнадцать статей и в 1912 г. — двадцать шесть. См. очерки М. Осоргина «Славяне» (Дни. 1922. № 46); «В некотором царстве» (*Воспоминания.* Впервые: 1926); «На маленькой войне» (*Воспоминания.* Впервые: 1933).

С. **117.** *...осаждал с болгарами Адрианополь...* — См. статью Осоргина «С войны. Под Адрианополем. Мустафа-паша, 1 ноября» (Русские ведомости. 1912. 10 ноября № 260).

...или просто удивлялся Парижу. — См. мемуарный очерк Осоргина «Старый Париж. Из воспоминаний» (Последние новости. 1937. 5 июля, № 5945). Осоргин уехал в Париж в 1907 г. и, прожив там год, вернулся в Италию.

С. **118.** *...сонеты Белли и Чезаре Паскаръелла.* — Джузеппе Джоакино Белли (1791—1863) — итальянский поэт. Главное его произведение «Римские сонеты» — поэтический цикл, написанный в 1830—1849 гг., состоит из двух тысяч сонетов. *Чезаре Паскарелла* (1858—1940) — итальянский поэт, художник и журналист. См. о нем статью Осоргина в «Русских ведомостях» (1911. 30 ноябр. № 275).

...сюда приводил заезжих гостей. — Б.К. Зайцев вспоминал о знакомстве с Осоргиным в Италии в 1908 г.: «Нас он в Риме опекал, как ласковый старожил приезжих... Быстро устроил комнату, указал ресторанчик, где и сам столовался и который мы потом “воспели” (не в стихах, конечно)... По раннеосеннему времени завтракали в садике... Плющ, виноград, обломки “антиков”... и, конечно, наши русские типы в больших шляпах, с бородками, с видом карбонариев — среди них и sor Michele <синьор Михаил>, тоже в артистической шляпе, с летящим галстуком, приветливым похлопыванием по плечу, дружеским рукопожатием с хозяином...» «Там, где был счастлив» — название одной из лучших книг Осоргина, где много сказано и о том времени... Волна молодости, света и красоты несла тогда и его и нашу жизнь. Во многом sor Michele в эту волну вводил...» (*Зайцев Б.К.* Осоргин // Зайцев Б.К. Мои современники. Собр. соч. Т. 6. М.: Русская книга, 1999. С. 355—356).

См. также мемуарный очерк Б. Зайцева «1908 – Рим. Там же. С. 258).

С. **119.** *...русские народные учителя, приезжавшие группами по пятьдесят человек.* – В 1909–1911 гг. по инициативе Ф.Г. Винтерфельда и графини В.Н. Бобринской удалось организовать экскурсии народных учителей в разные страны Европы. Осоргин занимался организацией экскурсий в Италии, где за шесть лет побывало свыше трех тысяч русских учителей. Этому «громадному культурному делу» он посвятил рассказ «Чудо на озере» (*Собр. соч.* Т. 1. Впервые: 1928), а также ряд статей (Русские ведомости. 1909, 29 авг., № 198; 1910. 8 авг., № 181; 1911. 22 июля, № 168; 1912. 14 июня, № 136; 24 июня, № 145; 27 июня, № 147; 8 июля, № 157; 15 июля, № 163; 2 авг., № 178; 1913. 14 авг., № 187; Вестник воспитания. 1912. № 7 и др.).

Б.К. Зайцев вспоминал: «Незадолго до войны графиня Варвара Бобринская стала устраивать (первые в России) групповые поездки молодежи в Италию. Сельские учителя из захолустья, учительницы разные, курсистки, студенты почти даром посещали Италию – так графиня устроила... Лучшего водителя по Риму, да и другим городам Италии, чем Осоргин, нельзя было и выдумать – он очаровывал юных приезжих вниманием, добротой, неутомимостью» (*Зайцев Б.К.* Осоргин // Мои современники. Собр. соч. Т. 6. С. 356).

Был июнь четырнадцатого года. – См. мемуарный очерк Осоргина «Начало “великих дней”» (*Воспоминания*: Впервые: 1933).

С. **120.** *Один из них, русский эмигрант...* – См. мемуарный очерк Осоргина «Товарищи провокаторы» (*Воспоминания.* Впервые: 1933).

Не раз писал о столицах... – См. мемуарный очерк Осоргина «На пути в отечество» (*Воспоминания.* Впервые: 1933).

С. **121.** *...думские знакомства.* – Осоргину помог вернуться в Россию В.А. Маклаков. См. статью Осоргина «На пути в отечество», а также мемуарный очерк «Дым отечества» (*Воспоминания.* Впервые: 1933).

С. **122.** *Дым отечества...* — Статья Осоргина под названием «Дым отечества» была напечатана после его возвращения из-за границы в московской газете «Русские ведомости» (1916. 24 авг., № 195).

С. **123.** *Спит французское тихое местечко...* — Речь идет о городе Шабри, где писались эти строки. См. книгу Осоргина «В тихом местечке Франции».

...*«Размышления» Марка Аврелия.* — Марк Аврелий (121—180) — римский император с 161 г., философ, представитель позднего стоицизма, автор книги «Размышления», автобиографии внутренней жизни автора, диалога с самим собой. См. статьи Осоргина: «В дни Марка Аврелия» (Последние новости. 1937. 2 дек., № 6095) и «Литературные размышления» (Последние новости. 1939. 6 февр. № 6524).

...родственник скептического автора «Экклезиаста». — Книга Екклезиаста, как видно по ее первой строке, написана «сыном Давида, царем в Иерусалиме». Речь могла идти только о царе Соломоне. Поскольку в книге Притчей Соломон назван собственным именем, некоторые толкователи считают, что исторический Соломон выступает здесь лишь символом. Автор книги выявляет суетность и тленность всего земного, невозможность полного, совершенного счастья для человека.

«Если страданье непереносимо...» — цитата из книги «Что важнее всего для души твоей? Избранные мысли римского мудреца Марка Аврелия» (М.: Изд-во Сытина, 1904. Вып. 3. С. 22).

С. **124.** *...изгнанных из СССР писателей, философов, университетских профессоров.* — Об истории высылки см.: *Харитон Б.* К истории нашей высылки // Дни. Берлин. 1923. № 88; *Геллер М.С.* «Первое предостережение — удар хлыстом» (К истории высылки из Советского Союза деятелей культуры в 1922 г.» // Вопросы философии, 1990. № 9; *Костиков В.* Изгнание из рая // Огонек. 1990. № 24; *Хорунжий С.* Философский пароход. Картинки высылки // Литературная газета. 1990. № 24 и др.

С. **125.** *...товарищ министра внутренних дел.* — О разговоре со Степановым, который по должности ведал департаментом полиции, Осоргин рассказал в мемуарном очерке «Дым отечества» (*Воспоминания.* С. 190—191. Впервые: 1933).

С. **126.** *...мудрые старцы...* — «“Юными” считались в “Русских ведомостях” все, кто не достиг сорока лет...», — замечал Осоргин (*Воспоминания.* С. 140. Впервые: 1933). Он с грустью вспоминал: «...Нет ни “Русских ведомостей”, ни большинства их руководителей: умерли В. Соболевский, А. Мануйлов, В. Розенберг, И. Игнатов, Н. Сперанский, Н. Эфрос» (*Воспоминания.* С. 73). См. также статью Осоргина «Дым отечества».

Как всякий поэт, Тютчев, конечно, преувеличивает... — Речь идет о стихотворении Ф.И. Тютчева «Умом Россию не понять...» (1866).

Ее хотят представить себе... — См. статью Осоргина «Россия» (*Собр. соч.* Т. 2).

С. **129.** *...Его, кажется, после прикончили...* — Имеется в виду Н.В. Мешков. См. примеч. к с. 47.

...в Саратове я сдружился с культурнейшим европейцем. — Речь идет об Александре Константиновиче Клафтоне (1851—1920). Расстрелян в Омске. См. о нем статьи Осоргина «По городам» (*Воспоминания.* Впервые: 1933); «Смерть джентльмена» (*Воспоминания.* Впервые: 1924). А.К. Клафтон — прототип профессора Белова в романе Осоргина «Книга о концах».

С. **130.** *Иветт Гильбер* — французская певица, модель художника Анри Тулуз-Лотрека.

...буквенный вывих языка... — имеется в виду аббревиатура СССР.

С. **131.** *...на берегу реки, разделившей две Франции, занятую неприятелем и свободную...* — Речь идет о реке Шэр, границе между свободной и оккупированной зонами Франции. См. книгу Осоргина «В тихом местечке Франции»

В прошлом году, в те же дни, это местечко было занято с боя немцами... — это произошло 20 июня

1940 г. (См. кн. «В тихом местечке Франции». С. 37–40).

С. **132.** *У меня не было и нет никакой собственности, кроме крошечного участка земли...* — Осоргин купил участок земли в Сент-Женевьев де Буа. См. кн. «Происшествия зеленого мира».

С. **133.** *...с этим уходят в бесстрастие Великого Востока.* — Образ смерти, привнесенный Осоргиным из масонской символики.

С. **135.** *Я тоже нес домой сокровище... идею романа.* — Роман Осоргина «Сивцев Вражек» опубликован в Париже в 1928 г.

С. **137.** *...момент перелома — на обширном дворе Спасских казарм...* — Казармы располагались на Садовой-Спасской (д. 1). В годы Первой мировой войны в Спасских казармах размещался 192-й пехотный запасной полк, солдаты которого участвовали в Февральской и Октябрьской революциях 1917 г.

...ночью обхожу комнаты здания московской охранки. — См. книгу Осоргина «Охранное отделение и его секреты» (М.: Грядущее, 1917).

С. **138.** *...увлечение новой большой газетой.* — Осоргин в апреле 1917 — мае 1918 гг. работал в московской газете «Власть народа» (выходила с подзаголовком: «Газета демократическая и социалистическая»).

С. **139.** *...имя Ленина, ...приехавшего в пломбированном вагоне...* — См. гл. «Вагон» в романе Осоргина «Книга о концах» Осоргина.

С. **140.** *...раненый купол Бориса и Глеба на Арбате.* — Эта церковь была построена в 1527 г. повелением великого князя Василия Ивановича, перестроена в 1763–1767 гг. на средства канцлера А.П. Бестужева-Рюмина (архитектор К.И. Бланк). Стояла посреди Арбатской площади, на углу Воздвиженки и бульвара. Сломана в 1930 г. Ныне на этом месте находится часовня.

С. **141.** *...клянутся Марией Спиридоновой.* — Мария Александровна Спиридонова (1884–1941) была одним из лидеров партии левых эсеров. См. о ней статьи Осоргина «Рай Маруси Спиридоновой» (Власть наро-

да. 1917. 15 дек. № 186); «Сосны» (*Воспоминания.* С. 206. Впервые: 1938).

С. **142.** *...приходится возвращаться в город, где еще выходят газеты.* — В 1917—1918 гг. Осоргин сотрудничал в газетах «Народный социалист», «Луч правды», «Власть народа», «Понедельник», «Родина», «Наша родина» и др. В августе 1918 г. все несоветские газеты были закрыты.

...я выпускаю последнюю однодневку «За свободу печати». — Имеется в виду газета «Слову — свобода. Однодневная газета». Издание клуба Московских писателей. 10 декабря 1917 г.

...обвиняет Крыленко, комиссар юстиции. — Николай Васильевич Крыленко (1885—1936) с 1918 г. был прокурором РСФСР. В 1918 г. Осоргин писал о нем: «Виден человек не без хитрецы и не без ловкости». Предвидел Осоргин и трагический конец Крыленко: «Некто на том же месте осудит Дыбенку, Крыленку, да прихватит еще и нас с вами» (Суд на Солянке // Наша Родина. 1918. 5/18 мая, № 4).

С. **144.** *Горсточка писателей и ученых основала книжную торговлю...* — См. статьи Осоргина «Листки» (Последние новости. 1925. 2—17 июня. № 1578), «Как мы торговали» (*Воспоминания.* Впервые: 1933). Он писал о книжной лавке писателей: «...Ее маленькая культурная миссия, выполнявшаяся четыре года: спасать книгу от гибели... помогать нуждающимся... объединять литературную братию» (*Осоргин М.* Книжная лавка писателей // Временник Общества друзей русской книги. Париж. 1928. Кн. 2).

Об этой московской «Книжной Лавке Писателей», вызвавшей позже подражания, писал не раз я, писали и другие. — Н. Бердяев рассказывал: «...Материально существовать я мог только благодаря участию в лавке писателей. Главным лицом в лавке был М. Осоргин. Эта лавка превратилась в литературный центр, где все встречались, во что-то вроде клуба» (*Бердяев Н.* Самопознание (Опыт философской автобиографии). Париж, 1949. С. 255).

С. **144.** Б.К. Зайцев вспоминал: «“Книжная ласка писателей”. Осоргин, Бердяев, Грифцов, Александр Яковлев, Дживелегов и я — не первые ли мы по времени нэпманы? Похоже на то... С Осоргиным можно было побеседовать о старинных книгах, с Бердяевым о кризисах и имманентностях, с Грифцовым о Бальзаке, мы с Дживелеговым... по части ренессансо-итальянской... Осоргин хозяйничал...» (Собр. соч. Т. 6. Мои современники. С. 127).

В советские годы, когда имя Осоргина было вычеркнуто из истории русской литературы, Вл. Лидин все же упоминал о нем, рассказывая о Книжной лавке писателей (*Лидин Вл.* Друзья мои — книги. Рассказы книголюба. М.: Современник. 1976. С. 8).

Иронически вспоминали о Книжной лавке писателей поэты-имажинисты, пытавшиеся в те годы сами торговать книгами: «Провинциальные интеллигенты с чеховскими бородками выходили из лавчонки со слезой умиленья — точь-в-точь как стародревние салопницы от чудотворной Иверской» (*Мариенгоф А.* Роман без вранья. Л.: Прибой, 1927. С. 94). См. также: *Богомолов Н.А.*, *Шумилин С.В.* Книжная лавка писателей и автографические издания 1919—1922 годов // Ново-Басманная, 19. М.: Худож. литература. 1990. С. 84—130.

С. **145.** *...том «Четьих-Миней».* — Речь идет о церковных книгах, содержащих жития святых в порядке празднования их памяти, богослужебные песни, поучения, каноны, молитвы на каждый день месяца и на весь год на церковно-славянском языке. Появились в XII в.

С. **147.** *...В Корабле смерти...* — Имеется в виду внутренняя тюрьма Лубянки. О «Корабле смерти» Осоргин рассказал в романе «Сивцев Вражек». Воспоминания о «Корабле смерти» см. в кн.: Че-Ка. Материалы по деятельности чрезвычайных комиссий. Издание Центрального бюро партии социалистов-революционеров. Берлин: Орфей, 1922.

...Я Поливанов, бывший военный министр. — Алексей Андреевич Поливанов (1855—1920) был военным министром в 1915—1916 гг.

С. **147.** *«Виктория»* – роман норвежского писателя Кнута Гамсуна (1859–1952), написанный в 1898 г. (рус. пер. 1904 г.).

Меня освобождает лично Каменев, народный комиссар. – Лев Борисович Розенфельд (псевд. Каменев; 1883–1936) – революционер, член РСДРП с 1901 г., в 1918–1926 гг. – председатель Моссовета, в 1919–1926 гг. – член Политбюро ЦК ВКП(б), член ЦИК, ВЦИК. Казнен по сфальсифицированному делу. Б.К. Зайцев вспоминал об этом эпизоде: «Каменев держался приветливо-небрежно, покровительственно, но вполне прилично. “Как их фамилии?” – спросил он об арестованных. Я назвал. Он стал водить пальцем по каким-то спискам. “А за что? – Насколько я знаю, ни за что <...> – Если действительно не виноваты, то отпустим”. Мне повезло, <...> Ильина удалось на этот раз выудить» (*Зайцев Б.К.* Москва 20–21 гг. // *Зайцев Б.К.* Собр. соч. Т. 6. Мои современники. М., 1999. С. 125).

С. **150.** *...в Леонтьевском переулке.* – Взрыв в здании МК РКП(б) в Леонтьевском переулке (д. 18) произошел 25 сентября 1919 г. Погибло 12 человек, в том числе секретарь МК В.М. Загорский. Ответственность за этот террористический акт была возложена МЧК на подпольную организацию анархистов и левых эсеров.

...скуластый лысый человек, читавший в Париже утомительные доклады... – Речь идет о В.И. Ленине. См. мемуарный очерк Осоргина «Старый Париж. Из воспоминаний» (Последние новости. 1937. 5 июля. № 5945): «Постоянная работа спасала нас от эмигрантской болезни: бесконечных идеологических препирательств, принципиальных “историй” и товарищеских судов. Изредка все же выползали и мы послушать, как Ленин презрительно долбит цифрами эсеров и как эсеры отбиваются цитатами из третьего тома “Капитала” ...как вообще взаимно уничтожают словами друг друга меньшевики, большевики, народники правые, народники левые, максималисты, и, уничтожив, возрождаются из пепла для новых встреч и жестоких сражений».

С. **150.** *...был еще другой человек...* — Имеется в виду Л.Д. Троцкий. В 1917 г. Осоргин иронически писал: «Много любопытных вещей я храню. В том числе <...> и механическую пуговицу от брюк Троцкого с надписью “Made in Germany”. Пуговицу эту я получил от него некогда на Балканах, когда он еще не был великим, а просто писал в крупно-буржуазной “Киевской мысли”. Почувствовав в нем гения, пуговицу я сохранил, и когда-нибудь она мне пригодится: все-таки — паспорт благонадежности» (Власть народа. 1917. 23 дек., № 193). Однако фигура Троцкого оказалась столь зловещей, что больше у Осоргина не возникало желания шутить (см. статьи Осоргина о Троцком: Последние новости. 1924. 22 окт., № 1378; 1929. 4 март., № 2903; Дни. 1928. 22 янв., № 1306). В 1938 г. Осоргин вновь вспоминал о встречах с Троцким на Балканах, когда тот работал в газете «Киевская мысль» и «писал отлично — врожденный фельетонист» (Последние новости. 1938. № 6339).

С. **151.** *...и в далекой стране его настигнет и убъет третий властитель России...* — Л.Д. Троцкий был убит 21 августа 1940 г. в Мексике подосланным Сталиным фанатиком-террористом Рамоном Меркадером. Осоргин утверждал, что по сравнению со Сталиным и фигура Ленина «приобретает мягкость очертаний и симпатичность черт». Сталина он называл «зверем в кубе». См. статью Осоргина «О Сталине» (Последние новости. 1930. № 3392).

...соперник... германского маляра. — Имеется в виду Адольф Гитлер, который увлекался живописью. В 1911 г. он даже пытался поступить в венскую Академию художеств.

...детищем... покрытки... — По Далю, покрытка — «девка, вынужденная падением своим покрыть голову платком».

С. **152.** *...знаменитую фразу Екатерины Второй...* — Повторяя слова Петра I, Екатерина II сказала, что лучше оправдать десять виновных, чем казнить одного невинного (см.: *Сумароков П.* Обозрение цар-

ствования и свойств Екатерины Великия. Ч. 1. СПб., 1832. С. 76).

С. **153.** *Селедки... коптили в самоварных трубах...* — В 1920 г. Осоргин написал рукописную книжку «Копчение академической селедки в самоварной трубе».

С. **157.** *...был сослан в Казанскую губернию.* — В Казанскую губернию Осоргин был сослан в ноябре 1922 г.

...американского Комитета (АРА). — Сокращенное от английского American Relief Administration (Американская администрация помощи). В 1919—1923 гг. Комитетом руководил Г. Гувер. Комитет АРА был создан для оказания помощи европейским странам, пострадавшим в Первую мировую войну. В 1921 г. его деятельность была разрешена в СССР. 21 августа 1921 г. с АРА было заключено соглашение о продовольственных поставках в Россию. Тем самым судьба общественного Комитета помощи голодающим была предрешена, он стал не нужен властям.

...общественного Комитета помощи голодающим. — См. статью Осоргина «Чтобы лучше ощущать свободу» // На чужой стороне. 1924. № 8: «Обвинять нас, конечно, было не в чем. Виноваты — хотели сделать то, чего правители сами сделать не могут: помочь голодающим». О Комитете помощи голодающим см. статьи Б.К. Зайцева «Веселые дни». 1921 (Собр. соч. Т. 6, 1999): Е. Кусковой «Месяц «соглашательств // Воля России. Прага. 1928. № 3—5; «В успех не верю, но долг велит». К истории Всероссийского комитета помощи голодающим. Письма М.В. Сабашникова / Публ. А. Паниной // Источник. Документы русской истории. Вестник архива президента Российской Федерации. 1999. № 1. С. 57—65 и др.

«М. Осоргин вместе с Е. Кусковой — подлинный историк комитета, неоднократно писавший о его деятельности и судьбе его членов, очень хорошо понимал смысл и причины ликвидации ВКПГ», — писал исследователь истории Всероссийского комитета помощи голодающим М.С. Геллер в статье «Первое

предостережение» — удар хлыстом. (К истории высылки из Советского Союза деятелей культуры в 1922 г.) // Вопросы философии. 1990. № 9. С. 51).

С. **159.** *...при Екатерине Второй с голодом боролись московские масоны...* — В 1786–1787 гг. неурожай был и в России, и на Украине. Попытки Екатерины II помочь голодающим с помощью созданной по именному указу Хлебной комиссии не удались. Николай Иванович Новиков, известный русский просветитель, издатель и масон, роздал крестьянам в своем именье Авдотьино собственные запасы хлеба. Он собрал в Москве деньги и помог крестьянам еще ста селений. Вся округа прокормилась с помощью Новикова, который создал еще и запас хлеба на случай голода. Екатерина II сочла помощь Новикова вызовом. Летом 1787 г. она подписала указ о духовной цензуре, и многие книги, изданные Новиковым, были запрещены. Договор на аренду университетской типографии не был с Новиковым продлен. Он удалился в свое именье. 22 апреля 1792 г. был арестован и освобожден только Павлом I.

...Екатерина Вторая разбила московское масонство... — См. об этом кн.: *Bakounine T.* Le ŕepertoire bioqraphique des francsmazons russes (XVIII et XIX sièches). Bruxelles. 1949. P. 593; *Бакунина Т.А* Знаменитые русские масоны. Вольные каменщики. М.: Интербук. 1991. 141 с.

С. **160.** *...В Приволжье погибло пять миллионов человек...* — См. кн.: *Поляков Ю.А.* 1921-й: победа над голодом. М., 1975.

Фигнер Вера Николаевна (1852–1942) — революционерка, писательница. Двадцать лет находилась в заключении в Шлиссельбургской крепости.

...я был редактором газеты Комитета... — Имеется в виду газета «Помощь. Бюллетень Всероссийского комитета помощи голодающим». С 16 по 29 августа 1921 г. вышло два ее номера, третий был набран, но не вышел. Издатель М.В. Сабашников, посылая своим друзьям бюллетень Комитета, писал: «Его сегодня продавали на улицах за 2000 р. Так было приятно видеть уличную продажу номера, по внешности напо-

минающего покойные "Русские ведомости"» (Источник. Документы русской истории. Вестник архива Президента Российской Федерации. 1991. № 1. С. 62). Об этом же писал и Зайцев: «Ее внешний вид <газеты «Помощь»> вполне повторял "Русские ведомости". Как только появился первый номер, по Москве прошел вздох. — "Теперь уж падут! "Русские ведомости" вышли, стало быть, уж капут!» (*Зайцев Б.К.* «Веселые дни». 1921 г. Мои современники. С. 130).

С. **160.** *Тюрьма на Лубянке...* — См. статью Осоргина «Чтобы лучше ощущать свободу (из «Воспоминаний») // На чужой стороне. 1924. № 8. Б.К. Зайцев вспоминал об августовском аресте 1921 г. членов Комитета помощи голодающим: «Осоргин, я и Муратов, как прожили полжизни вместе, так вместе и сели... Осоргин был... избран нашим старостой. Ловкий и легкий, в счастливом нервном возбуждении ответственности, он хорошо провел роль, "был в форме"... Элегантно распоряжался раздачей передач, весело выкликая адресатов... "Вот она, жизнь-то какая! Веселая жизнь. Ругаешь меня, что я тебя сюда затащил?" — Историко-литературный угол оживленно загоготал. А Осоргин уже вспорхнул, подобно Нижинскому, помчался для переговоров о кипятке... Он был превосходен: весел, услужлив, ерошил поминутно волосы на голове, представительствовал за нас перед властями» (Собр. соч. Т. 6. Мои современники. С. 132, 134–135, 356).

С. **162.** *...спасло заступничество Фритьофа Нансена.* — Фритьоф Нансен (1861–1930) — норвежский исследователь Арктики. В 1920–1921 гг. Нансен был верховным комиссаром Лиги Наций по делам военнопленных. По его инициативе Лига Наций ввела удостоверения личности для беженцев, так называемые «нансеновские паспорта» — документ русских эмигрантов. О работе Нансена в России Осоргин писал: «...Нансен, узнавши об аресте <...> "сообщества", категорически заявил, что не начнет работы и порвет договор, если общественники не будут освобождены» (Нансен и Общественный Комитет // Последние новости. 1930. 18 мая, № 3343).

С. **162.** *Царевококшайск* – ныне Йошкар-Ола. Осоргин вспоминал: «Я был сослан совершенно больным; в жару, в припадке нервных болей, – результат длительного пребывания в знаменитой «внутренней» тюрьме чеки, в сырой, зацветший зеленью камере с замазанными окнами, без прогулок» (Тем же морем // Современные записки. 1922. № 13).

С. **164.** *...мне удалось в Казани <...> издавать литературную газету...* – См.: Литературная газета. Казань. 1921. № 1–10.

С. **165.** *Мне пришлось... хлопотать за товарища...* – Речь идет об Андрее Соболе. См. открытое письмо Осоргина Андрею Соболю (Последние новости. 1923. 7 окт., № 1061) и статьи Осоргина о Соболе «Об единстве русской литературы (Письмо друго-врагам)» (Последние новости. 1925. 19 июня. № 1580); «Из Италии. Сорренто» (Последние новости. 1926. 15 авг. № 1971); «Трагедия писателя» (*Воспоминания.* Впервые: 1929).

С. **168.** *Не они ли ушли в Сибирь... с... добровольцами и чехословацкими отрядами?* – Осоргин отмечал: «...В дни чехословацкого ухода интеллигенция казанская ушла целиком» (Тем же морем // Современные записки. 1922. № 13). Об этом же он рассказывал и в повести «Вольный каменщик» (Сост., предисл. и коммент. О.Ю. Авдеевой, А.И. Серкова. М.: Моск. рабочий, 1992. Впервые: 1935).

С. **171.** *Улица, на которой я живу, переименована.* – Чернышевский переулок с 1922 г. стал называться улицей Станкевича.

С. **173.** *Вечно предстоя пропасти, мы все-таки жили...* – Эта мысль – предмет постоянных размышлений Осоргина. Ср.: «...Мы вечно стоим над пропастью неразрешимого, у края, где бессильна наша логика и в муках бьется наше чувство. Трагедия неразрешимого, предстояние пропасти, это и есть, повидимому, самое в нас человеческое, самое высокое и, действительно, загадочное, мистическое. <...> Нужно не искать пропасть, а лишь знать, что она на пути неизбежна, и не к ней стремиться, а через нее

к недостижимому, но манящему» (Из письма Осоргина к А.И. Бакунину от 26 января 1941 г. // Cahiers du Monde Russe et Sovietique. Vol. XXV (2–3). Avril — Septembre 1984. Paris. С. 319).

С. **175.** *...в деревню Барвиху...* — Бердяев и Осоргин жили в Звенигородском уезде, в Барвихе, недалеко от Архангельского.

...моего друга философа. — Речь идет о Николае Александровиче Бердяеве (1874–1948).

С. **176.** *Алексей Михайлович* (1629–1676) — русский царь с 1645 г.

«Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение...». — Первая фраза Утрени.

С. **177.** *...Троцкий, Каменев, Дзержинский...* — дачи этих политических деятелей находились в Архангельском.

С. **178.** *...с предписанием готовиться к высылке за границу...* — См. примеч. к с. 124.

...Моим приютом будет в Москве частная хирургическая лечебница... — лечебница А.М. и Э.Н. Бакуниных на Остоженке. См. о Бакуниных: Новое русское слово. 1960. 10 июля. № 17289; *Бакунина Э.* Последние дни патриарха Тихона (Воспоминания врача) / Публ. и предисл. А. Серкова // Арбатский архив. Ист.-краевед. альм.. Вып. 1. М.: «Тверская, 13», 1997. Впервые: 1930.

С. **179.** *Помещение Чека, недавно переименованного в Гепеу.* — ГПУ — Государственное политическое управление при НКВД РСФСР создано в 1922 г. на основе ВЧК. См. статью Осоргина «Гепеу» // Последние новости. 1936. 12 марта. № 5467.

С. **180.** *...пароходом в Германию.* — См.: *Осоргин Мих.* «Тем же морем» (Современные записки. Париж. 1922. № 13); «Встреча» (Дни. Берлин. 1923, № 105); «Как нас уехали» (*Воспоминания.* Впервые: 1932). Осоргин вспоминал: «Пароход прибыл к берегам Германии и выгрузил единственный товар, который нынешнее русское правительство поставляет Европе обильно и бесплатно: хранителей культурных заветов России» (Да здравствует Татьяна! // Дни. 1923, № 72).

С. **181.** *...Лев Троцкий <...> дает журналистам интервью: «Высылаем из милости...».* — Троцкий говорил Луизе Брайант, корреснодентке американской газеты «Интернейшнл Ньюс Сервис»: «Те элементы, которые мы высылаем и будем высылать, сами по себе политически ничтожны. Но они потенциальное оружие в руках наших возможных врагов. В случае новых военных осложнений, — а они, несмотря на все наше миролюбие, не исключены, — все эти наши непримиримые и неисправимые элементы окажутся военно-политическими агентами врага. Мы вынуждены будем расстреливать их по законам войны. Вот почему мы предпочли сейчас в спокойный период выслать их заблаговременно. И я выражаю надежду, что вы не откажетесь признать нашу предусмотрительную гуманность и возьмете на себя ее защиту перед общественным мнением» (Вопросы философии. 1990. № 9).

...сам будет выслан из милости?.. — После высылки Троцкого Осоргин опубликовал статьи «Л.Д. Троцкому — напутственное» (Дни. 1928. 22 янв., № 1306) и «Интервью с Троцким» (Последние новости. 1929. № 2903). Последняя статья была опубликована за подписью «Ваш предшественник».

...президиум всероссийского Союза писателей. — Председателем Всероссийского союза писателей был Б.К. Зайцев, Осоргин и Бердяев — товарищами председателя. Первый устав Союза был написан Осоргиным совместно с М.О. Гершензоном. «В те дни Союз еще сохранял свою независимость и отстаивал свои автономные права», — вспоминал Осоргин (О Борисе Зайцеве. *Воспоминания.* С. 240). Почти весь президиум Союза выслали за границу. См. статью Осоргина «О Всероссийском союзе писателей» (Последние новости. 1929. № 3132).

Первоначально Осоргин рассказывал во «Временах» историю Союза писателей подробнее. В окончательном варианте свел воспоминания о Союзе к одному абзацу. Включаем в это издание неопубликованные страницы, предоставленные публикатору Т.А. Баку-

ниной-Осоргиной: «Еще гимназистом я напечатал свой первый рассказ и свои первые статьи. В студенческие годы я уже отчасти жил на литературный заработок, летом в провинции был передовиком, фельетонистом, хроникером, секретарем и редактором ежедневной газеты, и трехлетняя адвокатская практика была лишь эпизодом в моей жизни писателя и журналиста – от юности до старости.

Но десятилетняя эмиграция лишила меня прямого и тесного общения с русской литературной средой; я был и остался вне кружков, вне модных течений, самостоятельным одиночкой, пробивавшим себе дорогу без товарищеского сочувствия и благодетельных состязаний. Ближайшее участие в газете и в журнале («Русские ведомости» и «Вестник Европы»), пользовавшихся всеобщим уважением, давало мне некоторое положение в литературном мире, но профессионализм меня, конечно, не удовлетворял, хотелось живого литературного общения, я даже думал о “горении в общем пламени”. Позже я понял суетность литературной кружковщины и мелочность себялюбивых соперничеств, выдвигавших, по преимуществу, людей не таланта, а момента, не культуры, а задора, – но понял много позже, когда хорошо узнал и изучил писательскую среду. Пока же, по возвращении в Россию, я погрузился в жизнь и интересы этой среды с охотой, радостью и даже некоторым почтением.

Я принял самое близкое участие в литературных организациях, возникших в дни революции, был учредителем и председателем всероссийского Союза журналистов, одним из устроителей и руководителей всероссийского Союза писателей – вплоть до моей высылки из пределов СССР. Литературная газета, которую я редактировал в Москве («Понедельник власти народа») объединяла почти все наличные писательские силы в Москве и была последней закрытой газетой. С исчезновением независимой частной печати наше общение осталось в Союзе писателей, долго и упорно охранявшем свою независимость от

официальных влияний, а также в московском Клубе писателей, объединявшем литературную элиту с очень строгим приемом членов. Клуб писателей собирался на частных квартирах и в Художественном театре, выступали в нем и приезжие петербуржцы: попытка в тяжкие дни служить чистому искусству.

Кроме этих более или менее замкнутых объединений народились в Москве литературные кафе с допущением публики, где молодые стихотворцы, футуристы, имажинисты, ничевоки, объявившие революцию в поэзии, эпатировали буржуев, которым было по средствам пить настоящий черный кофей с настоящим сахаром, читая им с эстрады неплохие стихотворения с привкусом похабщины. Позже возник «Дом печати», открытый зал для литературных выступлений и дебатов, уже с оттенком политическим.

В распоряжение нашего Союза писателей был передан «Дом Герцена» на Тверском бульваре, где собиралось правление Союза, была создана небольшая библиотека и устроены комнаты для приезжавших в Москву неимущих членов Союза. В первое время Союзу и его дому помогала из своих скромных доходов наша писательская книжная лавка. К Союзу, существовавшему там же и по сей час, у меня сохранилась некоторая нежность, как к нашему детищу, — хотя он давно изменил своей независимости и стал полуофициальным учреждением. Для него мы сделали отличный подбор библиографических изданий, большой ценности и, конечно, бесплатно, ему подарили и коллекцию оригинальных писательских автографов — писанные книжки, продававшиеся в нашей Лавке в дни, когда не было никакой возможности их печатать.

Моей нежной памяти не препятствуют последние впечатления, о которых вспоминаю с некоторой грустью и усмешкой. Это было накануне отъезда из Москвы писателей и профессоров, приговоренных к высылке заграницу, — я забегаю вперед в моих воспоминаниях. Союз был еще дружен и дорожил своей автономностью и беспартийностью, хотя комендантом дома Герцена уже был коммунист; но высылка многих на-

пугала. Председателем правления был Борис Зайцев, незадолго перед этим получивший разрешение уехать за границу и теперь живший в Берлине. Замещали председателя два его товарища, философ Н. Бердяев и я. Ближайшие друзья устроили нам проводы на частной квартире, где не могло быть стеснения в беседе. За день до отъезда было очередное заседание правления Союза, на котором я должен был председательствовать. Мы обсудили мелкие очередные дела, занявшие мало времени, и я ждал, что вот кто-то из товарищей попросит слова и выскажет нам, высылаемым, прощальный привет и пожелания от имени Союза. Сознаюсь, что я подготовил дома и свой ответ, такой, который никого не напугает и не потревожит ничем. Союзу не повредит, — просто, по-дружески поблагодарю за внимание, пожелаю Союзу процветания, выражу надежду на новую встречу. Мне казалось невозможным, чтобы нас, Союз создавших и бессменно в нем работавших, помогавших ему и материально (все три члена президиума были владельцами Лавки Писателей), не помянули прощальным словечком хотя бы для того, чтобы подчеркнуть неизменную нашу солидарность в работе в течение пяти лет. Вероятно, ждали этого и члены Правления, потому что перед концом заседания кое-кто из более робких вышел. Чтобы не смущать других, я объявил заседание закрытым, — нет нужды вносить в протокол то, что будет сказано не для отчета и документации. Затем... затем я сразу понял, что лучше всего встать и облегчить всем неловкость. Мы вышли молча, и в соседней комнате, пропустив остальных, два-три человека особенно “значительно” пожали мне руку. На улицу я вышел один. Прощай дом Герцена, прощай всероссийский Союз писателей!».

С. **183.** *Почти все мои книги написаны в эмиграции и в заграничной ссылке...* — См.: *Осоргин М.А.* Библиография / Сост. Осоргина Т.А., Бармаш Н.В., Фини Д.М. Париж. 1973. 211 с.

С. **184.** *...опять накопились «сокровища» в жизни заграничной.* – В Париже Осоргин собрал новую библиотеку и архив. См. об этом в книгах Осоргина – «В тихом местечке Франции» (С. 86) и «Письма о незначительном» (С. 259).

Масонские документы, в том числе и архив Осоргина, вывезены фашистами из Парижа в Моравию. Оттуда его архив попал в Россию – в Особый архив (Центр хранения историко-документальных коллекций. Ф. 730. 242 дела). Там находились, в частности, материалы Т.А. Бакуниной. (См. об этом: *Серков А.И.* История русского масонства. 1845–1945. СПб.: Изд-во им. Н.И. Новикова, 1997).

ПРОИСШЕСТВИЯ ЗЕЛЕНОГО МИРА

Печ. по: Происшествия зеленого мира. София: Изд-во Н.Н. Алексеева. 1938. 173 с.

Впервые: Последние новости. 1927. 15, 24 июня. № 2275, 2284; 16 июля. № 2306; 3, 12, 27 авг., № 2324, 2333, 2348; 2 сент., № 2354; 1928. 6 мая, № 2601; 4 сент. 2722; 1929. 26 июля, № 3047; 2, 4 авг., № 3054, 3056; 7 сент., № 3090; 16 окт., № 3129; 1930, 10 февр., № 3246, 14 июля, № 3400; 1932. 18 мая, № 4074; 11 июня, № 4098; 5, 17, 26 июля, № 4122, 4134, 4143; 9, 24 авг., № 4157, 4172; 4 сент., № 4183; 2 окт., № 4211; 1933, 23 апр., № 4414; 6 мая, № 4427; 4 июня, № 4456; 25 июля, № 4507; 23 авг., № 4414; 30 сент., № 4574; 11 дек., № 4646; 1935, 18 ноябр., № 5352; 1936, 30 март., № 5485; 1937, 5 апр., № 5855; 1, 22 июня, № 5911, 5932; 23 авг., № 5994; 1938, 15 янв., № 6139; 28 мая, № 6271; 18 июня, № 6292.

С. **189.** *...колодец, на котором написано «нон потабль»...* – «непитьевая» вода (от фр. non potable).

С. **192.** *Ситуайенъ!* – гражданин (от фр. Citoyen).

С. **193.** *...Франциску Ассизскому, умеющему ладить с птицами.* – Франциск Ассизский (наст. имя: Джованни Бернардоне; 1181 или 1182–1226) – итальян-

ский проповедник, создатель ордена францисканцев, поэт. Посвятил себя проповеди евангельской бедности. Канонизирован в 1228 г. Первое житие Ф. Ассиского, написанное Фомой Челанским, вошло в его позднейшее жизнеописание «Зерцало совершенства». См. о нем кн.: Цветочки св. Французска Ассизского. М., 1913.

Осоргин, конечно же, был знаком с исследованием А. Бицилли «Св. Франциск Ассизский и проблемы Ренессанса», который подчеркивал, что во взглядах святого Франциска не было следов пантеизма: он не обожествлял природу, но любил «брата Солнце», «сестру Воду», «сестер птичек» и т.д. (Современные записки. 1927. № 32. С. 520–537).

С. **194.** *...знаменитый Зеленый остров.* — Имеется в виду Гренландия.

С. **199.** *Мадам Пуляр.* — Фамилия означает «откормленная курица» (от фр. Poularde).

С. **203.** *...однажды летом, в другой стране...* — См. мемуарный очерк Осоргина «Сосны» (*Воспоминания.* С. 203–208).

С. **205.** *...Страсть к маленьким домикам...* — См. книгу Осоргина «Из маленького домика. Москва. 1917–1919. [Рига] Латвия: Книгоизд-во русских писателей. 1921.

С. **207.** *Призраки собственного изделия...* — Первая художественная книга М. Осоргина называлась «Призраки» (М.: Изд-во «Задруга», 1917).

С. **213.** *...делается сначала синим (бле-жандарм)...* — т.е. синим, как мундир жандарма (от фр. bleu gendarme).

С. **215.** *...травка, цветы которой носят название «мужская верность»...* — у Осоргина есть исторический рассказ под названием «Мужская верность». Он начинается словами: «Есть такая низкая полевая травка с голубыми цветочками, которую за непрочность цветочного венчика, отлетающего при дуновении, называют «мужской верностью»; подлинное же имя ее женское: трилистная вероника (*Собр. соч.* Т. 2. С. 112).

С. **216.** *...Бастилия должна пасть.* — Бастилия — крепость в Париже; с XV в. — тюрьма. 14 июля 1789 г. — день штурма Бастилии, явившийся началом Великой французской революции, отмечается с 1880 г. как национальный праздник Франции.

С. **218.** *...укрощение Цербера.* — Цербер — в греческой мифологии трехглавый пес со змеиным хвостом, охранявший вход в подземное царство.

С. **220.** *Приходилось ему выступать и в пьесе Ростана.* — Эдмон Ростан (1868—1918) — французский поэт и драматург, воскресивший традиции романтического искусства. Речь идет о пьесе Ростана «Шантеклер (Певец зари)», в которой главным действующим лицом является петух.

С. **225.** *...Есть у меня старинная любимая книжечка «Щеголеватая аптека»...* — См. статьи Осоргина «Книжная лавка писателей» и «Читателям ответ по необходимости» (Последние новости.1928. № 2785. 6 ноябр.; *Заметки старого книгоеда*).

С. **227.** *...виноградники апулийцев.* — Апулия — область на юге Италии у Адриатического моря.

С. **230.** *...эсером из Земгора.* — Земгор — объединенный комитет Земского и Городского союзов, созданный в 1915 г. для помощи правительству в организации снабжения русской армии. Земский союз был создан в июне 1914 г. Оба союза относились к институту земства.

С. **231.** *...таким был Самсон Назарей, из поэтических образов — немецкий сверхчеловек Заратустра.* — Самсон Назарей — библейский герой (см. Книга судеб, 13—16); Заратустра — герой книги Фридриха Ницше (1844—1900) «Так говорил Заратустра» (1883—1884).

...мне до слез захочется повидать Звенигородский уезд. — См. мемуарный очерк Осоргина «Без событий» (*Воспоминания.* Впервые: 1938).

С. **232.** *Уж небо осенью дышало...* — А.С. Пушкин. Евгений Онегин. Гл. 4. XL.

С. **234.** *...Если бы можно было остановить солнце! Но только раз остановилось оно в писаной истории,*

— *по просьбе Иисуса Навина.* — В Ветхом Завете Иисус Навин — помощник и преемник Моисея; главный герой библейской книги Иисуса Навина. См. «Иисус воззвал к Господу ...и сказал пред Израильтянами: стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою! // И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим» (Нав. 10. 12–13).

С. **237.** *...Марна, Шампань, Верден, чужие фронты.* — На реке Марна англо-французские войска остановили наступавшую германскую армию 5–12 сентября 1914 г. Шампань — провинция Франции, где в годы Первой мировой войны шли тяжелые бои. В 1916 г. германская армия пыталась прорвать фронт в районе Вердена.

С. **239.** *...по поводу покушения Ванцетти на самоубийство перед казнью...* — Бартоломео Ванцетти (1888–1927) — американский рабочий-революционер, казненный по обвинению в убийстве.

С. **241.** *...самовар, в качестве обже-д-ара...* — т.е. украшения (от фр. objets d'art — предмет искусства).

Васнецовская «Аленушка» — картина (1881) Виктора Михайловича Васнецова (1848–1926). Хранится в Третьяковской галерее (Москва).

С. **242.** *...русский же ищет только Большую Медведицу...* — созвездие Северного полушария (группа из семи звезд), которое с территории России видно круглый год.

«Мон Репо» — «Мой отдых», «Отдохновение», *«Трианон»* — дворец в Версале.

С. **243.** *...Очей очарование* — из стихотворения А.С. Пушкина «Осень».

С. **249.** *...письма обитателя.* — Серия статей Осоргина, опубликованная в газете «Последние новости» в 1932 г., была подписана псевдонимом «Обитатель». Несколько статей из этой серии вошли в книгу «Происшествия зеленого мира».

С. **250.** *...«Да не входит не знающий геометрии!»* — слова Платона, начертанные над входом его фило-

софской школы – Академии (428 или 427 г. до н.э. – 348 или 347 г. до н.э.). Более точный перевод этой фразы: «Негеометр да не войдет».

С. **254.** ...*«И абіе петел возгласи – и изыде Петр и плакася горько».* – Мф. 26, 75.

Некогда здесь были непроходимые леса... поселилась французская святая... – Имеется в виду поселок Сент-Женевьев де Буа. Его название стало широко известно в России из-за находящегося там русского кладбища. М.А. Осоргин с женой снимали в Сент-Женевьев де Буа домик. Осоргин здесь завершил роман «Сивцев Вражек», а позже купил участок земли.

Женевьева (ок.420 – ок. 500) – святая дева, заступница Парижа. В 451 г., когда Парижу грозило нашествие гуннов, отговорила жителей города от бегства. Ее пророчество о спасении Парижа исполнилось. Во время осады Парижа франками привела в голодающий город суда с хлебом. Была признана жителями города святой. См. также: В тихом местечке Франции.

С. **255.** *«Монюман историк»* – памятник архитектуры (от фр. monument historique).

...*курс огородничества И. Беттнера.* – Речь идет о кн.: *Беттнер Иоганн.* Практическое огородничество. Берлин: Знание. 1923. 411 с., с илл.

«Ca va?» – Как дела? (*фр.*).

С. **257.** *...улица и названа «Авеню де Шен», – в знак того, что на всех участках не осталось не только дуба, но и ни единой лесной фиалки.* – Букв. Дубовая улица (от фр. Avenue des Chênes).

С. **265.** *«Весна» Боттичелли.* – «Весна» (1477–1478) – одна из известных картин итальянского живописца Сандро Боттичелли (наст. имя и фам. Алессандро Филипепи; 1445–1510) – итальянского живописца, представителя Раннего Возрождения.

В дни русской революции Осоргин писал: «Гунны могут отнять у меня и изрезать в клочья «Венеру» Боттичелли; но весну, рожденную во мне этой картиной, уничтожить бессильны» (*Осоргин М.* Страх и

надежды // Понедельник власти народа. Литературная газета. Москва. 1918. 12/ 25 февр. № 1). См. также «Письма о незначительном». С. 78.

С. **265.** *...яблоки Сезанна:* — Имеется в виду картина «Натюрморт с драпировкой» (1898—1899) французского живописца, представителя постимпрессионизма Поля Сезанна (1839—1906).

С. **271.** *...квинквиллионы.* — Ошибка Осоргина. Правильно: квинтиллион.

С. **273.** *Репарации* — в международном праве — возмещение государством причиненного им ущерба, контрибуция.

С. **277.** *Рицинное масло* — лекарство.

С. **278.** *Декарт* Рене (1596—1650) — французский философ.

Кант Иммануил (1724—1804) — немецкий философ.

С. **283.** *...руж и римель у поблекшей женщины...* — румяна, туш для ресниц (фр. rouge, rimmel).

С. **285.** *«Гарсон рюс»* — «русский гарсон» (от фр. garson russe).

...Сейчас, на шестом десятке, Маринетти стал академиком или сенатором, — вообще чем-то для футуриста неприличным. — Филиппо Томмазо Маринетти (1876—1944) — итальянский писатель, глава и теоретик футуризма в европейской литературе, писал на итальянском и французском языках. Ездил с пропагандистскими лекциями, был в России в 1913 г. С 1919 г. стал сподвижником Муссолини, провозглашал близость футуризма и фашизма. В годы фашистской диктатуры — академик и председатель Союза итальянских писателей.

Осоргин неоднократно писал о Маринетти. См. его статьи: Футуристы и их поэзия. Письмо из Италии // Русские ведомости. 1910. 27 авг., № 197; Закат футуризма. // Там же. 1913. 18 дек. № 291; Итальянский футуризм. Письмо из Рима // Вестник Европы. 1914. № 2 и др. В 1933 г. Осоргин вспоминал фразу Маринетти из его футуристического манифеста, в которой «ясно изложено, что человек старше сорока лет должен выбрасываться за борт... Сейчас

ему, вероятно, перевалило за пятьдесят... Очень любопытно знать, какого он сейчас мнения о предельности человеческой пригодности к жизни?» (*Осоргин М.* Итальянцы // *Воспоминания.* С. 99).

С. **288.** *Воины, убившие Архимеда...* — Архимед (ок. 287—212 до н.э.), древнегреческий ученый. Организатор инженерной обороны Сиракуз против римлян.

Экклезиаст. — См. Ветхий завет. Книга Екклесиаста, или Проповедника.

С. **289.** *Сократ* (ок. 470—399 до н.э.) — древнегреческий философ.

Диоген Синопский (ок. 400—ок. 325 до н.э.) — древнегреческий философ.

Галилей Галилео (1564—1642) — итальянский ученый.

...латинская поговорка «спеши медленно»... — «Festina lente» (*лат.*). Поговорка римского императора Августа-Гая Юлия Цезаря Октавиана (27 до н.э. — 14 н.э.), которую приводит Г.Т. Светоний в своих «Жизнеописаниях XII цезарей».

С. **290.** *...соперница Ахиллеса в свипстейке.* — Быстроногий Ахиллес, догоняющий черепаху, — герой знаменитого парадокса древнегреческого философа Зенона.

С. **294.** *Бисмарк* Отто фон Шёнхайзен (1815—1898), князь — первый рейхсканцлер Германской империи.

С. **298.** *...«Положи меня, как печать, на сердце твое...»* — Песн., 8, 6—7.

«Сестра моя, невеста, запертый сад...» — Песн., 4, 12.

С. **300.** *«Ранним утром пойдет на виноградники...»* — Песн., 7, 13.

С. **302.** *«Большие воды не могутъ потушить любви...», «...сильна, как смерть, любовь!»* — Песн., 8, 6—7.

С. **303.** *«Трансвааль, Трансвааль, звезда моя...».* — См. кн.: Песни и романсы русских поэтов. М.;Л., 1963. С. 959.

Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — русский революционер, теоретик анархизма. С 1840 г. —

за границей. В 1851 г. выдан австрийскими властями России, заключен в Петропавловскую, затем в Шлиссельбургскую крепости, с 1857 г. — в сибирской ссылке. В 1861 г. бежал за границу, где продолжал политическую деятельность. См. также статью Осоргина (Русские ведомости. 1910. 16 янв. № 12).

С. **303.** *...стал эндезираблем...* — т.е. стал нежелателен (от фр. indésirable).

С. **304.** *...орижин рюс* — русского происхождения (от фр. origine russe).

Арико — фасоль.

С. **306**. *«Сан-патри»* — не имеющий гражданства (от фр. soins patrie).

Муссолини Бенито (1883—1945) — фашистский диктатор в Италии в 1922—1943 гг. В 1945 г. захвачен в плен итальянскими партизанами и казнен.

С. **308.** *Квартирный терм* - плата за квартиру.

С. **319.** *Ажан* — полицейский.

С. **327.** *Пансэ* — мысль (от фр. pensee).

С. **331.** *...тупыми колышками дарвинизма...* — Дарвинизм — теория эволюции органического мира Земли, основанная английским естествоиспытателем Чарльзом Дарвином (1809—1882).

С. **333.** *...престарелый автор «Синей птицы».* — Морис Метерлинк (1862—1949) написал драму «Синяя птица» в 1908 г. Метерлинк был автором и книг натурфилософского характера «Жизнь пчел», «Разум цветов», «Жизнь термитов», «Жизнь муравьев», содержащих интересные наблюдения над жизнью растений и животных, которые он связывал с размышлениями о человеческом обществе.

С. **334.** *...проросли зерна гороха, найденные в замуравленной гробнице Тутанкамона...* — Осоргин имеет в виду находки археолога X. Картера в 1922 г. во время раскопок гробницы египетского фараона Тутанхамона.

Умру - лопух вырастет. — Цитата из давнего, молодого горьковского произведения. — «...Из меня лопух расти будет...» — слова Евгения Базарова, героя романа И.С. Тургенева «Отцы и дети».

С. **334.** *Плонжер* — зд.: посудомойщик.

...считать мексиканскую революцию величайшим событием. — Имеется в виду мексиканская революция 1910—1917 гг.

С. **337.** *...Если страдание невыносимо...* — Любимый и часто повторяемый Осоргиным афоризм Марка Аврелия. См. примеч. к с. 123.

С. **338.** *...Исследуй недра земли.* — См. главу Vitriolum в повести Осоргина «Вольный каменщик» (М.: Моск. рабочий, 1992. С. 214).

С. **339.** *...против окон тюрьмы, остроумно названной «Сантэ» (висельное остроумие и французам не чуждо).* — «Санте» от фр. Santé — здоровье.

С. **346.** *В итоге работы двух веков... новый ледниковый период.* — Осоргин имеет в виду победу коммунистической доктрины в России и фашизма в Германии. Он неоднократно писал об их близости. См. письма старому другу в Москве в кн.: Cabiers du Monde Russe et Sovietigue. Vol. XXI (2—3). Apriel — Septembre 1984. Paris.

С. **347.** *Герметисты* — сторонники герметизма — теософского учения, изложенного в текстах египетско-греческого происхождения («Герметических книгах»), получивших распространение в III—IV вв.

С. **348.** *Ангкорский храм окружен лесами.* — См. примеч. к с. 51.

С. **349.** *...поэмы об Иштар.* — В шумеро-аккадской мифологии богиня плодородия и плотской любви, войны, астральнае божество, связанное с планетой Венерой. См. повесть Осоргина «Вольный каменщик».

СОДЕРЖАНИЕ

Осоргин М.А.
О-75 Времена. Происшествия зеленого мира / Сост., примеч., статья О.Ю. Авдеевой. – М.: НПК «Интелвак», 2005, – 448 с.

ISBN 5-93264-030-8

В настоящее издание вошли мемуарные очерки Михаила Осоргина, его эссе и публицистические произведения. В книге воспоминаний «Времена» Осоргин, высланный в 1922 г. вместе с большой группой деятелей русской культуры из Советской России, освещает трагические страницы нашей истории. Страницы «Происшествий зеленого мира» посвящены природе. Но не только природе... Как всегда у Осоргина, создающего свой мир – без злобы, моторов и политики, мысли о природе связаны у него с размышлениями о сущности бытия, о вечном и преходящем, об истинном и мелком.

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6

Михаил Осоргин

ВРЕМЕНА. ПРОИСШЕСТВИЯ ЗЕЛЕНОГО МИРА

Редактор *Т.А.Горькова*
Корректор *Е.И. Коротаева*
Верстка *И.В. Ануфриевой*

Подписано в печать 15.06.2005.
Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура New Baskerwill.
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 24,02.
Уч.-изд. л. 23,84. Тираж 500 экз. Заказ № 3627

Издательство НПК «Интелвак» 117105, Москва,
Нагорный проезд, 7
Факс 127 3847. Тел. 127 3846. E-mail
iv@deltacom.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета на ОАО «Дом печати – ВЯТКА».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122

ISBN 5-93264-030-8
9 785932 640302 >